

В. А. СОЛЛОГУБ

*В. А.
Соллогуб*

ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

В. А. СОЛЛОГУБ

**ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ**



Москва
«Советская Россия»
1988

Пушкинский кабинет ИРЛИ

P1
С60

Составление, вступительная статья
и примечания Н. И. Якушина

Художник М. Э. Шлосберг

С $\frac{4702010100-226}{M-105(03)88}$ 96-88

ISBN 5-268-00537-5

© Издательство «Советская Россия», 1988 г.,
составление, вступительная статья, примечания.

Пушкинский кабинет ИРЛИ

«ПИСАТЕЛЬ С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ДАРОВАНИЕМ»



е совсем обычно сложилась писательская судьба В. А. Соллогуба. Более десяти лет его произведения пользовались благосклонным вниманием читающей публики и доброжелательным отношением критики. «До 50-х годов, — писал в своих «Воспоминаниях» П. Д. Боборыкин, — имя Соллогуба было самым блестящим именем тогдашней беллетристики. Его знали и читали больше Тургенева. «Тарантас» был несомненным «событием» и получил широкую популярность. И повести (особенно «Аптекарьша») привлекали всех: и модных барынь, и деревенских барышень, и нас, подростков»¹. С большим сочувствием о Соллогубе отзывался В. Г. Белинский. Он увидел в нем «писателя с замечательным дарованием»², произведения которого «согреты теплым чувством любви и проникнуты благородством мыслей... Нельзя не подивиться, — писал критик, — как хорошо известны молодому писателю все классы нашего общества: и большой свет, и быт помещиков, и средний класс, и жизнь немцев, и студенческий быт, и провинциальные обычаи...»³

К началу 1850-х годов популярность Соллогуба резко пошла на убыль. И хотя на столичной сцене продолжали ставиться его водевили, а на страницах провинциальной прессы писатель довольно часто печатал свои очерки и корреспонденции, внимание к его творчеству катастрофически падало, а вскоре о нем вообще забыли.

Причина столь быстрого забвения имени Соллогуба объясняется в первую очередь тем, что, выступив с произведениями, отвечавшими насущным проблемам времени и способствовавшими сближению искусства с жизнью, писатель не сумел удержаться на гребне мощного развития передовой русской литературы 1840-х годов и в силу огра-

¹ Боборыкин П. Д. Воспоминания: В. 2-т Т. 1. — М., 1965. — С. 66.

² Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. V. — М., 1954. — С. 581.

³ Там же. — С. 157.

ниченности своего мировоззрения стал постепенно отходить от критического отношения к русской действительности в сторону «благонамеренного» либерализма. В его произведениях все отчетливее стала звучать мысль об извечном существовании в России определенных сословий, об особой роли и предназначении каждого из них (и прежде всего дворянства), что звучало по меньшей мере анахронизмом в период, когда встал вопрос о необходимости коренных социальных преобразований.

Была и еще одна немаловажная причина, оказавшая существенное влияние на утрату интереса читателей к творчеству Соллогуба. Человек несомненно одаренный, он тем не менее, по словам И. И. Панаева, не был способен «ни к какой самостоятельной мысли, ни к какой серьезной деятельности, ни к какому выдержанному труду» и «с барскою небрежностью обращался со своим талантом, не заботился о его развитии и, несмотря на свои первые блестящие успехи в литературе, остался навсегда литературным дилетантом, хотя такая роль мало удовлетворяла его самолюбие...»¹.

Соллогуб прожил долгую жизнь, но так и не нашел себя. Он за многое брался, но ни в чем не преуспел. Тот же И. И. Панаев писал: «Ему хотелось в одно и то же время достичь какой-нибудь важной административной должности, иметь значение при дворе, играть роль в большом свете и приобрести литературную известность, не употребляя для этого, впрочем, никаких усилий. Беспечно гоняясь за всем, он ни на одном из этих поприщев не приобрел никакого значения и остался немножко литератором, немножко придворным, немножко светским человеком и немножко чиновником. С горьким и ядовитым сознанием своей несудавшейся жизни, с тоской и пустотою в душе, вследствие отсутствия всяких убеждений, не удовлетворяемый рутинными понятиями, в которых погрязал лениво, он неловко разыгрывал в свете роль литератора, а в литературе — светского человека»².

Но было бы несправедливо не отметить, что Соллогуб, вне всякого сомнения, писатель интересный и самобытный. В его лучших произведениях, «согретых теплым чувством любви и пронизанных благородством мыслей» (В. Г. Боллинский), проявилось умение по-своему взглянуть на многие явления русской действительности, подметить то, что порой ускользало от внимания других литераторов, и рассказать об этом ярко, свежо и оригинально. Конечно, повести и рассказы Соллогуба во многом проигрывали в сравнении с произведениями современных ему великих русских писателей. И тем не менее его творчество оставило заметный след в истории отечественной литературы.

¹ Панаев И. И. Литературные воспоминания. — М., 1950. — С. 270.

² Там же.

Владимир Александрович Соллогуб родился 8 августа 1813 года в Петербурге. Семья Соллогубов принадлежала к высшим аристократическим кругам. Отец писателя граф Александр Иванович Соллогуб был незаурядной личностью. Преуспевающий придворный, «первый светский щеголь своего времени», наделенный живым умом и тонким эстетическим вкусом, он преданно любил искусство. В его доме часто устраивались концерты, домашние спектакли и другие разного рода увеселения, душой которых был сам хозяин. По словам В. А. Соллогуба, его отец «был даровитым актером в домашних спектаклях и пел с большим вкусом»¹.

Мать писателя Софья Ивановна была человеком более сдержанным и серьезным. Друзья и знакомые ценили ее глубокий и пронизательный ум. Известно, что Александр I любил подолгу беседовать с С. И. Соллогуб.

Позднее В. А. Соллогуб писал: «От отца моего я наследовал впечатлительность, причинившую мне много горя, от матери — чутье истины, создавшее мне много врагов. Оттого в моей литературной карьере всегда перепутывались две несовместимые стихии»².

Мальчик получил прекрасное домашнее образование. Его гувернером был французский драматург, историк и поэт Шаррьер, а русскую словесность преподавал поэт и критик, друг Жуковского и Пушкина П. А. Плетнев, ставший позднее ректором Петербургского университета.

Немаловажное влияние на становление характера и взглядов будущего писателя оказало его общение с бабушкой Е. А. Архаровой, старой московской барыней, хранительницей патриархальных традиций русской культуры XVIII века, а также близкое знакомство с семьей президента Академии художеств и директора императорской библиотеки А. Н. Оленина, в доме которого Соллогуб встречал известных писателей, художников и музыкантов.

И нет ничего удивительного, что у Соллогуба довольно рано пробудился интерес к литературе. «Я уже начал пописывать кое-какую дрянь, к которой, увы, относились слишком снисходительно»³, — вспоминал он позднее.

Круг детских впечатлений будущего писателя не ограничивался только интересами представителей высшего общества, к которому он принадлежал по своему происхождению. На склоне лет, вспоминая о поездке с родителями в Симбирскую губернию, Соллогуб сделал весьма важное признание: «Для меня, мальчика баловня, постепенно становилось все более понятно, что, кроме придворного мира, кроме мира светского и французского, кроме мира благодущия бабушки (имеется в виду Е. А. Архарова.— *Н. Як.*), был еще мир другой: мир

¹ Соллогуб В. А. Воспоминания. — М.; Л., 1931. — С. 641.

² Там же. — С. 142.

³ Там же. — С. 261.

коренно-русский, мир простонародный и что этому миру имя грома-
да...»¹

В 1829 году родители отправили шестнадцатилетнего Соллогуба учиться на юридический факультет Дерптского университета, одного из лучших учебных заведений России того времени. О студенческих годах будущего писателя сведений сохранилось мало. Но атмосфера жизни, быт и нравы академического городка, где Соллогуб провел четыре года, довольно точно воспроизведены в некоторых его произведениях («Два студента», «Аптекарьша», «Неоконченные повести»).

Особым усердием в изучении наук Соллогуб не отличался и вел довольно безалаберную и беззаботную жизнь. И нет ничего удивительного, что университет он окончил далеко не блестяще, так и не получив ожидаемого звания «кандидата», дававшего возможность получить сравнительно высокий чин на службе, и был выпущен всего лишь «действительным студентом». И тем не менее университетские годы сыграли важную роль в формировании убеждений Соллогуба. К этому времени относится его сближение с семьей историка Н. М. Карамзина, с сыновьями которого он учился в университете. «Знакомство с Карамзинными было важным периодом моей душевной жизни, и снова, но уже отчетливо, с понятиями словесности я сплел свои лучшие побуждения и склонности»². С семьей Карамзиных он поддерживал дружеские отношения и позднее. «У них, — писал Соллогуб, — в течение двадцати лет, я сближался поочередно с другими душевными родственниками карамзинского дома, с Пушкиным, Жуковским, князем Вяземским, Тургеневым, Баратынским, Лермонтовым и многими другими»³.

Пребывание Соллогуба в Дерпте совпало с временем, когда в студенческой среде еще живы были воспоминания о поэте Н. М. Языкове, незадолго перед этим учившемся в университете и воспевавшем в своих стихах свободолюбивую жизнь студентов. Это обстоятельство тоже не прошло для молодого Соллогуба бесследно и укрепило в нем желание попробовать силы в литературе. «...Под влиянием студенческих песен и бойкого языковского стиха, — вспоминал он, — начал кое-что писать, сперва весьма неудачно, потом немного лучше»⁴.

После окончания университета Соллогуба прикомандировали к министерству иностранных дел, но поскольку особой склонности к дипломатической службе он не испытывал, то вскоре был переведен в министерство внутренних дел на должность чиновника по особым поручениям при тверском губернаторе. По делам службы Соллогубу приходилось много ездить. Он принимал участие в расследовании административных злоупотреблений, изучал быт сектантов, статисти-

¹ Соллогуб В. А. Воспоминания. — С. 219.

² Там же. — С. 510.

³ Там же.

⁴ Там же.

ческие данные и экономику сельского хозяйства. Жизнь в провинции дала ему огромный и разнообразный материал, который позднее писатель широко использовал в своих произведениях.

Служебные обязанности не особенно обременяли Соллогуба, и он подолгу жил то в имении родителей недалеко от Твери, то в Петербурге, где вскоре стал неприменным посетителем светских раутов и балов, маскараров и танцевальных вечеров. Отношение Соллогуба к светскому обществу не было однозначным. С одной стороны, он отлично понимал его пустоту и ничтожность, а с другой — тянулся к нему и не без основания причислял себя к представителям высшего круга. Как очень точно подметила С. Н. Карамзина, Соллогуб «всегда делает вид, что презирает общество, в ничтожестве которого никто лучше его не разбирается, по этим он только доказывает, что равнодушен к этому обществу»¹.

В свете Соллогуб весьма преуспел, чему в немалой степени способствовал его живой и общительный характер. Его ценили как остроумного собеседника, умеющего легко и непринужденно вести светскую беседу, и как прекрасного танцора. Своим положением в свете он весьма дорожил и всячески стремился обратить на себя внимание, что вносило в характер его поведения некоторую нарочитость и искусственность. «Если бы Соллогуб не ломался, — писала А. Я. Панаева в своих «Воспоминаниях», — то был бы приятным собеседником, но часто он бывал невыносим, вечно корча из себя то дерптского студента, то аристократа. В светском обществе он кичился званием литератора, а в литературном — своим графством»². Об этом же говорил Д. В. Григорович, отмечавший, что Соллогуба «недолюбливали в кругу литераторов; виной был его характер, отличавшийся крайнею неровностью в обращении: сегодня — запанибрата, завтра — как бы вдруг не узнает и едва протягивает руку»³.

Сам Соллогуб объяснял такое поведение своей застенчивостью, стремясь преодолеть которую он нередко становился то развязен и порой даже дерзок, то напыщенно высокомерен. Но, в сущности, он был человеком добрым и отзывчивым, искренне пытавшимся помочь, когда к нему кто-нибудь обращался за помощью. Та же А. Я. Панаева отмечала, что Соллогуб «был добрый человек; если его просили хлопотать о ком-нибудь, то он охотно брался за хлопоты и радовался в случае успеха»⁴.

Несомненным достоинством Соллогуба была его искренняя и глубокая любовь к литературе, а также то, что он был совершенно чужд зависти к своим литературным собратьям, а наоборот, всячески способ-

¹ Цит. по: Пушкин в письмах Карамзинных 1836—1837 годов. — М.; Л., 1960. — С. 143.

² Панаева А. Я. Воспоминания. — М., 1956. — С. 91.

³ Григорович Д. В. Литературные воспоминания. — М., 1961. — С. 113—114.

⁴ Панаева А. Я. Воспоминания. — С. 94.

ствовал пробуждению интереса читающей публики к любому талантливому произведению, независимо от того, кто написал его — известный или начинающий писатель.

В характере Соллогуба была еще одна привлекательная черта — умение критически, а порой даже проиически относиться к самому себе и своему творчеству, что также привлекало к нему симпатии его друзей и знакомых. Он поддерживал дружеские отношения со всеми известными литераторами своего времени, в числе которых были Пушкин, Жуковский, В. Ф. Одоевский, Вяземский, Лермонтов. Правда, сначала отношения Соллогуба с Пушкиным складывались не лучшим образом. Однажды на одном из светских приемов он позволил себе не совсем уместные шутки в разговоре с женой поэта Натальей Николаевной, и Пушкин вызвал Соллогуба на дуэль. К счастью, до поединка дело не дошло и состоялось примирение. Об этом эпизоде писатель позднее рассказал в своих «Воспоминаниях», отрывки из которых включены в настоящее издание. Эта история в конечном итоге привела к установлению добрых отношений между поэтом и Соллогубом. Позднее в дни, предшествовавшие трагической дуэли Пушкина, молодой писатель вел себя весьма достойно. Получив в ноябре 1836 года, как и многие друзья поэта, анонимное письмо с пасквильным «дипломом», Соллогуб не распечатывая передал его Пушкину и предложил свои услуги в качестве секунданта. Как вспоминал Соллогуб, слова эти «спильно тронули Пушкина, и он мне сказал тут несколько таких лестных слов, что я не смею их повторить»¹.

Дуэль Пушкина с Дантесом тогда благодаря усилиям Соллогуба и друзей поэта не состоялась. И позднее Соллогуб немало сделал, чтобы предотвратить роковой поединок, но оказался бессилем.

Под влиянием общения с выдающимися писателями и поэтами своего времени, посещения литературных кружков и салонов, где обсуждались вопросы состояния отечественной словесности, у него возникла потребность самому приобщиться к литературной деятельности.

Первые произведения Соллогуба были опубликованы в 1837 году, когда в майском и июньском номерах журнала «Современник», основанного Пушкиным и редактировавшегося после смерти поэта его друзьями, одна за другой появились повести «Два студента» и «Три жениха». А в следующем году там же был напечатан рассказ «Сережа».

В этих произведениях отразились разные периоды жизни писателя. Здесь и воспоминания о студенческих годах («Два студента»), и впечатления от поездок по провинции («Три жениха»), и наблюдения, почерпнутые в светском обществе («Сережа»). Наибольший интерес среди них представляет рассказ «Сережа», в главном герое которого Белинский увидел «новую породу романтических характеров,

¹ Соллогуб В. А. Воспоминания. — С. 359.

черты физиономии молодых людей нового поколения, которые уже ни Онегин, ни граф Нулин...»¹

Действительно, в образе Сережи Соллогуб попытался нарисовать портрет героя времени, выделить в нем черты, присущие многим представителям современного поколения. Уже в начале рассказа писатель отметил, что таких героев, как Сережа, много, что это фигура типическая: «Вы его видели везде...» Он, конечно, мало похож на Онегина, поскольку в отличие от героя пушкинского романа вовсе не тяготеет образом жизни, который ведет. Он человек, лишенный не только каких-либо серьезных интересов, но и характера. «Главная черта характера моего Сережи, — говорит писатель, — бесхарактерность. Привычка была его второй природой». По привычке он посещает театр, балы, волочится за светскими красавицами. Герой рассказа не в силах противостоять мелочным приманкам светской жизни и становится жертвой ее правд и обычаев. Соллогуб относится к нему пронически, но ирония порой уступает место сочувствию и состраданию. Писатель склонен видеть в своем герое человека, не сумевшего найти себя, раскрыть то положительное, что в нем все-таки было. И вину за его неудачно сложившуюся жизнь он возлагает прежде всего на окружающую среду, на светское общество, которое извращает и уродует человеческую натуру. Уже в этом рассказе Соллогуб высказывает мысль, что представители светского общества не властны в своей судьбе, что над ними довлеют обстоятельства, принуждающие их подчиниться раз и навсегда установленным законам и правилам поведения, что они лишены возможности сами определять свой жизненный путь. Все их попытки вырваться из привычных условий (Сережа, например, едва не женился на провинциальной барышне) кончаются тем, что они возвращаются к тому, от чего стремились уйти. И поэтому нет ничего удивительного, что в конце рассказа писатель с горечью говорит: «И все пошло, и все идет... по-старому... И все то же да то же: ноги устали, сердце пусто, мыслей мало, чувства нет...»

Рассказ «Сережа» открывал собой целый цикл произведений Соллогуба, посвященных жизни светского общества.

Первые произведения писателя не обратили на себя особого внимания читательской публики. Известность и славу ему принесла повесть «История двух калаш», опубликованная в первом номере обновленных «Отечественных записок», которые с 1839 года начал издавать А. А. Краевский, сумевший объединить вокруг журнала лучших писателей своего времени. Среди сотрудников «Отечественных записок» были Лермонтов, Кольцов, Баратынский, В. Одоевский, Даль, Панаев и другие. Журнал пользовался большой популярностью и имел широкий круг читателей.

Повесть «История двух калаш», по словам И. Панаева, «возбудила

¹ Б е л и н с к и й В. Г. Полн. собр. соч.— Т. V.— С. 154.

большую симпатию во всех классах читающей публики и во всех литературных кружках»¹. Белинский, например, писал: «Какая прекрасная повесть «История двух калов» гр. Соллогуба. Чудо! прелесты! Сколько душевной теплоты, сколько простоты, везде мысль!»²

В своем новом произведении, написанном под несомненным воздействием романтических традиций, Соллогуб поведал о трагической судьбе талантливого музыканта Карла Шульца и его возлюбленной Генриетты, ставших жертвами бездушного общества, которому глубоко чужды все светлое и возвышенное, подлинное искусство и искренняя любовь. Но в отличие от писателей-романтиков (В. Одоевского, Н. Полевого, Н. Павлова, А. Тимофеева и др.), разрабатывавших подобные сюжеты, Соллогуб попытался по-своему осмыслить трагический конфликт гениального художника с окружающим миром. Герой повести музыкант Шульц, например, лишен черт исключительности и отнюдь не выступает в роли непризнанного гения. Да и другие персонажи представлены в произведении как обыкновенные люди, живущие в соответствии с законами своей среды обитания, озабоченные своими повседневными заботами и интересами. Недаром Белинский отметил, что все лица в повести «изображены мастерски, каждое имеет только те чувства, только те мысли, которые может иметь, каждое говорит тем языком, которым должно говорить». И добавил: «Это тайна известна немногим из наших романистов и драматургов»³.

Нельзя не обратить внимания на то, что в повести Соллогуба, как правило, отсутствует характерный для большинства романтических произведений нарочито приподнятый и эмоционально-взволнованный тон повествования. Писатель стремится вести рассказ сдержанно, избегая патетических интонаций, хотя ему не всегда удается избежать романтической риторики и элементов повышенной экзальтации (например, при характеристике переживаний Генриетты).

Соллогуб понимал, что время романтизма проходит, что произведения с традиционными романтическими сюжетами и характерами перестали соответствовать новым задачам, стоящим перед литературой, — отражать реальную жизнь и реальные жизненные конфликты. Своё отношение к сочинениям писателей-романтиков писатель выразил в повести «Большой свет», опубликованной в мартовской книжке «Отечественных записок» за 1840 год, где иронически замечал: «Если бы я писал повесть по своему выбору, я бы избрал себе в герои человека с рыцарскими качествами, с волей сильной и твердой как камень, но с ужасной, таинственной страстью, которая сделала бы его крайне интересным в глазах всех чувствительных губернских барышень. Он любил бы долго и долго. Красавица любила бы его долго и долго. Все

¹ Панаев И. И. Литературные воспоминания. — С. 131.

² Белинский В. Г. — Т. XI. — С. 364.

³ Там же. — Т. V. — С. 154.

шло бы своим чередом. Вот и руческ, вот и отвесистое дерево, вот и нежные свидания!.. И вдруг вдали нависла бы туча, загремела бы буря: явился бы отец-злодей, или мать-злодейка, или свирепый опекун, или просто какой-нибудь злодей. Пошли бы препятствия одно за другим... и вот... перед последней страницей, небо прояснилось бы... Злодей вдруг бы усмирился, чета моя обвенчалась». Сам же Соллогуб выбирает для своего произведения совсем других героев, «не из выдуманного мира, не из небывалых людей», а из тех, с кем встречается «каждый день, нынче в Михайловском театре, завтра на железной дороге, а на Невском проспекте всегда». И объясняет это писатель следующим образом: «Истина, грозная истина, которой я не смею ослушаться, призывает меня без ложных прикрас изобразить вас в моем правдивом рассказе».

И действительно, высшее общество в повести «Большой свет» Соллогуб изобразил «без ложных прикрас». Но писатель не ограничивается критической оценкой светского общества, хотя и видит, что состоит оно преимущественно из праздных бездельников, у которых «одинаковые привычки, одинаковые ухватки, один и тот же портной, одна и та же прическа, те же разговоры, то же образование, почти тот же ум», что всеми их поступками движет одно слово: «И какое слово... Самое бессмысленное: тщеславие». И в то же время Соллогуб подчеркивает, что высшее общество состоит из людей, существенным образом отличающихся друг от друга, и каждый из них по-своему испытывает тлетворное влияние светских условностей и предрассудков. Некоторые из них даже пытаются в меру своих возможностей противостоять законам света, но это обычно ставит их либо в смешное положение, либо приводит к трагическому концу.

Изображая жизнь светского общества, Соллогуб, как правило, избегает прямых авторских оценок поведения своих героев. Эту особенность писательской позиции Белинский назвал «отсутствием субъективного элемента».

«Отсутствие субъективного элемента» отчетливо проявилось, например, в одной из лучших повестей Соллогуба «Аптекарьша», в которой Белинский отметил «глубоко гуманное» содержание, тонкое чувство *такта* и «мастерство формы»¹. Осуждая барона Фиренгейма, писатель тем не менее в какой-то степени стремится оправдать своего героя и проводит мысль, что в трагической судьбе его возлюбленной Шарлотты виноват не столько он сам, сколько общество, принудившее его отказаться от любви прекрасной девушки и от собственного счастья.

В 1841 году Соллогуб выпустил первый, а в 1843 году — второй том сборника «На сон грядущий», куда включил около двадцати своих рассказов и повестей. Составляя сборник, писатель намеревался представить своеобразную летопись светской жизни. В его представлении

¹ Белинский В. Г.— Т. V.— С. 157.

эта жизнь лишена цельности и состоит из мало связанных друг с другом отдельных эпизодов, случаев, фрагментов. На это указывают и подзаголовки, которыми автор сопроводил не только сборник («Отрывки из вседневной жизни»), но и отдельные произведения: «Лоскуток из вседневной жизни» («Сережа»), «Отрывок из журнала Сережи» («Приключение на железной дороге»), «Из дневника Леопина» («Бал»). Из пестрого kaleйдоскопа быстро текущей жизни Соллогуб выхватывает один ее момент и пытается уловить в нем известные закономерности, позволяющие сделать определенные выводы и обобщения.

Среди произведений сборника «На сон грядущий» особое место занимает рассказ «Лев», в котором отчетливо проступают черты физиологического очерка. В рассказе писатель нарисовал тип светского льва, одного из тех людей, «стремящихся к удовлетворению собственных желаний, подобно животному, которого имя они присвоили, и обнародовали себя властелинами над миром мелких животных, пресмыкающихся у ног их». Подобное стремление к созданию социальных типов и попытка показать зависимость их поведения от окружающей среды наблюдается и в других произведениях Соллогуба, но в рассказе «Лев» это проявилось более определенно и свидетельствовало о сближении творчества писателя с реализмом.

В начале 1840-х годов Соллогуб становится, по словам И. И. Панаева, «самым любимым и модным беллетристом»¹. К тому времени он возвратился в Петербург, женился на дочери известного мецената и тонкого ценителя искусства М. Ю. Внелгорского. Как нельзя лучше и без особых со стороны Соллогуба усилий складывалась и его служебная карьера. Он получил чин титулярного советника и звание камерюнкера. В 1845 году он уже надворный советник, а через три года — коллежский советник, что по табели о рангах соответствовало воинскому званию полковника. Однако служебными обязанностями Соллогуб себя не обременял, поскольку служил он без жалованья, будучи человеком достаточно обеспеченным.

В своем доме Соллогуб устроил литературный салон, в котором бывали известные писатели, поэты, художники, музыканты. В числе посетителей салона были В. Ф. Одоевский, И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, Д. В. Григорович, Н. А. Некрасов. Не оставляет Соллогуб и своей литературной деятельности.

Осенью 1839 года вместе с художником Г. Г. Гагарипым он отправился в Казань. Впечатления от этой поездки легли в основу повести «Тарантас».

В центре повести — рассказ о путешествии двух помещиков Ивана Васильевича и Василия Ивановича. На первый взгляд, они полные антиподы. Иван Васильевич — восторженный романтик-славянофил, который после долгих странствий по заграничам проникся любовью

¹ Панаев И. И. Литературные воспоминания. — С. 271.

к России и намерен теперь серьезно «изучать родину», найти в ней черты самобытности и народности, постигнуть «великую тайну», связь, объединяющую русского мужика и дворянина. Василий Иванович, наоборот, человек практического склада ума, трезво смотрящий на вещи. Но при всем различии героев «Тарантаса» у них много общего. Оба они — порождение русской действительности и, по ироническому замечанию Белинского, «в нравственном отношении между *Иваном Васильевичем* и *Василием Ивановичем* существовала такая же противоположность, как и между героями известной повести Гоголя: у одного голова похожа на редьку хвостом вниз, у другого — на редьку хвостом вверх»¹.

«Тарантас» — произведение не совсем обычное. Белинский писал, что «это не роман, не повесть, не путешествие, не философский трактат, не журнальная статья, но и то, и другое, и третье вместе. Автор является в своей книге и литератором, и художником, и публицистом, и мыслителем»². И действительно, в «Тарантасе» органически соединились элементы различных жанров: повести, путешествия, путевого и физиологического очерка. Это дало возможность автору не только нарисовать широкую панораму русской действительности, но и попутно поставить и в какой-то мере решить множество самых различных проблем: социально-политических, философских, этических и эстетических.

На страницах «Тарантаса» во всей своей неприглядности воспроизведена жизнь обеих столиц, губернских и уездных городов, нищета русской деревни, грязь постоянных дворов, трактиров и почтовых станций. Перед читателем проходит целая галерея представителей самых различных сословий: дворяне, чиновники, купцы, духовенство, крестьяне, а также отставные солдаты, ямщики, станционные смотрители, раскольники-староверы, административно-ссылные и проч. При этом писатель не просто изображает картины жизни, которые попадают в поле зрения героев произведения, не только рассказывает о людях, с которыми им довелось встретиться во время путешествия, но и высказывает свои суждения, свое собственное отношение ко всему увиденному. Кроме того, Соллогуб попутно затрагивает множество актуальных вопросов, волновавших русское общество и широко обсуждавшихся на страницах печати: о предназначении России выступить в роли связующего звена между Европой и Востоком, о роли литературы, о злоупотреблениях чиновников и полиции, о расколе и т. п.

Правда, свои взгляды и свое мнение по всем этим вопросам писатель редко выражает прямо, намеренно передоверяя их героям произведения. Причем ему гораздо ближе рассуждения Василия Ивановича, трезво смотрящего вокруг и весьма скептически относящегося

¹ Белинский В. Г. — Т. IX. — С. 85.

² Там же. — С. 8.

к неумеренным восторгам своего спутника, приходящего в умиление даже при виде уродливых и темных сторон русской действительности. Вместе с тем Соллогуб сочувственно относился и к некоторым высказываниям Ивана Васильевича. Недаром Н. Г. Чернышевский отметил, что «автор «Тарантаса» очевидно подсмеивается во многих случаях над Иваном Васильевичем; но столь же очевидно, что во многих случаях он выставляет его суждения как основательные и справедливые»¹. Так, например, Соллогуб разделяет мнение Ивана Васильевича о том, что каждому сословию в России надлежит выполнять в жизни раз и навсегда предначертанные обязанности, и считает, что все беды происходят из-за нарушения этого исконно установленного порядка. По его убеждению, мужик должен знать свое место и жить в том кругу, в котором родился, а вот русскому дворянству предназначено «идти впереди и указывать целому народу на путь истинного просвещения». Писатель, конечно, понимал, что многие мысли, высказанные Иваном Васильевичем, паивны, что взгляд его героя скользит по поверхности явлений, что люди, подобные ему, живут в мире романтических иллюзий, далеких от реального положения вещей, и тем не менее мысль о процветающей и благоденствующей России, изложенная в главе «Сон», завершающей повесть, была близка и симпатична Соллогубу.

Один из первых читателей «Тарантаса» П. А. Плетнев отметил, что в этой главе автор по-своему переосмыслил знаменитое лирическое отступление о птице-тройке, которым заканчивается первый том «Мертвых душ» Гоголя, где великий писатель пытался предугадать, что ожидает нас впереди. Соллогуб тоже решил заглянуть в будущее. Его герою, Ивану Васильевичу приснился удивительный сон: тарантас, в котором он путешествует, вдруг превратился в сказочную птицу и перенесся в чудесную страну, где царят мир и благоденствие, где крестьяне живут в красивых и добротных домах с железными крышами, рядом с которыми для «дряхлах беспрютных стариков были устроены... богадельни и... приюты для призрения малолетних детей во время запятой отцов и матерей полевыми работами», «больницы и школы... школы для всех детей без исключения». Но вся эта благодать, «спокойствие и богатство», оказывается, существует благодаря «мудрой заботливости» помещиков, чьи дома «стояли блюстителями порядка, залогом того, что счастье края не изменится» и «будет еще стремиться вперед... будет еще более развизаться». А развитие в этом государстве будущего осуществляется следующим образом: «Дворяне шли вперед, исполняя благую волю божьего помазанника; купечество очищало путь, войско охраняло край, а народ бодро и доверчиво подвигался по указанному ему направлению».

Нельзя не отметить, что в этой «идеальной» стране живут те же

¹ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. — Т. III. — М., 1947. — С. 269.

самые люди, с которыми герой повести встречался во время своего путешествия. Только с ними, как и со всем укладом жизни, произошла удивительная метаморфоза. Все грязное и порочное исчезло или трансформировалось в полную свою противоположность. Преобразился даже несуразный тарантас (являющийся в повести своеобразным символом России), в котором едут Иван Васильевич и Василий Иванович. Он «переродился, перевоспитался и помолодел» и стал «не таким неуклюжим и растрепанным... а приглаженным, лакированным, стройным — одним словом, совершенным молодцом».

Нарисовав весьма привлекательную для него утопическую картину грядущего обновления России, Соллогуб тем не менее осознавал, что все это едва ли когда осуществится. Свой скептицизм писатель весьма недвусмысленно выразил в финальной сцене повести: вещий сон Ивана Васильевича в самом важном месте неожиданно прервался тем, что тарантас опрокинулся в ров «вверх колесами», и герой из мира возвышенных мечтаний вернулся к прозаической действительности. Иван Васильевич «ошеломлен... падением», Василий Иванович лежит «в самом ужасном испуге». Лишь ямщик, воплощающий невозмутимый и трезвый взгляд народа на жизнь, хладнокровно успокаивает господ: «Ничего, ваше благородие!» Как бы говоря, что никаких изменений в обозримом будущем не произойдет и никто пока не сможет ответить на вопрос, заданный Гоголем: «Русь, куда ж несешься ты?»

Книга Соллогуба вышла в 1845 году в обстановке идейных разногласий, в тот момент, когда в русском обществе активно обсуждался вопрос об исторических судьбах России, о том, какой путь надлежит ей избрать. Славянофилы утверждали, что нашей стране уготовлена особая роль, что в своем поступательном движении она должна опираться на исконно русские народные начала, сложившиеся в допетровской Руси. На диаметрально противоположных позициях стояли западники, считавшие, что Россия — страна европейская и что ей предстоит пройти тот же путь, какой прошли страны Запада.

Свою общественно-политическую позицию, свое отношение к ведущимся спорам Соллогуб выразил в «Тарантасе» весьма туманно и неопределенно, и это привело к тому, что его повесть вызвала самые противоречивые оценки. Славянофилы, например, поспешили отмежеваться от Ивана Васильевича как выразителя их взглядов и упрекнули Соллогуба за его «аристократические замашки», проявившиеся вроническом отношении к любым идеалам, и за весьма нечетко выраженную собственную позицию. А критика «официальной народности» в лице Ф. В. Булгарина упрекнула автора «Тарантаса» за то, что он в изображении русской действительности следовал традициям «натуральной школы».

Наиболее полную и обстоятельную оценку произведения Соллогуба дал Белинский, который писал, что «Тарантас» — «книга живая,

пестрая, одушевленная, разнообразная, — книга, которая возбуждает в душе читателя вопросы, тревожит его убеждения, вызывает его на споры и заставляет его с уважением смотреть даже и на те мысли автора, с которыми он не соглашается»¹. Книга Соллогуба послужила Белинскому поводом для выступления против идеологии славянофилов. Отметив, что Иван Васильевич — один из «комических» героев нашего времени, «...героев, которые тем смешнее, что они считают себя лицами очень серьезными, даже чуть не гениями, чуть не великими людьми»², критик в полемических целях весьма прозрачно намекнул на близость многих его суждений взглядам одного из вождей славянофильства Ивана Васильевича Киреевского. По словам Белинского, «славянофилы в лице *Ивана Васильевича* получили... страшный удар, потому что ничего нет в мире страшнее смешного»³.

Почти одновременно с «Тарантасом» вышел в свет сборник «Вчера и сегодня» (кн. 1—1845, кн. 2—1846), составленный Соллогубом, где среди произведений других авторов он опубликовал две свои новые повести «Собачка» и «Воспитанница», составившие цикл «Теменевская ярмарка». В основу этих произведений положены устные рассказы М. С. Щепкина, много лет проработавшего в провинциальных театрах и отлично знавшего быт и нравы губернских и уездных городов. Однако Соллогуб не ограничился простым изложением историй, которые он услышал из уст великого актера, а попытался взглянуть на жизнь русской провинции изнутри и показать, что человек там так же бесправен, как и в столичных городах, что деятели провинциальной администрации ничем не отличаются от представителей высшей чиновничьей бюрократии.

Частный, точнее, анекдотический случай, послуживший сюжетом для рассказа «Собачка», позволил писателю показать не только абсолютную незащитность человека перед чиновничьим произволом, но и вскрыть систему лихоимства и взяточничества, круговую поруку, связавшую воедино провинциальную администрацию от городничего до «губернского чиновника» (читай — губернатора). Причем оказывается, что чиновники вовсе не какие-нибудь злодеи, а вполне нормальные и даже по-своему добрые люди. Городничий, наказавший за строптивость своего давнего приятеля антрепренера, так объясняет ему свои действия: «Я бы и простил тебе, да теперь время такое... Пример будет дурной, послабление... Кажется, заплакал бы, а делать нечего: пример нужен». Он не скрывает, что берет взятки, и не только для себя, поскольку должен «поднести господину губернскому чиновнику пятнадцать тысяч рублей»; а их где-то нужно взять.

Соллогуб не делает никаких обобщений, но дает понять, что зло таится не в одном человеке, независимо от того, дурной он или хороший,

¹ Белинский В. Г. — Т. IX. — С. 8.

² Там же. — С. 389.

³ Там же. — С. 116.

а в самой системе, в порядках, на которых основано самодержавно-бюрократическое государство.

В 1849 году Соллогуб пишет одно из самых поэтических своих произведений — рассказ «Метель». На первый взгляд, в нем не происходит никаких примечательных событий: застигнутые непогодой, на постоялом дворе встретились и познакомились молодая женщина и офицер. Встреча была короткой. Всего лишь ночь провели они под одной крышей, но и за это время поняли, что любят друг друга и могли быть счастливы. Но настало утро, и дороги их разошлись. Лишь в душе осталась щемящая грусть, чувство чего-то светлого и дорогого, но, увы, утраченного навсегда.

Нечто подобное переживают и другие герои произведений Соллогуба. У каждого из них в жизни было свое «чудное мгновенье», мелькнувшее и исчезнувшее, но память о котором продолжает волновать и тревожить душу.

Рассказ «Метель» — последнее значительное произведение Соллогуба. Правда, в 1850 году он опубликовал повесть «Старушка». Однако ничего принципиально нового писатель в ней не сказал, а лишь снова повторил свою излюбленную мысль о необходимости каждому сословию выполнять собственную раз и навсегда predetermined роль. Устами старой графини он утверждает: «Счастливы те государства, где каждое сословие остается в своих пределах, идет по собственному пути».

После «Старушки» Соллогуб, по существу, к прозе больше не обращался. Объясняется это, по всей вероятности, тем, что в русской литературе к тому времени во всей своей мощи раскрылся талант таких писателей, как Герцен, Достоевский, Гончаров, Тургенев, и Соллогуб понял, что его рассказы и повести явно проигрывают в сравнении с их произведениями и что ему навряд ли удастся подняться до их уровня. А быть вторым он не умел, да и не хотел. Лишь в 1874 году на страницах сборника «Складчина» он напечатал отрывок из незаконченной повести «Посредник», а в конце жизни работал над романом «Через край», который появился в печати уже после смерти писателя.

Во второй половине 1840-х годов Соллогуб пробует свои силы в драматургии и пишет несколько комедий и водевилей: «Местничество», «Беда от нежного сердца», «Мастерская русского живописца», «Дагерротип» и другие, которые долгое время с успехом шли на русской сцене. В них писатель откликался на злободневные вопросы времени, остроумно высмеивал светские увлечения, быт и нравы дворянства, купечества, чиновничества и художественной богемы.

Обращение Соллогуба к драматургии не было случайным. В одном из писем он признавался: «...Я страшно люблю театр, сцену, рампу». По его словам, «драма есть самая наивысшая форма литературы, но ей нужна сцена, так же, как для проповедей — кафедра»¹. Понимая

¹ Вестник Европы.— 1905.— № 10.— С. 447.

это, Соллогуб тем не менее так и не создал ни одного сколько-нибудь значительного драматургического произведения.

Пытался он приобщиться и к журналистике. Некоторое время писатель активно сотрудничал в газете «С.-Петербургские ведомости», где выступал с обзорами текущих новостей столичной жизни.

В 1849 году Соллогуб вышел в отставку, но спустя два года снова вернулся на службу и отправился на Кавказ, где намеревался проявить себя на административном поприще. Однако к тому времени о нем сложилось мнение, как о человеке не очень серьезном и не солидном. Вот что писал о Соллогубе один из его современников В. А. Инсарский: «Одаренный замечательным литературным талантом, богатым воображением, самым изящным вкусом во всем, где требовался вкус, — этот человек был самым пустейшим человеком, не умевшим ни из своей богатой природы, ни из своего счастливого положения извлечь никакой существенной пользы... В нем не было никаких твердых правил, у него не было никакого характера»¹. И нет ничего удивительного в том, что никаких серьезных дел ему не поручали, а использовали для выполнения отдельных поручений, что очень обижало честолюбивого и привыкшего всегда быть на виду Соллогуба. натура деятельная и активная, умевшая, по словам К. А. Бороздина, хорошо знавшего писателя, «расшевелить общественную жизнь своим личным участием»², он не падал духом: активно сотрудничал в официальной газете «Кавказ», в альманахе «Зурна», организовывал всякого рода благотворительные вечера, устраивал спектакли, для которых сам писал пьесы, и т. п. Однако ни на Кавказе, ни в Петербурге, куда Соллогуб вернулся в середине 1850-х годов, он так и не сумел вернуть себе былую популярность. По словам Н. А. Добролюбова, Соллогуб «делал множество самых разнообразных попыток привлечь на себя внимание публики». Он писал во всех родах, отзывался на все веяния моды, сочинял «альбомные стихотворения», казачьи песни и даже оды-симфонии, рассчитанные на музыкальное исполнение совместно с оркестром. Он решился даже из светлой сферы поэзии спуститься в область смиренной прозы и сделался статистиком, этнографом, историком, туристом, но ничего не послужило ему на пользу. Публика хранила прежнее равнодушие»³.

Даже выход в свет пятитомного собрания сочинений, подготовленного Соллогубом, прошел почти незамеченным. Лишь комедия «Чиновник», опубликованная и поставленная в 1856 году, на короткое время привлекла внимание к имени писателя, да и то лишь благодаря резкой критике, которой она подверглась на страницах печати.

Героем своей комедии Соллогуб сделал богатого и независимого

¹ Русская старина. — 1895. — № 1. — С. 117.

² Исторический вестник. — 1889. — № 6. — С. 695.

³ Добролюбов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. — М.; Л.; 1961. — С. 522—523.

аристократа-чиновника Назимова, бескорыстно пекущегося об интересах государства и провозгласившего: «Надо крикнуть на всю Россию, что пришла пора... искоренить зло с корнем». Назимов с пафосом разглагольствует о долге дворянства перед Россией, о необходимости каждого честного дворянина служить, «не гнушаясь мелких должностей», поскольку только это может привести «нас к исправлению» и позволит искоренить «старинный разврат» — взяточничество.

Передовая критика, прежде всего в лице Н. Г. Чернышевского и Н. А. Добролюбова, резко осудила героя комедии Соллогуба. Чернышевский, например, писал, что Назимов представляет собой «тип людей, слишком разможившихся у нас в последнее время, тип мнимых джентельменов с низенькою душонокю, рассуждающих о честности высокой фразами, в которых что ни слово, то несообразность или ложь»¹.

Обычно весьма чуткий к тому, что происходит вокруг, Соллогуб в какой-то момент потерял ощущение времени. Новая жизнь настойчиво стучалась в дверь, многое изменилось в общественной жизни и литературе после смерти Николая I и окончания Крымской войны, и читатель ждал живого, действительного слова. Но Соллогуб оставался верен прежним своим симпатиям и привязанностям. Он был убежден, что невозможно изменить ход событий, что следует лишь приспособиться к ним. И уж совсем устаревшими выглядели его суждения о какой-то особой роли дворянства в общественном прогрессе.

Соллогуб по-прежнему продолжал служить, но, как и раньше, не имел штатного места. Однако чины следовали один за другим, и в 1856 году он уже действительный статский советник и камергер. А затем вновь командировка на Кавказ, возвращение в Европейскую Россию, в Дерпт, где он занял должность чиновника по особым поручениям при острейском генерал-губернаторе. Но и здесь Соллогуб долго не усидел и по поручению министра двора графа Адлерберга отправился изучать театральное дело в европейских странах. Живя в Париже, Вене, Лондоне, Берлине, он познакомился со многими выдающимися литераторами и деятелями искусства, в том числе с композиторами Мейербером, Россини, писателем Дюма, драматургом Скрибем и др. Вернувшись в Россию, Соллогуб мечтал занять важный пост в театральном ведомстве, но осуществить это не удалось. И вот он снова в Дерпте, где принялся изучать тюремное дело и вскоре выпустил две небольшие брошюры: «Об организации в России тюремного труда» (1866) и «Титовские казармы. Описание тюрьмы» (1867).

Во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов Соллогуб был назначен историографом при главной императорской квартире, результатом чего явилась книга «Дневник высочайшего пребывания за Дунаем», содержащая, помимо описания торжественных завтраков, перечень

¹ Чернышевский Н. Г.— Т. III.— С. 683.

врученных наград и т. п., красочные пейзажные зарисовки и живые сценки из жизни штаб-квартиры.

После возвращения из похода в семейной жизни Соллогуба произошли серьезные изменения. К тому времени его первая семья давно распалась. Дети выросли, с женой он давно не ладил и после ее смерти женился на молодой женщине В. Аркудинской.

В последние годы жизни Соллогуб работал над воспоминаниями. Он много раз припирался к ним, но, как всегда, ему не хватало усидчивости, и он обращался к ним от случая к случаю. Правда, отдельные его рассказы, посвященные Пушкину, Гоголю, Глинке, изредка печатались на страницах журнала «Русский архив» и в газете «Русский мир». Со своими воспоминаниями Соллогуб несколько раз выступал на заседаниях «Общества любителей российской словесности». Полностью они были опубликованы только в 1931 году.

В своих мемуарах Соллогуб мало писал о себе. Его воспоминания — это скорее впечатления от увиденного и услышанного, свидетельства тонкого, умного и проницательного наблюдателя, зафиксировавшего многие события и факты, свидетелем которых ему довелось быть. Писателю удалось довольно точно воспроизвести атмосферу пушкинской эпохи, ее колорит, запечатлеть наиболее характерные фигуры времени, рассказать о многих замечательных людях, с которыми ему довелось встречаться. Нельзя не отметить, что при чтении воспоминаний Соллогуба постоянно сталкиваешься с фактами и эпизодами, которые были положены в основу многих повестей и рассказов писателя. Это позволяет сделать вывод, что он, как правило, не выдумывал сюжеты своих произведений, а брал их из жизни.

На склоне лет Соллогуб часто болел и подолгу жил то в Крыму, то за границей. Умер он 5 июня 1882 года в Гамбурге.

Литературное наследие Соллогуба не очень велико, и не все в нем равноценно и одинаково значимо. Но лучшие рассказы и повести писателя не потеряли своего значения, и современный читатель найдет в них много интересного и поучительного.

Н. Якушин

ДВА СТУДЕНТА

(Посвящено Карамзиным)

Vivat academia!
Студентская песня

I



ф... Уф... Уф! Экая тяжелая вата!.. Экая несносная шаль. Нет мочи держать! Уф!.. Куда счастлива эта Марихен! У нее только барин да барыня, и то еще худенькие, и простуды не боятся... А вот у меня моя советница, кажется, ведь толста порядком и, слава богу, здорова, а все холода боится. И салоп у нее, и два платочка, и шаль из козьего пуха, да шесть дочерей, шесть здоровых mamselles. Прошу покорно держать все эти платки да салопы! Сил никаких не станет. Уф!.. уф!.. Лотхен, слышала ты, что аптекарша Гроссенкопф согнала Юльхен со двора?» — «Будто! а за что?» — «Ну так... Ты понимаешь?..» — «Нет». — «Ей, видишь, показалось, что г. Гроссенкопф... Вот аптекарша ее и выгнала». — «Ах, как можно, фуй!» Лотхен улыбнулась с видом грозной добродетели. «Уф!.. уф!.. Второй час... А завтра у нас обедает пастор и кирхшпильсрихтер. Едва-едва успею изготовить офенгриц да телятины к обеду, да печки вытопить, да белье приготовить, да комнаты вымести, да за водой сбегать, да господ своих одеть. Право, пора бы кончиться этому балу».

Итак нынче бал.

И подлинно, везде заметна какая-то торжественность. У крыльца стоит фантастический рыдван на полозьях и большие пошевные сани в одну лошадку. Над прямою лестницей, выкрашенной коричневой краской, висит нечто склеенное из бумаги и стекла, дающее темное понятие о фигуре фонаря, а еще темнейшее о его употреблении. В передней расставлена с симметрическою аккуратностью целая шеренга калош, больших и малых. На местах почетных стоят, как водится в образованном свете, калоши людей значительных; прочие скромно укрываются в уголках. Над калошами же от времени до времени раздаются

шепотом усталые упреки служанок, обремененных тяжестью салопов своих мадам. Сколько их тут: Амальхен, Каролинхен, Марихен, Лотхен, die dicke, die schwarze¹ и т. п. Они не то, чтоб немки, и не то, чтобы чухонки, все разряжены в каленкоровые кафтаны на заячьем меху, и с платками на головах. Все это освещается двумя сальными огарками, и то оттого, что нынче бал.

Но не пора ли отпереть двери в балльную залу и поискать кого-нибудь для повести? Вы уж поняли, что все это чепуховатое предисловие клонилось только к тому, чтоб как-нибудь позамысловатее сказать вам, как в один зимний вечер, в комнате, названной клубом, жители немецкого городка важно собирались для бала.

Съехались и помещики из окрестности и должностные чиновники, студенты и молодые корнеты, прилетевшие из полка обнять старого отца, поцеловать с кузинами и набраться воспоминаний на целый год.

Итак бал хоть куда.

Много странных лиц, много девушек в красных башмаках. Много старомодной рухляди и фраков с произвольным покроем. Но всем весело, а улыбка удовольствия украшает самое безнадежное лицо, самую антифешенебельную фигуру. Комната четвероугольная, небольшая, освещенная четырьмя лампами, в углу гудят на скрипках булочник с своим подмастерьем. На канале важно сидит, под уединенным зеркальцем, толстая советница в чепчике с огненными лентами, а в руках у нее огромный бархатный ридикюль, хранящий два яблока под стальным замком. Рядом с нею сидит еще несколько старушек, весьма просто одетых.

Царицею была почтмейстерша, недавно вышедшая замуж, одетая в платье и в чепчик, нарочно выписанные из столицы. Блонды роскошно увиваются около лица ее и плеч, а счастливый почтмейстер, сидя за гривенным вистом в соседней комнате, уже сделал два ренонса, хотя, вероятно, вспоминает он не о письмах.

Много розовых платьев, и красных, и голубых; много белокурых кудрей, много германских глазок. Но вот мелькнула передо мной девушка с светлой улыбкой, и взор жадно за нею бежит. Простое белое платье, без модных вычур, обхватывает стан ее. Волосы темно-белокурые небрежно падают на снежные плечи, а глаза ее, глаза темно-сапфирные, большие, огненные, с младенческой простотой устремляются на стройного высокого студента.

¹ толстые, черные (нем.).

С почтительным вниманием слушает студент ее простые рассказы о покойном батюшке, бывшем тридцать лет учителем в училище, о проповедях пастора, о маленьком хозяйстве; слова ее просты, непринужденны, нежеманны. Дома она счастлива. На балу ей весело. Студент страстно упирается ее речами, ее дыханьем, ее взором — и молодое сердце сильно бьется в молодой груди.

Но танец оканчивается. Уездные франты окружают дочь покойного учителя и, шаркнув перед нею, приглашают на будущий *франсез*.

Нечего делать, студент отошел, прислонился к стенке и задумчиво стал перебирать танцующих; но ни блонды почтмейстерши, ни здоровые прелести дочерей советницы не могли остановить его внимания. Какой-то неодолимый магнит устремил его взоры на белое платье, на темные локоны. Воображение его разгоралось. Какое-то торжественное чувство вдруг обняло душу его. Ему показалось, что все кругом исчезло, что все сокрушилось вокруг него, и что на обломках целого этого мира, сквозь прозрачную пелену улыбалось ему очаровательное видение, и что оно вливалось в него горячее упование, и что оно осеяло его небесною благодатью.

Удар по плечу прервал его молчание. «*Hörmal, lieber Kerl, ist das deine Poussade??*»¹

Подле него стоял другой студент, с огромными бакенбардами, красноватым лицом и веселою улыбкой. Дружески потрепал он товарища по плечу и повторил свой нескромный вопрос: «*Poussirst du dich bei Emilie?..*»²

Студентская проза, как холодная вода, плеснула на разгоряченного мечтателя. Он отрицательно улыбнулся, схватил свою фуражку и пошел домой.

А Эмилия стояла в уголке и, краснея, слушала от подруг похвальную перестрелку в честь вышедшего кавалера:

— *Ach, liebichen, liebichen! Was für ein schöner Russe, und wie tanzt er elegant!*³

Но третий час. Продажные в уголку бутерброды все уже расхищены и поднесены услужливыми танцорами запыхавшимся дамам. Советница встала с своего места и, вынув

¹ Студентское выражение, означающее влюбленность. (Примеч. автора.)

² Ты влюбился за Эмилией?.. (нем.)

³ — Ах, милый, милый! Что за красивый русский, и как элегантно он танцует! (нем.)

из ридикюля два клубен-маркта, заплатила буфетчику за 32 бутерброда, скушанные дочками. Служанки начали надевать салопы и натягивать теплые башмаки на своих барынь. Калоши разъехались в разные стороны и повезли своих владельцев по домам.

И Эмилия, окутав свое личико большим платком, пошла за матушкой по улице задумчиво и тихо. И все было пусто уже в немецком городке. Только Эмилии показалось, что на перекрестке и вдоль домов мелькала высокая тень в студентском плаще.

II

Что может быть очаровательно глупее тихой жизни немецкого городка? Нет в нем высокопарной политики, нет золотых тросточек, нет низкой зависти, нет модных романсов, нет плоских рукавов и разговоров; нет мужей, известных по женам, нет записных красавиц, нет концертных балетов, нет бенефисов, нет несносных друзей, убийственных обедов, душных раутов и дурных актеров. В немецком городке все первобытно и патриархально. Кто в нем родится, тот в нем и умрет. А между рождением и смертью женится только на соседке.

В немецком городке бывает только три рода необыкновенных происшествий: крестины с конфетками и люне-лем, свадьбы с ужином и шампанским, похороны с перчатками и лимоном. Европейские тревоги до него не касаются; разве иногда аптекарь или судья прочтут берлинскую газету и наделят знакомых политическим запасом. Но зато рассмотрите хорошенько правила немецких горожан. Каждый из них понял свое значение и заботится только о том, как бы выполнить его точнее и добросовестнее. Каждый твердо уверен, что хотя он приносит пользу гомеопатическую, но что он все-таки полезнее многих абонентов всех европейских журналов. Каждый знает, что много есть людей, готовых сделать крышу на здание, но что мало таких, которые согласятся приносить по кирпичику для сооружения его. Немец знает это хорошо — и гордо курит свою трубку в своем уголке. Немец знает, что жена его верна, знает, что дети его ходят в церковь, знает, что он не брал взятки, что он не притеснял бедных, что совесть его чиста. Немец все это знает — и гордо курит трубку в своем уголке.

Так недальновидно и честно прожил свой век отец Эмилии. Не заглядывая в чужие дела, с педантической

аккуратностью всю жизнь просидел он на маленькой кафедре, перед толпою ребятишек. Тридцать лет сряду склонял он гесе и спрягал amo¹, и ни разу это занятие ему не наскучило, хотя он и был глубоким филологом. Однажды кафедра его осталась пуста. Опечаленные дети с плачем разошлись по домам. Они догадались, что добрый их учитель умер.

После него осталась вдова, вдова неутешная, которая понимала жизнь одинаково с мужем. Для нее тесный домик был вселенною; в нем сосредоточивались все ее занятия, все заботы, вся любовь, вся жизнь ее. Когда учитель, усталый от шума ребятишек, приходил к себе домой, его встречали улыбка хозяйки, поцелуй дочери, набитая трубка, любимое кушанье и старый халат. Сколько было мелочных удовольствий и истинного счастья! сколько душевного удовольствия и высоких мыслей было в хате бедного латиниста!

Несмотря на скудное свое состояние, он почитал себя совершенно счастливым и часто благословлял Провидение за мирную свою жизнь, за ненаглядную свою дочь. Лучшим его отдохновением было воспитание Эмилии. С гордостью следил он за порывами души юной и благородной и направлял их к цели высокой. Он не говорил ей о возможности порока, о грязи нашего существования, об обманах света, о холодном сомнении, об отчаянии и бурных страстях. С таким незнанием жизни, с такой невинностью мыслей Эмилия была конфирмована. Чистая, непорочная, предстала она перед алтарем, и, глядя на нее, старый учитель заплакал в первый раз в своей жизни. Но недолго оставалось ему радоваться: кафедра опустела; он умер спокойно, оставив по себе память доброго человека.

Смерть его была сильным потрясением для младенческой души бедной девушки. Не стало ее наставника, не стало друга и товарища ее игр. Все в доме опустело и сделалось мрачно. Вдова забыла свое хозяйство и неподвижно сидела по целым часам, не вставая со своего места.

Что может быть грустнее комнаты умершего человека? Все принадлежности его живо говорят о нем, и как будто ждут еще кого-то. В уголку уныло стоит недокуренная трубка; там открытая книга, там недоконченное письмо; а кругом всего веет еще что-то таинственное, как будто дух покойника, захотевшего в последний раз проститься со своею земною обителью.

¹ люблю (лат.).

Промчался год. Эмилия сняла плёрезы и черное платье. Вдова учителя не забыла, что на ней лежала еще важная обязанность — устройство будущей судьбы ее дочери; она не забыла, что говорил ей умирающий муж на смертном одре, и с материнским попечением рассматривала уездных щеголей и студентов, которые стали увиваться около Эмилии.

Более всех нравился старушке дальний их родственник, Эдуард, бывший ученик покойного мужа ее и посвятивший себя медицине, которой он обучался в *** университете. На праздники приезжал он к родителям своим, жившим в одном городке с Эмилией. Но, будучи застенчив, трудолюбив и неловок в обществе, не посещал он никаких собраний, и вот почему мы не видали его на балу, которым я начал свою повесть.

Но зато на этом балу много было удалых студентов, привлеченных магнитом бала, приехавших с твердым намерением плясать до упада и веселиться донельзя. Весело разбежались они по домам; один только русский студент возвратился задумчив и смущен.

Он понял в этот вечер, что в одном существе может соединиться простота душевная с умом образованным, скромность невинности с обворожительной красотой. Все, что он слышал, было так исполнено неподдельным чувством и так непринужденно, так просто. И со всем тем она была так хороша, так неиспорчена прикосновением столичным, так чужда причуд большого света, что бедный студент побежал в горячке домой.

III

Он жил с Эдуардом.

Опершись локтем на стол, молодой человек внимательно читал толстую, лежавшую перед ним книгу, тускло освещенную дрожащим отблеском догорающей свечи. На лице его было начертано, что он постигал все величие своей науки. Глаза его горели, а на устах его изображалась улыбка душевного удовольствия.

Как Эмилия, он родился в маленьком городке и провел свое ребячество без заморских гувернеров. С утра бежал он с тетрадкой под мышкой в училище, где отец Эмилии внушал ему правила латинской грамматики и строгой добродетели.

Он был живым идеалом, разительным отпечатком германского юноши: мечтательный, глубокомысленный, трудолюбивый, застенчивый, с чистыми и светлыми надеж-

дами. В неиспорченной душе его младенческие чувства сливались с глубокими мыслями, с умом испытующим. Приготовление к докторскому экзамену постоянно приковывало его к строгим занятиям; но среди этих занятий нередко мелькал перед ним девственный образ Эмилии, как венец его трудов и желаний. С нею хотел он пройти безмятежный путь жизни, в ней нашел он свой идеал, свое созвучное сердце, свою сестрину душу. Впрочем, не порывы сокрушительной страсти терзали грудь его: любовь его была чиста, немучительна, немногоречива; она глубоко впала в грудь молодого человека, но впала как искра с неба, а не как пламень земного чувства.

Таков был Эдуард.

Свечка его догорала. Он закрыл книгу и увидел стоящего перед ним товарища. «Ну, что, Виктор?— спросил он весело,— с кем поплясал, в кого влюбился? Каковы наши дамы?» Виктор не отвечал ни слова. Голова его горела, сердце сильно билось, и что-то странное оживляло глаза его. Долго ходил он по комнате, отрывисто отвечая на вопросы товарища.

Эдуард покачал головою, улыбнулся значительно, лег на постель и заснул, как засыпают все студенты после пятнадцати часов труда.

Виктор долго ходил по комнате, наконец схватил перо и стал писать.

«К тебе, в Петербург, в столицу моды, роскоши и чванства, к тебе, мой светский друг, хочу набросить несколько строк. Я знаю тебя: ты прочтешь их с участием; ты даже поймешь их, потому что и твой дух, может быть, метался в золотой твоей клетке, потому что и ты понимал когда-то, что есть жизнь без Невского проспекта, без Дворянского собрания, без маскарадов и танцевальных вечеров. Рожденные оба в кругу аристократическом, мы пошли разными путями. Ты натянул на шею модный галстук, ты сжал сердце свое в шелковый жилет и пошел, не спрашивая у судьбы, зачем она того хотела, по паркетам и по коврам. Тебя жизнь не обременяла догадками. Ты все принял безусловно и надел на себя охотно цепь, потому что цепь из золота и по последней моде. Блажен ты, друг мой, потому что нет для тебя недоступной цели. Ты не испытал этой жажды души, ничем не довольной и все алчущей чего-то. Тебя не проучал немилосердный опыт, немилосердное разочарование.

Рано понял я, что в светском быту нет жизни для меня. Однозвучные слова, однообразные лица скоро мне прислушались и пригляделись. Я бежал от света, где

чувство — одна шутка, а золото — кумир. Жадно требовал я от науки той полноты мыслей, той самостоятельности бытия, которые показывают человеку все его достоинство и все его величие. Но и тут, как в свете, везде ограниченность, скудность в определительных понятиях, и тут то же самое однозвучие и однообразие. Я искал искры божества, выраженной словами, а нашел хвастовство педантов или извороты книгопродавцев.

И в дружбе не нашел я того полного, чистого чувства, которого я требовал от нее. Часто сходился с людьми с душой благородной, с светлым умом — и что же? Ничтожные причины разводили нас на веки; и хотя пламень был, может, и одинаковый, но алтари были различные. Я убедился тогда, что человек — существо эгоистическое, отдельное, целое; что он никогда не сольет своей полной мысли с мыслью другого человека, и что он останется вечно недоволен и вечно один.

Одну эпоху жизни я исключаю из этого общего приговора. Это — эпоха любви, когда пламень двух сердец ярко разгорается на одном алтаре. Тогда лишь только небо нисходит в душу страдальца, тогда жизнь кажется не так загадочной и не так темной, тогда грудь расширяется и мысль светлеет, и душа торжествует над вселенной.

Но и тут, мой друг, сколько глупых приличий, сколько ничтожных условий смешано с лучшим даром Провидения! Вообрази себе, что б сказал отец мой, когда б он узнал, что сын его хочет жениться на дочери школьного учителя, сын такого важного человека, которому родня сестра министра и племянница фельдмаршала! А спросит ли, что волнует мою грудь, что так сильно обворожило мое сердце? Люди требуют во всем общего итога; чувство у них, как счет аптекаря, выражается рублями и копейками. Нет копеек — нет чувства; нет связей — нет нам счастья. Понимаешь ли ты, какое это мученье видеть перед собою счастье целой жизни, облеченное в форму очаровательную, и хладнокровно жертвовать всем для какой-то пустой мысли, без всякой пользы, без вознаграждения, так просто, потому что иначе было бы неприлично?

Вот с какой душевной борьбой пишу я к тебе, и не прошу твоего совета, потому что совет твой я знаю наперед, потому что другого ты дать не можешь, может быть, и не должен. Но мне надо передать часть души своей кому-нибудь. Эдуард, товарищ мой, спит спокойно подле меня, тогда как кровь бунтует в голове моей. Добрый немец

не поймет буйного пыла страстей. Для тебя жизнь сосредоточилась в шарканье большого света; для него — в экзамене, в медицине. Но в свете страсти, хотя прикрытые бархатом и шелком, все-таки иногда проглядывают... и ты поймешь, из дружбы ко мне, все смятение моего духа, все неограниченное, отчаянное беспокойство души моей. Прощай!»

IV

В небольшой, скромно выбеленной комнате, на канаве прародительской формы, сидит маленькая старушка с очками на носу, с чулками в руках. Над старушкой висит портрет покойного мужа ее, в рамке, украшенной иссохшими цветами. Старушка заговорила: «Что ж ты, Эмилия, со свечи не снимаешь?» Эмилия покраснела и схватилась за щипцы. Эмилия дома. На ней черный фартук, волосы убраны просто. Эмилия хороша — я это говорил вам уж прежде; впрочем, иначе я и не принимался бы писать, но Эмилия задумчива. Свечки догорали. Старушка два раза у нее спрашивала о здоровье. Сидевший с ними пастор два раза уж заговаривал с нею о новом органе, а Эмилия ничего не замечала.

Пастор обратился к старушке:

— Наконец бог благословил наши страдания: орган наш привезен. В воскресенье в первый раз прихожане будут петь с органом; прекрасный орган; поверите ли, гофрат Гейнфус говорит, что такой орган нелегко найти и в Вене. Я надеюсь, что вы и дочь ваша придете разделить нашу общую радость.

— Придем, любезный пастор, непременно придем. А кто будет играть у нас на органе?

— Для первого раза у нас будет играть наш молодой друг, Эдуард. Вы знаете Эдуарда?

— О! знаю, знаю: он учился у покойного моего мужа. Он славный молодой человек, прекрасный студент.

— Аппо¹ 1821, почтенная моя госпожа, и я был студентом. Славное время! В пять лет напроказил я на всю жизнь.

— Да, любезный пастор, — продолжала, вздыхая, старушка, — студенты теперь не то, что были. Бывало, только скажут: студент — и все зашевелится; бывало, я сижу за работою у окна, и будто вяжу свой чулок, а сама погляды-

¹ Год (лат.).

ваю украдкой на улицу. И вот мой Фердинанд, с длинными локонами, с маленькой шапочкой, с мечом на бедре, с палицей в руках, покажется на широких камнях нашей узкой мостовой. Как хорош был мой Фердинанд! Бывало, смотришь на него — и страшно и люблю.

— Гм, гм! почтенная госпожа, поверите ли, что я, скромный пастор, которого суеты мира не могли бы теперь расшевелить, я рубился сорок семь раз, да, кроме того, стрелялся однажды за дочь моего профессора теологии.

— Ох, уж эти поединки! Как ненавидела я их! Раз шла как-то по улице. Навстречу мне попалось человек двадцать студентов. Студенты не посторонились. Вдруг слышу я за собой громовый голос: dumme Junge¹. Фердинанд дрался со всеми.

Старушка вздохнула глубоко, пастор улыбнулся значительно, а Эмилия начала молча готовить чай и намазывать кружевпой бутерброд.

Германские жены говорят вообще мало, и за это им спасибо. Вообще нет ничего ненавистнее условного и пошлого разговора в устах женщины. Что ж касается до женского остроумия, это настоящая беда. Назначение женщины быть утешением на земле, а остроумное утешение хуже оплеухи. К счастью, Эмилия была рождена в таком кругу, где не надо прикрывать скудости чувств блеском выражений; она молчала и глубоко таила на сердце свою душевную святыню. С тех пор, как пламенные речи взволновали ее воображение, с тех пор, как страсть пылкого студента коснулась в сердце ее струны, дотоль нетронутой, жизнь ее изменилась совершенно. После бала, которым началось знакомство ее с Виктором и которым начал я свою повесть, было много еще балов, и она везде была с Виктором, и Виктор был всегда подле нее; днем он мелькал перед ее окнами, бледный и задумчивый; ночью, среди общего безмолвия, вдруг раздавались под окнами Эмилии звуки гитары, и страстная песнь сливалась с звучными аккордами. В минуту упоения Виктор высказал ей свою любовь, и с тех пор что-то странное, что-то демонское вкралось в ее душу; покой бежал от нее; какое-то болезненное мучение овладело ее жизнью. Прекрасные черты студента, его светская ловкость, ум образованный и пылкий, а более всего красноречие истинной страсти непреодолимым магнитом привлекли к нему

¹ глупые юнцы (нем.).

все помышления дочери покойного учителя. Каждый день собиралась она открыться во всем матери и не могла собраться с духом. Один Эдуард угадал ее тайну и никому о том не говорил ни слова. Безропотно, без упрека отказался он от своей любимой мечты. Он видел для Эмилии богатую и счастливую будущность и, не думая о себе, радовался счастью двух любимых им существ.

В следующее воскресенье вдова учителя торжественно принарядилась и, взяв Эмилию под руку, отправилась в церковь. У самых дверей стоял, прислонившись, Виктор. Эмилия подняла глаза, взоры их встретились; огонь пробежал по жилам бедной девушки; она едва могла дойти до своей скамейки. Глаза ее не видели лежавшей перед нею книги; уста не повторяли псалмов. Обедня кончилась. Хор прихожан умолк. Один орган мощно звучал под сводами церкви, и вдруг звуки взволновались: они, казалось, то сталкивались, то преследовали друг друга и, как бунтующие страсти, боролись между собою. Эмилия слушала с невыразимым волнением, и вдруг бурные порывы утихли и выражающие звуки слились в общий торжественный гимн, в благодарственный возглас всевышнему.

Эдуард играл фугу Себастьяна Баха.

Придя домой, Эмилия слегла в свою постель, и бедная старушка долго сидела у ее изголовья.

V

Лихой народ *** студенты! Взгляните на них: шапки набок, галстуки долой; они шумно толпятся вокруг кипящей чаши — то любимый их напиток, то заветный крамбамбули, ярким пламенем ликующий посреди своих усердных друзей. Приветствую тебя, академическое разгулье! Трубки дымятся; фуксы¹ приносят стаканы, и пунш льется кипящей влагой. На столе рапиры. Рапиры зашевелились и мерно ударяют по столу. Запели студенты:

Gaudeamus igitur,
Juvenes dum sumus.

Пойте, пойте, пока вы молоды, ликуйте, веселитесь!

Post jucundam juventutem,
Post molestam senectutem
Nos habebit humus.

¹ Студенты первого семестра. (Примеч. автора.)

Все будет данью земли. Пойте, студенты!

Вот уж шесть недель, как гостят студенты в городке, и нынче у них прощальный пир, Abschiedskommers. Кто едет домой, кто идет в университет. Пора на лекцию и за перо. Все товарищи собрались и шмоллируют (пьют братство) в последний раз. Гуляют студенты. Вот уж начались пуншевые дуэли. Противники бодро схватывают стаканы; секунданты меряют и командуют. Стаканы осушаются, и тот, кто прежде выпил до дна, провозглашен победителем. Везде шум и хохот. Здесь фуксов качают на простынях; там брандеров¹ гонят сквозь пылающую солому. Вот весельчак, с рапирой¹ в руке, вскарабкался на пирамиду стульев и столов и провозгласил себя принцем von Thogen, и вот усердная толпа сбегалась вокруг своего повелителя и поет ему с подобострастием:

Euer Gnaden aufzuwarten
Mit Wein von allen Arten².

Кипят мои студенты; кипит крамбамбули заветный.
Шумно и весело.

Эдуард и Виктор отошли неприметно от толпы. Между ними завязался жаркий разговор.

— Когда ж твоя свадьба? — спросил Эдуард.

— Никогда, — отвечал со смущением Виктор.

Глаза Эдуарда заблестели. Он оттолкнул руку своего товарища.

— Итак, слова твои — ложь, поступки твои — обман? Ты завлекаешь бедную девушку в пропасть, которой она не видит, потому что ты украсил ее цветами. Как вор, ты присваиваешь себе чувства, которые должны бы принадлежать другому. Знаешь ли, как называют твое легкомыслие?.. Но слушай: теперь горе тебе, если ты хоть на шаг подойдешь к Эмилии: я буду ее защитником, я буду верной ее тенью и охраню ее от лукавых нападков.

— А по какому праву, Эдуард?

— А ты по какому праву сделал для себя игрушкой первую в мире святыню, невинное сердце беззащитной девушки? Поведение твое низко.

— Стой! — закричал Виктор, — это обида нестерпимая.

Студенты сбегались; противники обменялись вызовами и, как ни в чем не бывало, пирушка пошла опять своим чередом: разгульно, весело и пьяно.

¹ Студенты второго семестра. (Примеч. автора.)

² Окажите вашу милость
Разного рода вином (нем.).

Вообразите себе огромную комнату, уставленную вдоль стен красивыми шкафами, наполненными книгами: большая с одной стороны, маленькая — с другой. Видно, что хозяин любит аккуратность и порядок. Переплеты все на один манер, а, для симметрии, там, где не хватило книг, поставлены деревянные спинки в сафьяне. Посреди комнаты стоят три длинные стола, обтянутые зеленым сукном, с чернильницами и прочими принадлежностями. У камина низенькие кресла и сафьянное канапе вроде какой-то готической буквы. Над этим кабинетом веет гений Гамбса, великого, бессмертного Гамбса.

У окна стоят ломаные аристократические кресла, с пружинами и с разными премудростями, которых не в силах я описать; сверх того, в комнате еще заметно несколько чинно расположенных бумаг, а чиновник ожидает в передней для доклада.

На этих ломаных креслах растянут высокий старик в бархатном халате; он то важно изволит играть с собачонкой, то нюхает табак из золотого сундучка. На лице его, кроме старости, написано еще что-то странное, ровно ничего не значащее.

В эту минуту вошел Виктор, накануне приехавший из университета. Почтительно приблизился он к отцу и поцеловал у него руку.

— Что это у вас на щеке? — сердито спросил старик.

У Виктора была щека разрублена клинком Эдуарда. Едва успел он залечить свою рану, как отец его вытребовал в Петербург.

— Повесы, мальчишки, буяны! — продолжал отец, — дрянь! Гувернеры даром только деньги берут: нет призора никакого, а порядка не спрашивай! Дети, мальчишки! Нет, брат, полно гулять. Я в твои лета был уж гвардии поручик, а ты что? — дрянь, мальчишка!

Виктор был как на огне.

Благородный поступок Эдуарда, несмотря на их поединок, сильно подействовал на него. Долго обдумывал он свои отношения к Эмилии, которые Эдуард, разгорячась в первый раз в своей жизни, ему так откровенно обнаружил. К тому же страсть, как пламень, жгла грудь его, помрачала рассудок его. Ему казалось, что она слилась с его жизнью, что он обязан был жертвовать всем для достижения своей цели и что ему надо было, во что бы ни стало, объясниться с отцом.

— Папенька, — прошептал он, — выслушайте меня.

— А? — проворчал, оборачиваясь, старик.

— Папенька, — выслушайте меня. — Мне двадцать лет; я сам уж в таком возрасте, что могу мыслить и чувствовать сам собою. Что бы вы сказали, если б я просил у вас права располагать своею будущностью?..

— Ну-с.

— Я не рожден для вашего столичного быта; для меня мирная, уединенная жизнь, в кругу семейном, была всегда целью всех моих желаний. Меня не мучат ни честолюбие, ни светская приманка...

— Чего же вы хотите?

— Я хочу, папенька, жить далеко от шума городского, вместе с той, которую я избрал сопутницей моей жизни.

— А кто эта ваша Дульцинея?

— Она дочь покойного... честного, хорошего учителя. Старик забыл свое негодование и, схватившись за бока, четверть часа хохотал так сильно, как ему никогда еще не случалось. Испуганная собачонка залаяла, а Виктор, краснея от гнева и от стыда, стоял как пораженный громом.

Старик успокоился и принял опять суровый вид.

— Ах ты ребенок!.. Вот чему тебя научили! Пстойка, брат, я тебе дурь эту выбью из головы. Вот те на, что выдумал! А все это от того, что за вами нет присмотра, и порядка нет никакого. Выдумал бы я рассуждать так с покойным батюшкой — а? Извольте ждать меня; мы сейчас поедем вместе. Да пришлите мне камердинера.

Начался туалет старика. Пригладив свои седины, обрил он морщиноватую бородку и натянул черный фрак. Одевшись таким франтом, вышел он в переднюю, приказал сыну садиться с ним в карету, а чиновнику ласково сказал, потрепав его по плечу: «Гм, гм! извини, любезный, что не мог тебя принять. Гм, гм... мне эти комитеты... гм... гм... братец, комитеты все время отнимают... гм, гм!..»

Карета остановилась пред пышным домом важного вельможи, и старик, взбираясь на роскошно убранную лестницу, делал сыну отеческое наставление:

— Тут говорить глупостей не надо; будь скромн и робок; опускай как можно чаще глаза в землю и отвечай только на вопросы, а сам не говори ничего. Ты причислен к *** Иностраннх дел, и на днях отправишься в чужие края сверхкомплектным чиновником при *** посольстве.

Итак, прощайте студентские годы, золотые мечты; прощайте шумные песни и ночные серенады под окнами Эмилии! Нет уж кипящего стакана, нет богатырских папир, нет свежести душевной, нет даже более буйных страстей: поток времени все унес и поглотил. Виктор простился с своим последним очарованием, с очарованием чужих краев.

Для молодого человека, в особенности для жителя севера, мысль о чужбине имеет что-то магическое. Она неясно улыбается ему в розовом тумане: то вдруг пред ним предстанет Рим с своими куполами, с кардиналами и Тибром; то Венеция прекрасная развернется перед ним, в тихую лунную ночь, с своими гондолами, с мраморными дворцами, с целым миром таинственности и поэзии, и ему кажется тогда, что вдали он слышит звуки баркаролы, отрадной, как сбывчивая надежда. Человек играет воображением, как игрушкой: ему все хочется представить себе лучше, все выше существенности. Виктор узнал, что поэзия не существует в предметах, что вид Рима, что гондолы Венеции не навевают святого восторга, когда душа устала, а ум недоволен собой. Тщетно Виктор рвался, негодовал и хотел противиться своей модной судьбе: невидимая железная рука тащила его за собой в мир визитных карточек и поддельных цветов. На чужбине, как в Петербурге, он видел все желания свои обманутыми; везде нашел он тот же холодный расчет, те же убийственные приличия, которые назначили его быть вечным секретарем посольства. Для него все сделалось отрицательным; он сам постепенно стал принимать те мнения, которые убили душу его. Все его существование приняло какой-то сероватый оттенок, где никогда никакая яркая краска, никакой луч солнца не проглядывал. Скука, скука глупая, ленивая, усталая повсюду следила за ним.

Тщетно разъезжал он по минеральным водам: для таких болезней нет средств, нет даже названий, и путешествия ему наскучили. Как все мечтатели, он хотел пройти Швейцарию пешком; но с первого дня он ужасно устал и сел опять в свою коляску. С каждым днем чувства его притуплялись и приходили в какую-то нравственную окаменелость. К женщинам он сделался равнодушен. Польза казалось ему мечтой, жизнь и смерть — ничем.

Виктор судил об операх, щеголял своими тросточками, имел двух собак, славного повара и танцовщицу.

В чужих краях он разъезжал в своей коляске, почему был прозван графом и получил два иностранных креста.

Где он ни останавливался, о нем везде говорили, что он любезный молодой человек и что удивительно, как русские легко могут выучиться иностранным языкам, тогда как немцы и англичане, как бы ни старались они, всегда останутся немцы немцами, а англичане англичанами.

И Эдуард, с своей стороны, тоже путешествовал, но с целью возвышенной, с жаждой познаний, вечной его спутницей. Пешком прошел он всю Европу, останавливаясь во всех университетах, беседуя со всеми учеными. Он возвратился на родину с обильной жатвой воспоминания и с ящиком хирургических инструментов — драгоценным залогом памяти одного знаменитого хирурга.

VIII

Однажды жители известного нам городка, сидя с чучками и с трубками у окон, в прекрасный летний вечер увидели большую дорожную коляску в шесть лошадей. В коляске лежал, развалившись, сухощавый молодой человек в бархатном дорожном сюртуке и в каком-то экзотическом картузе. Остановившись на ночлег, он два раза заставил повторить себе имя городка и с приметным смущением начал расспрашивать о вдове уездного учителя.

— Она около Мартина, — отвечал трактирщик, — была не очень здорова: ходила в церковь да простудилась.

— А дочь ее? — спрашивал Виктор.

— Так точно, — продолжал глухой трактирщик, — она простудилась и три дня, кроме ромашки, ничего не брала в рот.

— А дочь?..

— Я, ваша милость, всегда говорю своим детям, что ромашка прекрасное средство против всех болезней, и всегда держу у себя маленькую провизию ромашки дома.

— А дочь, а Эмилия? — повторял Виктор.

— А дочь?.. дочь... да она, слава богу, здорова; только сын ее недавно что-то кашлял, так она, кажется, дала ему выпить ромашки.

— Как, сын Эмилии? А кто же ее муж?

Муж Эмилии был уже в объятиях Виктора.

Увидев его из окна, он поспешил на почтовый двор, чтоб обнять старого товарища.

— Эдуард!.. — закричал проезжий.

— Да, братец, Эдуард. Ты видишь перед собой уездного доктора, хирурга и акушера и притом женатого на Эмилии, на той самой Эмилии, за которую мы когда-то крепко порубились. Была досада, было и чудное время. Помнишь ли наши коммерши, наши песни? Но ступай ко мне потолковать о старине да выпьем-ка в честь нашей академии и нашей молодости бутылочку старого рейнвейна.

Под сенью трех лип смиренно стоит низенький домик, выкрашенный серою краской, с зелеными ставнями. Около домика маленький двор, усыпанный песком, а с другой стороны небольшой сад, наполненный цветами, перед широким балконом, обтянутым холстом. На балконе сидела старушка с ребенком на руках, а подле них Эмилия. Вдруг послышался голос ее мужа; она бросилась к нему навстречу — и остановилась перед Виктором.

— Узнаешь ли ты гостя? — спросил Эдуард.

В тихой, однообразной жизни Эмилии знакомство ее с Виктором было огненной точкой. Долго, долго помнила она русского студента, который так искусно умел принаравливать речи свои к ее понятиям и так часто невидимо носился перед нею, страстный и умоляющий, в часы бессонницы и грусти непонятной. Неожиданное событие вдруг все изменило. Старушка мать отчаянно занемогла. Эмилия забыла свои земные помышления и завлекательные планы. Все ее занятия, мысли, надежды сосредоточились в страждущей матери. В то самое время возвратился из-за границы Эдуард с блистательными аттестатами. С радостью взялся он разделять попечения и труды Эмилии. Оба вместе, с горячим чувством веры и покорности к Провидению, сидели у кровати страждущей старушки, и души их сливались в одном общем желании. Тогда Эмилия начала понимать, что любовь истинная основана на общем страдании и на общей молитве. Она начала понимать, что любовь истинная — чувство спокойное, высокое, торжественное, отголосок неба на земле, и что эта любовь только может быть залогом истинного блаженства. Благодаря искусству Эдуарда, старушка выздоровела. Эмилия видела в молодом докторе спасителя своей матери. Привязанность ее к нему каждый день более и более возрастала. Они были обвенчаны.

При появлении Виктора Эмилия смутилась, но, взглянув на мужа, на мать и на сына, она уже увидела в нем только товарища Эдуарда и дружелюбно его приветствовала, как старого знакомого.

— Жена, — сказал Эдуард, — принеси нам бутылку

гогеймера; а ты, товарищ, ступай ко мне в кабинет. Ты видишь — все по-старому: всё те же разбросанные книги, кости и инструменты. Вот мой плащ в углу, вот мой Stammkopf (заветная трубка), вот моя студентская фуражка. Ты видишь: вся старина моя со мной; но признаюсь тебе, как тогда хорошо ни было, а теперь лучше.

Рейнвейн принесен. Стаканы полны.

— За здоровье академической жизни! — сказал Эдуард.

— И супружеского счастья, — прибавил Виктор.

Старые студенты обнялись и осушили стаканы до дна.

— Итак, — продолжал доктор, — ты теперь богатый человек и много у тебя друзей, знакомств и занятий, но среди этого шума вспомни иногда, что есть в немецком городке бедный доктор, который всегда тебя встретит в своем уголке с чувством истинной дружбы. В тебе было много безрассудного, но и много хорошего; голова пылкая, сердце доброе. Я часто жалел о тебе, но любил тебя всегда, даже когда и ссорился.

— Да, — продолжала Эмилия, — не забывайте нас в вашей столице. Мы часто о вас с мужем вспоминаем в зимние вечера, греясь у камина.

Беседа летела весело и откровенно. Виктор ожил старою жизнью и старою молодостью. Все воспоминания старины являлись поочередно одно за другим; ни один профессор, ни одна девушка не были забыты; буйные анекдоты, смешные и трогательные рассказы быстро летели друг за другом. Наговорившись досыта, товарищи расстались.

Картина семейного счастья долго оставалась в глазах Виктора. Тихая, уединенная жизнь, скромный домик, все безроскошные удовольствия жизни, прекрасная, любимая хозяйка, спокойствие душевное и полезные занятия... Виктор все это видел, все это понял и поскакал в Петербург, где ожидало его богатое наследство покойного отца.

СЕРЕЖА

Лоскуток из вседневной жизни

(Кн. В. Ф. Одоевскому)

Bonjour!
(Grand monde)¹.

I



ныло звенел колокольчик; телега медленно тащилась по тряской дороге, а путешественник задумчиво глядел на поля, покрытые уж осенним снегом. Это было в конце октября, в ту пору недоумения, когда природа колеблется между летом и зимою, когда в Петербурге балов еще нет, а начались уж вечеринки, — время дикой поэзии и озимовых всходов.

Скучно ездить по святой Руси, нечего греха таить, куда как скучно! Всё те же стационарные смотрители, всё те же дилижансы «первоначального заведения», всё те же постилы, рыбы, пряники и котлеты. Вот вам валдайские баранки, вот вам сафьянные сапожки, вот вам щи такие ленивые, что их едва из суповой чашки можно вылить. Хотите кушать, хотите ночевать, баранок вам не надо, гусей также; спать вы не будете, все надоело, все приелось... а ехать далеко, далеко, далеко!.. Ну так взгляните хоть на проезжающих. Сколько их тут! Всё военные, да чиновники, да недоросли, да немцы. Вот мчится телега — буйная молодость русских дорог; вот переваливается бричка, как саратовский помещик после обеда; вот гордо выступает широкая карета, как какой-нибудь богатый откупщик; вот дормез, вот коляска, а за ними толстый купец-дилижанс, выпив четырнадцать чашек чаю на почтовом дворе, подает милостыню оборванной сидейке.

Это позабавит вас на полчаса. Но вот начинается настоящее вам горе, пропали вы совсем: вы сворачиваете с большой дороги и едете проселком. Горе вам, горе, горе,

¹ Здравствуйте! (Большой свет) (фр.).

горе! Дорога делается хуже, вольных лошадей и неволею едва ли придется вам достать. Грязно, скучно, досадно!

К счастью, путешественник мой был влюблен. Перед ним далеко расстилалось снежное поле, кое-где прикрытое мелким ельником, — картина вам знакомая. Вправо мелькали две-три избенки, согнувшись, как старушки за бостоном. Небо было серое; воздух был холодный. Телега катилась по тряской дороге, а путешественник терялся в мечтах и... потирал себе бока.

Это Сережа. Он едет в деревню из Петербурга. Он человек военный, хотя не то чтобы военный человек. Он добрый малый, гвардейский щеголь. Вы его видели везде. Кресла у него в театре всегда в первом ряду, вследствие каких-то особенных знакомств. Лорнет у него складной, бумажный. В театре он свой человек. Он даже мигал три раза одной корифейной танцовщице, той именно, которая всегда, идя за гробом Розалии, опускает руку и подымает ногу. У него и на старом мундире эполеты всегда новые. Он не то чтобы хорош, не то чтобы дурен, не то чтоб умен, не то чтобы глуп, не богат и не беден. В большом свете он занимает какое-то почетное место от особого искусства танцевать постоянно мазурку с модной красавицей и заводить дружбу с первостатейными любезниками и франтами, приехавшими из-за границы блеснуть своей заграничностью в наших гостиных. Сережа кое-чем и занимался. Он читал всего Бальзака и слышал о Шекспире. Что же касается до наук, то он имеет понятие об английском парламенте, о крепости Бильбао, о свекловичном сахаре, о паровых каретах и о лорде Лондондери.

Но теперь и занятия, и балы, и книги, и театр — все забыто: пять мазурок, три кадрили и два вальса решили навсегда судьбу молодого человека; черные очи, пышные платья, длинные локоны и гранатовые серьги обворожили его гвардейское сердце. Сережа не только уверил самого себя, что он влюблен, но даже умел уверить в том и всех знакомых своих. О Сереже стали жалеть; Сережу начали выставлять примером верности. Сережа вдруг сделался лицом занимательным, предметом разговоров, и точно за *нею* следил он как тень. Она на бале — и он на бале; она в ложе — и он в партере; она на английских горах — и он ломает себе шею; она гуляет — и он морозит себе пальцы и нос, чтоб пройти молодцом по Невскому в одном сюртучке. О! Такой страсти долго не слыхивали в бесстрастном Петербурге. И все единогласно

хвалили, осуждали, жалели — и не понимали Сережу.

Телега все перекачивалась со стороны на сторону. Сережа курил, крихтел и охал, бранил своего человека за то, что дурна дорога, ругал ямщика и мечтал о красавице. Он все припомнил: и продолжительные разговоры, и последнее прощанье, и английское пожатье руки — и улыбка самодовольствия, прерванная толчками телеги, невольно изобразилась на чертах героя незамысловатого рассказа моего.

Долго катилась телега; долго бранился и мечтал Сережа; наконец мелькнули огоньки, потянулся длинный забор, показались крышки.

Сережа въезжал в свои владения и горделиво, с чувством барского достоинства остановился перед нетопленным домом.

II

На больших уродливых креслах сидела молодая женщина у письменного столика, заставленного малахитами и китайцами. Тщательно загибала она углы розовой надушенной бумажки, а на губах ее дрожала золотая облатка с графским вензелем.

Женская розовая записка! Блажен, кто, получив тебя, прижмет тебя к своим губам, и долго будет тебя читать, и долго будет смотреть на тебя! Куда летишь ты, воздушная? Какую тайну любви, какую сердечную грусть поведаешь ты? Много поэзии в твоих нежных листиках, много прекрасной небрежности в твоих мелких бисерных строчках, розовая женская записка!

Молодая женщина схватила китайца за голову и позвонила. Вошел слуга в ливрее английского покроя.

— Отнесите это письмо в театральную дирекцию. Чтоб непременно у меня была завтра ложа, да спросите, дома ли муж.

Так вот тайна Сережи: она графиня, она замужем, а к тому ж и добродетельна; но неужели страсть молодого гвардейца не могла тронуть женского сердца? О нет! Она его уважает, она его даже любит, любит искренно, как бального друга, как мазурочного брата; но есть обязанности: есть старый муж, есть грозная молва... Впрочем, Сережа многого не добивался. Три раза в неделю аккуратно он своими взглядами и вздохами компрометировал модную нашу графиню, и так всенародно, так откровенно, что добрая слава красавицы отнюдь от того не страдала: все

знали, что любовь его безнадежна. Вчера он уехал, чтоб вылечиться от страсти и долгов. Сказать правду: отъезд его немного расстроил графиню. Для рассеяния она непременно решила ехать в театр; к тому ж дают новую оперу с прекрасными декорациями и великолепным спектаклем.

От скуки она задумалась; немного подумала о жизни, о счастье, которого нет; потом задумалась о чепчике, потом о Сереже...

Хороша моя графиня, нечего сказать, хороша, очень хороша! Вы, верно, ее видели, а если видели, так, верно, думали о ней, когда душа ваша разнеживалась. Маленькой ручкой подпирала она маленькую прелестную головку, а черные глаза, в каком-то задумчивом тумане, рассеянно устремлялись на бронзового китайского уродца, важно сидящего на кучке пакетов, возле колокольчика.

Итак, «она хороша». Это слово подразумевает уже целую повесть. Рассказывать ли вам, как с младенчества ей отравляли чистые наслаждения детства, как всегда перед нею была развита картина большого света, как ее постепенно приготавливали к нравственному, сердечному развращению, для которого она была назначена приличием... Впрочем, она читает тоже Бальзака, но о Шекспире не слыхивала. Свет, которому ею пожертвовали, много подавил в ней хорошего, оковал ее в холодные цепи и бросил в объятия старого мужа, который купил ее ценою своего имени. Она никогда не думает о том, что есть ужасного в ее положении, наряжается и танцует, танцует и наряжается. О любви же она не думает; да время ли думать? Поутру она катается по Невскому проспекту, потом за стол, потом в свою ложу во французский театр. Время летит быстро; платья меняются — и жизнь проходит.

Дверь отворилась. Вошел человек лет пятидесяти, в черном парике; он поцеловал руку у зевавшей красавицы и начал расхаживать по комнате.

- Что, ты каталась?
- Каталась.
- Хорошая погода?
- Да.
- Холодно!
- Да.
- Градусов пятнадцать.
- Право?

— Много было вчера на рауте?

— Да все те же. Adèle постарела ужасно. Графиня В. была дурно одета, по обыкновению. Была еще какая-то приезжая из Москвы — сейчас видно. А ты играл?

— Играл.

— Что сделал?

— Проиграл.

— Много?..

— Нет, безделицу.

— А?..

— А-а-а-а!!

— Хороша погода!

— Да.

— Холодненько... А мне пора. Прощай.

— Прощай.

Старик поцеловал у нее опять руку и ушел.

Такие разговоры повторялись каждое утро.

На другой день графиня была в театре, с прическою из черного бархата. Рядом с ней сидела бессловесная наперсница, девушка лет под сорок, одетая пристойно, под названием amie d'enfance¹ и дальней родственницы. В ложе переменялись франты в желтых перчатках, брали оперу, поправляли галстуки и были очень милы. Сережа был забыт...

А Сережа кряхтел в тележке, бранил человека за то, что дурна дорога, ругал ямщика и со всем тем был влюблен и въезжал в свою деревню.

III

— Слышь вы, ребята!— говорил нарядчик, стучась в крестьянские окна.— Молодой барин приехал.

— Ой ли? Вишь что!..— отвечал православный бас.

— Ах ты мой родимый!— запищала баба.— Красное мое солнышко! Как бы поглядеть на родного!

— Ну, смотрите же, с хлебом да с солью, ребята, на поклон.

Взбудоражились мужики, с раннего утра собрались у дверей молодого помещика, кто с яичками, кто с медком, а кто так, с пустыми руками, прошу не прогневаться. Староста расчесал себе бороду и важно упирается на

¹ подруга детства (фр.).

палочку из соседней рожи, палочку, известную многим в деревне. Земский набил нос табаком, второпях криво застегнул жилет и, не выпив ни одной рюмки водки, против обыкновения, хвастает, что барин с ним говорил и даже изволил назвать его дураком за то, что в комнатах холодно. Управляющий с явным волнением ходит перед миром, ласково называет каждого по имени: «Что, старик Трофим? Здорово! Невесту хочешь? Будет тебе невеста; сыграем свадьбу. Смотрите же, православные, барина отягчать просьбами не надо: он этого не любит. Здорово, Ильюшка! Эким, брат, молодцом! А, Гаврило! Небось леску хочешь? Ну, так и быть, дам тебе леску».

Вдруг дверь настеежь отворилась; Сережа показался. Мужики повалились на землю. Это Сереже понравилось, хотя немного и смутило. Он пришел в недоумение, чем начать речь своим подвластным; наконец решился:

— Здравствуйте; здоровы ли вы?..

— Много лет здравствовать твоей милости! Дождались мы наконец батюшку, своего отца родного. Просим принять хлеб-соль нашу крестьянскую. Мы твоею милостью довольны.

— Ну, каковы дела ваши?— Сережа принял вид человека делового.

— Да какие, батюшка, дела? Мы ведь богачи осенние: даст бог хлебца, так и слава тебе господи! А нет — ну, и так проживем.

— А довольны ли вы управляющим?

— Нечего сказать, обиды большой не терпим; ну, иногда и выругает... и поколотит... да ведь вы сами, ваше благородие, знаете... без этого нельзя.

— Благодарю вас за то, что вас любят крестьяне,— сказал важно Сережа, обращаясь к управляющему. Управляющий почтительно поклонился.

— Смотрите же,— продолжал помещик,— работайте хорошенько, трудитесь, любите друг друга, ходите в церковь, уважайте своего управляющего — и вы все будете счастливы.

Сережа читал m-me Genlis.

Слушатели почесали затылки. Один хотел было что-то сказать, да его дернули за кафтан,— все и замолчали... Молчали; наконец барин еще сказал:

— Не забывайте же.

— Твои крестьяне, батюшка. Мы дети твои, а ты отец наш.

— Вишь барин какой,— говорили, расходясь, мужи-

ки, — добрый барин; бает так гладко, что и не поймешь ничего.

А Сережа обедал, очень довольный собою. Двое дворовых людей — один отставной парикмахер, а другой отставной живописец, служивший, впрочем, некогда в случае нужды и музыкантом, — ревностно ему прислуживали, наперерыв друг перед другом рассказывали молодому барину разные проказы покойного дедушки.

IV

В наше просвещенное время всякий знает, что есть архитектура. В одном только сельце Зубцове слово это вовсе неизвестно.

Сельцо Зубцово расположено у подошвы небольшой горки, вдоль мутного пруда, на котором изобретательная экономия нашла средство устроить небольшую мельницу с болтливыми колесами, вечно толкующими одно и то же, как многие из наших знакомых. Спускаясь с горки, проезжающий невольно останавливается, пораженный удивительным зрелищем: из-за кустов и деревьев высовывается какая-то неясная, неопределятельная громада крышек, углов, труб, досок и окон. Долго не может он себе объяснить, что это такое: недостроенный ли корабль, или феномен какой, или памятник в честь Ноева ковчега; наконец начинает он предполагать, что это, может быть, дом. Подъезжает ближе — дом действительно.

Но что за дом, что за удивительный оригинал между всеми домами! Фасад его вдавился углом, как ноги на третьей позиции танцевального учителя. По стенам, когда-то обитым тесом, разбросаны окошки в явной вражде между собою, то толкая друг друга, то отдаляясь взаимно на благородную дистанцию. К этому фасаду приделаны со всех сторон домики, пристроечки и флигельки с таким же романтическим беспорядком, как разбросаны мебели в гостиной петербургской красавицы, одним словом, представьте себе испанские дела, французские романы, присовокупите к тому весь толкучий рынок нашей литературы — и весь хаос будет еще ничем в сравнении с хаосом зубцовского дома.

Давно-давно, со времени царствования Екатерины Второй, отставной штык-юнкер Карпентов поселился в сельце Зубцове; но тогда дом его далеко не походил на тот, который я хотел вам изобразить; он весь состоял из трех только комнат, а в жизнь помещика сосредоточи-

валась в одной. В этом безроскошном эрмитаже заключались все удовольствия, все привычки, вся жизнь его. На окошке валялись карты, картузы с табаком; на треножном столике бутылки с настойкой, бутылка с соевым огарком, счеты и засохшая чернильница; в углу — постель, на которой вечно лежала собака; у постели — ружье, сапоги, бритвенница и нагайка. Николай Осипович ходил всегда в нанковом сюртуке и в сафьянном картузике. Он был холост, а поведение его в околотке ставили за примерное. Каждое воскресенье бывал он у обедни в своем приходе и стоял на клиросе; а хмельным хотя его и видали, но очень редко. Таким образом достиг он до тридцатилетнего возраста, однообразно, лениво и скудно.

Однажды прохаживался он по густому бору. Это было осенью. Листья желтели; все склоняло к грусти. Карпентов мой задумался... Вдруг тонкое восклицание: «Ах! ах!» неожиданно прервало его размышления. Карпентов поднял голову: перед ним стояла румяная девушка, дочь соседа премьер-майора Пуговцова, слышавшая первой красавицей всего уезда.

— Ах! — повторил Николай Осипович. — Ах! ах! Авдотья Бонифантьевна, как это вы здесь?.. И одни-с?

— Ничего-с, Николай Осипыч... так-с; я пошла было с девками рыжичков поискать, а те девки по лесу-то и разбежались. Эй, Маланья, Прасковья, где вы?

Пронзительное «ау» раздалось со всех сторон.

— Здоров ли батюшка? — спросил Карпентов в замешательстве.

— Нездоров, Николай Осипыч, выдумал поужинать гусем с груздями: всю ночь не спал.

— Зайду наведаться, сударыня, непременно зайду.

Босые девки сбежались. Карпентов с некоторою светскою обворожительностью приподнял свой картузик, поклонился и пошел домой; он был тронут до глубины сердца. С тех пор все для него переменялось: где бы он ни был — всюду за ним летел очаровательный образ соседки, в кругу своих наперсниц, с рыжиками в руках.

Пуншик в сторону, борзые в сторону, все хозяйские прегрешения в сторону. Штык-юнкер Карпентов хлопнул по столу и решительно воскликнул: «Пора мужику обабиться!»

Вскоре весь уезд узнал о его помолвке. Но тут появились новые затеи. Для молодой жены мало скромного уголка, в котором помещался Карпентов; для нее нужны

все утонченности роскоши: нужны диванная, чайная; а в особенности боскетная. Николай Осипович созвал плотников и начал, говоря слогом помещичьим, пристраиваться. Вскоре появилась боскетная с ужасными растениями, спальня, чайная и девичья. Счастливый Николай Осипович ввел свою супругу в новые чертоги; но и тут дом скоро стал тесен: у Николая Осиповича родился сын — опять нужна пристройка; у Николая Осиповича родилась дочь — опять, нужна пристройка! Таким образом, дом помещика рос вместе с его семейством, и когда у него стало налицо огромное множество детей, с присовокуплением разных мадам и мамзелей, то дом его принял этот фантастический вид¹, который так удивляет проезжающих.

V

Я наскоро набросал вам биографию Николая Осиповича, изобразившуюся уродливым иероглифом на проселочной дороге, ведущей к уездному городу. Теперь пора продолжать. Извините, если в рассказе вымысла мало: то, что я пишу теперь, не есть повесть; повесть я напишу еще когда-нибудь; это присказка, а сказка будет впереди. Впрочем, для порядка вещей и постепенности в происшествнях, я надеюсь, что вы догадались, что деревня Сережи находилась в близком расстоянии от деревни Николая Осиповича; без любви не обойдется. В то время, как Сережа появился в свои владения, Николаю Осиповичу было шестьдесят пять лет. Смирный послушник, давным-давно преклонил он уже свою буйную голову под иго своей одожевшей супруги; а Авдотья Бонифантьевна лишилась многого, что имела, и многое приобрела, чего прежде и в помине не бывало. Авдотья Бонифантьевна начала сердиться и солить рыжики, начала нюхать табак, начала бить своих девок, бранить своих дочерей и раскладывать пасьянец засаленными картами. Не считая мелких девочек и шалунов мальчишек, которым и счет был потерян, у четы Карпентовой было налицо три дочери-невесты: Олимпиада, Авдотья и Поликсена. Олимпиада — музыкантша, Авдотья — хозяйка, а Поликсена — плутовка. Олимпиада — высокая, худая, чувствительная, поющая разные романсы

¹ Впрочем, подобные дома в провинции встречаются нередко; они известны под общим названием «домов без архитектуры». (Примеч. автора.)

и читающая разные романы; Авдотья — плотная, румяная, знающая одну только расходную книгу, имеющая исключительным занятием выдавать весом все домашние провизии и чрезвычайно много кушать; Поликсена — девочка лет четырнадцати, с распущенными волосами à l'enfant¹; Поликсена трунит над целым домом, спибаёт очки с носа старой няньки Акулины, выдергивает стулья у задумчивой Олимпиады и сочиняет злодейские эпиграммы и стишки.

Вот в каком соседстве поселился Сережа и курил целый день табак. В один день обошел он все свои хозяйственные принадлежности, видел гумно, скотный двор, птичник и кирпичный завод. Сережа вздохнул, сложил руки и начал курить. К счастью, на третий день его приезда поутру явился в прихожую старый буфетчик в овчинном тулупе и просил доложить его милости, что Николай, дескать, Осипович и Авдотья, дескать, Бонифантьевна Карпентовы покорно просят барина приехать расхлебать вместе с ними щей деревенских. Узнав, что у означенных соседей числилось три барышни-невесты, Сережа обрадовался, нарядился, завился, на помадился, надушился и в дедовских дрожках отправился к Карпентовым, о которых в Петербурге он и от своего лакея слышать бы не захотел.

Так-то обстоятельства меняют людей!.. Размышление сие вам, вероятно, покажется не новым, но оно из числа тех, которые нехотя приходят ежедневно на ум при виде наших грешных мирских слабостей.

Итак, в жилище рода Карпентовых, обыкновенно мрачном и тихом, вдруг появилась какая-то торжественность. Казачку велели заштопать локти и панталоны; на кухне готовятся два лишние блюда; за стол подадут вино сотерн и домашнюю наливку. Авдотья целый день перебегает из кладовых в столовую. Николай Осипович надел что-то похожее на фрак, а Авдотья Бонифантьевна — нечто сходное с чепчиком. Дочери в белых платьях — цвет невинности и душевного спокойствия.

Шаркает Сережа, кланяется и хозяину и хозяйке и спрашивает у всех о здоровье.

— А каковы у вас озими? — говорит старик.

— Слава богу, здоровы, — отвечает Сережа. — Очень благодарен.

— Прошу, батюшка, нас жаловать, — продолжает

¹ по-детски (фр).

Николай Осипович. — Покойный дедушка частехонько нас навещал — царствие ему небесное! Куда какой проказник был! Бывало, только входит в двери и кричит мой родной: «Ты, Осипыч, каналья, братец, скотина, настоящая скотина! Три дня у меня уж не был; а у меня дворовые новый концерт выучили; жаль, что только без кларнета: я кларнету лоб забрил. Ну-ка, ну-ка, сзови-ка, брат, своих девок да заставь спеть что-нибудь». Куда какой шутник был покойник! Царствие ему небесное. Сам станет бабам подтягивать, а коли в духе, так и плясать начнет. Нет, уж этаких стариков теперь нет!..

— Милости просим садиться, — говорит Авдотья Бонифантьевна.

Начинается разговор вялый и глупый. Дочери шепчутся в углу; Сережа на них поглядывает и говорит комплименты Авдотье Бонифантьевне, которая скромно потупляет глаза.

Подают обед. Сережа сидит подле Олимпиады. Она то вздыхает, то расспрашивает о «Фенелле». Сережа, обрадованный, что есть люди, которые не видали ее пятьдесят раз сряду, объявляет, что, кроме «Фенеллы», есть еще «Норма». «Норма», удивительная опера известного Беллини, дается в Петербурге в последнем совершенстве.

— Вы музыкант? — тихо спрашивает Олимпиада; а Сережа отвечает казенною фразой:

— Нет, я не музыкант, а очень люблю музыку.

Против него Авдотья беззаботно пользуется сытным обедом, а Поликсена швыряет в нее украдкою хлебными шариками.

Кончился стол.

— Олимпиада, спой что-нибудь.

— Матап, я охрипши.

— Ничего, мой друг, мы люди нестрогие.

Сережа кланяется, подает стул, и Олимпиада просит свою маменьку самым жалобным голосом «не шить ей красного сарафана».

— *Charmante voix!*¹ Bravo! — говорит Сережа. — Прекрасная метода. Жаль, что не изволили слышать «Нормы».

Олимпиада вздыхает.

После музыки начались карты. Стали играть в ламуш по грошу, и всем было очень весело. Сережа врал до невероятия. Барышни хохотали. Время летело. К ве-

¹ Очаровательный голос! (фр.)

черу были обещаны новые романсы, стихи в альбом и конфеты от Рязанова.

Сереза уехал, а Николай Осипович и Авдотья Бонифантьевна долго между собою толковали, гася восковые свечи и зажигая сальные; а сестры перебрались между собой, и вся дворня собралась у буфетчика толковать о новом госте и ожидаемых переворотах.

Один только казачок заснул весело и спокойно. Из всего им виденного заключил он, что ему сошьют новые панталоны.

VII

Провинция! Провинция! Помню я тебя, с твоими уездными городами, с твоими отставными генералами, с твоим вистиком, с твоим бостончиком, со всеми твоими затеями. Помню и казенный колокольчик дворянского заседателя, приводящий в тресет целое селение. Помню и незабвенные твои балы — драгоценные воспоминания уездных барышень!..

Почти в каждом уездном городе, как вам известно, есть нечто сходное с дворянским собранием. Заключается оно обыкновенно в самой большой комнате города, иногда в гостинице, иногда у аптекаря, иногда на станции, иногда в уездном училище — как случится. Тут во время праздников собираются женихи и невесты, помещики и помещицы, должностные и неслужащие. Тут рождаются толки о столицах; тут городничий играет в вист, тогда как жена его манерится во французской кадриле; тут затеваются свадьбы; тут продается яровое; тут иногда бывает очень весело...

Вы помните, что я начал свой рассказ концом октября, порой недоумения, когда природа колеблется между летом и зимой. Вскоре зима взяла свое: снег привалил громадою; ноябрь пробежал, декабрь начал выставлять свои праздники. Барышни Карпентовы давно уже заготовляли фантастические цветы и розовые платья для крещенских удовольствий. Сереза бывал у них каждый день. Мало-помалу он начал привыкать к семейству, принявшему его с таким добродушием. Скоро и старики перестали с ним церемониться: Авдотья Бонифантьевна сняла свой чепчик, а Николай Осипович надел свой сюртук. Вы, может быть, уже заметили, что главная черта характера моего Серезы — бесхарактерность. Привычка была его второй природой. У Карпентовых бывал он каждый день — не оттого, чтоб он их полюбил, а оттого,

что он к ним начал привыкать. Из барышень же более всех нравилась ему Олимпиада. Мудрено ли, что Олимпиада предалась ему душою? Без развлечения, без светского образования, без всякого участия в делах мирских, в любви видела она единственное занятие, звезду своей жизни. Везде преследовал ее образ милого гвардейца с его блестящими эполетами, с его звучными шпорами, и петербургские наречие сводило бедную девушку с ума. Сережа все это очень хорошо знал и, не имея никакой цели, неприметным образом стал приближаться к молодой девушке и воспламенять более и более ее воображение. К тому ж она была недурна собою, а волшебство истинной страсти невольно очаровывало Сережу.

Вскоре отправились Карпентовы в уездный город, а Сережа за ними вслед. В уездном городе Сережа важничал, пил шампанское, рассказывал про Петербург, начинал мазурку с Олимпиадой Карпентовой и любезничал со всеми уездными невестами. Вскоре по целой губернии о нем пошла молва, вскоре все матушки, глядя на него и Олимпиаду, начали качать головами и улыбаться значительно. Одним словом: он был уже провозглашен женихом Олимпиады Карпентовой, когда отнюдь о том еще не помышлял. Увидим, что будет далее.

VII

— Вы меня обманете, — говорила Олимпиада, опустив руку свою в руку Сережи, — вы меня обманете — и я умру.

Это было три месяца после возвращения из уездного города. Они сидели на скамейке в саду: Сережа в белой фуражке, с хлыстом в руке, Олимпиада опустив голову на плечо его. Сережа давно уже носил на жилете бисерный снурочек, а в жилете шелковый кошелек. Потом, сам не зная каким образом, начал он говорить обиняками; потом, еще менее зная почему и как, очутился он однажды утром и в саду на скамейке, слушая с смущением, как Олимпиада тихо ему говорила:

— Вы меня обманете — и я умру.

Олимпиада, как я говорил вам уже выше, бледная, худая, романтическая, со всем тем она недурна. Одушевленная огнем первой страсти, она вдруг возвысилась над миром глупой прозы, в котором суждено ей было жить. Вдруг открылась для деревенской девушки новая жизнь, новая сфера, что-то величественное и необъятное. Румя-

нец заиграл на ее щеках. Душа ее, как ласточка, взлелеянная в душном гнезде, не зная еще ничего в мире, взвилась прямо к небу.

Сереза, глядя на нее, не мог быть равнодушен; голова его по возможности разгоралась. Он не мог понять возвышенности чувств молодой девушки. Со всем тем графиня была давно забыта. Страсть модная, аристократическая, в готическом кабинете на узорчатых коврах, показалась ему вдруг так ничтожной в его одиночестве, сидящему под сенью дерев, подле девушки, высказывающей ему с простодушием все любимые тайны своей души. Новая мысль блеснула в его голове: «Жениться? Да почему ж нет? Жить в деревне, жить с природой, жить с любимой женой, с детьми...»

Решено: Сереза женится... А Петербург с его заманчивыми прелестями? А острова? А все блестящее знакомство? Со всем должно проститься навсегда! Нельзя же ему рассылать визитных карточек: «Олимпиада Николаевна***, урожденная Карпентова...» Он взглянул на нее: слезы дрожали на глазах ее. Я вам говорил: Сереза был добрый малый; он схватил ее руку и жарко поцеловал.

— Завтра, — сказал он, — все будет кончено. Я докажу, — прибавил он про себя, — я докажу, что я не дорожу мнением толпы. Бедная девушка меня полюбила; я должен с гордостью принять этот дар providения. Завтра буду просить ее руки и, если на то пойдет, повезу жену в Петербург, покажу ее всем, возьму для нее ложу во французском театре и сяду с нею рядом.

— Завтра, — говорила Олимпиада, — завтра!.. Не обманывайте меня, Сергей Дмитрич. Я не должна, может быть, говорить вам того, но я не умею скрывать своих мыслей. Не обманывайте меня, если не хотите моей смерти.

— Итак, вы любите меня? — закричал Сереза. — Не правда ли, что вы меня любите?

Олимпиада улыбнулась.

— Завтра, завтра! — прошептала она, встав со скамейки.

— А что, Сергей Дмитрич, не хотите ли табачку? У меня à la rose¹, сам делаю. — Старик Карпентов приближался к чете и прервал их разговор.

«Добрый человек, — подумал Сереза, — будет моим

¹ розовый (фр.).

тестем... отучу его нюхать табак à la rose, а буду для него выписывать французский».

За аллеей показалась Авдотья Бонифантьевна в седых растрепанных волосах.

— Горячее на столе! — кричала она. — Где это вы пропадаете?

«Славная женщина! — подумал Сережа. — Не худо бы ей выучиться носить чепчики».

Сережа не хотел оставаться обедать: в душе его болело слишком много различных чувств... Он выразительно взглянул на Олимпиаду и ускакал на лихой тройке домой.

Отчего, скажите, в жизни все так перемешано: красота с безобразием, высокое с смешным, радость с печалью? Нет ни одного чувства совершенно полного, ни одной мысли совсем самостоятельной; все сливается в какое-то сомнение, в беспредельность душевную, источник сплина и жизненной усталости. Любовь! Слово святое, душа целой вселенной, отрада нашей бедственной жизни — и ты не всегда освещаешь преданную тебе душу. Прекрасна ты, но и тебе нужны формы, как нужны формы в какой-нибудь канцелярии. Скажи: зачем ты восхитительна в пируэтах Сильфиды и неуместна в семействе Карпентовых — любовь, чувство святое, душа целой вселенной?..

Когда Сережа возвратился домой, ему доложили, что его в гостиной кто-то ожидает.

Сережа вбежал в гостиную: перед Сережей стоял Саша.

Саша в общественном значении почти то же самое, что Сережа, с тем различием, что он служит в другом полку и слывет в обществе опасным человеком и злым языком благодаря особому его умению давать всем своим знакомым смешные и колкие названия. С громким смехом приветствовал он Сережу:

— С какими ты, брат, скотами здесь познакомился? Спрашиваю у людей: «Где Сережа?» — «У Карпентовых». — «А где был вчера?» — «У Карпентовых». — «А что эти Карпентовы — богатые люди?» — «Душ восемьдесят с небольшим будет». Ха-ха-ха-ха! Ну уж нашел, нечего сказать!..

— Полно, брат. Вечно шутишь!

— А ты, брат, настоящий Бальзак, подпоручик Бальзак: все сочиняешь романы. Чего доброго, не влюблен ли ты в какую-нибудь птичницу?

— Перестань, братец.

— Я тебя знаю. В деревне молоко, природа, сметана, чистая любовь у ручейка, за обедом ватрушки — жизнь патриархальная. Это все очень трогательно.

— Полно, Саша. Расскажи-ка лучше что-нибудь про Петербург.

— Да что, брат, тебе рассказывать? Петербург что день, то лучше, то многолюдней, то славней. Магазинов новых пропасть, домов также. На улицах газ, а в театре танцует мамзель Круазет. Ты не видел Круазет?

— Нет, — отвечал, краснея, Сережа.

— Это, брат, чистая поэзия, выраженная ногами. Каждое ее движение — картина, чудесная картина; удивительно танцует, то есть как бы я тебе ни рассказывал, никакого понятия о ней нельзя тебе дать: надо видеть.

— А что в большом свете?

— Да все по-старому. Петруша женится, берет сорок тысяч чистого дохода, да, кроме того, есть надежда, что тесть его скоро умрет, так будет втрое, — каков Петруша? Да кстати: графиня тебе кланяется; она теперь кокетничает с новым франтом, приехавшим из Парижа.

— Быть не может! — закричал, вспыхнув, Сережа. — Верь ты этим женщинам! А что говорят обо мне в Петербурге?

— О тебе? Ничего не говорят. В Петербурге никогда ни о ком не говорят, кроме тех, которые беспрестанно под глазами вертятся. Да бишь: Вельский просил тебя прислать ему деньги, которые ты проиграл ему в экарте. Кроме того, я видел Adèle... Она на тебя жалуется, ты знаешь... потому что... тс-тс!

Прятели начали говорить вполголоса. Разговор их был продолжителен. В одиннадцать часов вечера Сережа приказал своему камердинеру укладываться, написал наскоро довольно учтивое извинение Николаю Осиповичу и чем свет был уже с своим приятелем на большой петербургской дороге.

VIII

Прекрасная гостиная, готическая, с резьбою Гамбса. Чехлы сняты. Разряженная хозяйка сидит на канаве и ждет гостей.

Нынче не то что бал, да и не то что вечеринка, а так, запросто: горят одни лампы; свечей не зажигали; будет весь город.

Толстый швейцар с дубиной стоит у подъезда. На лестнице ковер и горшки будто бы с цветами. Вот зазвенел колокольчик; съезжаются гости. Дамы лет пожилых (известно, что старух в большом свете не бывает) садятся за вист в гостиной. В соседней комнате играют генерал-аншефы и тайные советники. Молодые девушки садятся на четверугольный канапе посреди комнаты или перелистывают давно знакомые картинки. К ним придвигают стулья секретари посольств и камер-юнкеры и начинают разговаривать. Разговор самый занимательный.

— Что, можно сесть подле вас?

— Можно.

— Были вы вчера в «Норме»?

— Хотите мороженого?

— Как жарко!

— Охота хозяйке давать вечера с этакой фигурой.

— Как вы злы! Bonjour. Bonjour. Bon-jour.

— Знаете, что Сережа приехал?

— Право?

— Да вот и он.

— Тысячу лет не видали.

— Где вы были?

— В деревне хозяйничал. Ха-ха-ха! Не взыщите: мы люди деревенские... Ха-ха-ха!.. Bon-soir¹. Bon-soir.

— Ну, что скажете?.. Вы не знаете, где нынче графиня?..

— А, да вот она сама! Bonjour. Bon-jour.

Сережа вскочил со стула. В гостиную вошла графиня, всегда прекрасная, всегда ослепляющая роскошью и красотой. Густые локоны падали до пышных плеч, а на лбу золотой обруч с брильянтом. От нее веяло какой-то светской приманкой. Все было в ней обворожительно и прекрасно. Величественно подошла она к хозяйке, улыбнулась знакомым, села на место и увидела Сережу, стоявшего перед ней.

— Madame la comtesse...²

— Bon-jour. Когда приехали?

— Сейчас.

— Что, вы женаты?

— Помилуйте, графиня, зачем шутить?

— Да что же вы делали в деревне?

— Я занимался, читал и думал.

¹ Добрый вечер (*фр.*).

² Госпожа графиня... (*фр.*)

— А соседей у вас не было?

— Какие там соседи! Был какой-то капитан, да; признаюсь вам, мне было не до того.

Он выразительно поглядел на графиню.

— Что, вы мужа моего видели?

— Нет еще.

— Ну, ступайте же с ним здороваться,— продолжала, смеясь, графиня.— Завтра у меня танцуют.

— Что, вы мне дадите мазурку?

— Так и быть...

Летит время. Все то же да то же: ноги устали, сердце пусто, мыслей мало, чувства нет.

Саша женился на богатой вдове и начал давать обеды. Сережа танцевал по-старому мазурку, вздыхал под ложкой графини, но начинал уж чувствовать, что он променял счастье жизни на приманки малодушного тщеславия. Нередко мучила его и та мысль, что он был причиной гибели бедной девушки, которая, как известно ему было от одного помещика, встретившего его в театре, чахла и страдала после его отъезда и, вероятно, давно уж умерла. Несколько лет промчалось уж после поездки его в деревню; угрызения совести не оставляли его, но дополняли его бытие. Он уважал в себе человека, сделавшегося некоторым образом преступным, и вспоминал о любви своей к Олимпиаде, как о самой светлой точке своей жизни, утонувшей навеки в бессмысленном тумане его настоящего бытия. Однажды сидел он у своего камина. Воображение живо рисовало ему черты незабвенной девушки с распущенными волосами, с глазами, исполненными неги и любви. В эту минуту вошел человек с письмом. Сережа наскоро распечатал и прочел следующее.

«Милостивый государь Сергей Дмитриевич. Вот уже пять лет как вы не изволили быть в поместьях ваших, в пяти верстах от сельца Зубцова, как известно вам, отстоящих. По отъезде вашем батюшка с матушкой отдали меня замуж за служащего по выборам уездного суда заседателя Крапитинникова, с коим, благодаря богу, я и живу в счастливом супружестве уже четвертый год и была бы довольна судьбою, если б не следующий случай. Муж мой, отставной армии штабс-капитан, прослужил уж три трехлетия по выборам дворянства и, не будучи замечен ни в каких дурных поступках, был представлен начальством к следующей ему награде. Не-

смотря на то, мой муж никакого награждения не получил, тогда как того же суда заседатель Бутыргин, замеченный в нетрезвом поведении, за коим по разным следствиям считается до 200 с лишком дел нерешенных, и женатый на поповской дочери, получил на днях орден св. Анны для ношения в петлице. Не имея никаких покровительств в Петербурге и зная, что вы имете там знакомство в высшем кругу, я решилась, зная всегдашнее расположение ваше к нашему семейству, просить вас не отказать нам в ходатайстве вашем у важных особ о скорейшем назначении мужу моему следующего ему ордена.

Батюшка мой жалуется, что вы его забыли. Он теперь опять пристроивает небольшой флигелек к дому своему для меня и детей моих, на случай, когда дела наши позволяют нам отлучаться из уездного города. Сестры мои вышли замуж: Авдотья за комиссариатского чиновника Бирюкдина, а Поликсена за учителя немецкого языка Шмитцдорфа. Муж мой свидетельствует вам свое глубочайшее почтение, а вместе с ним и покорная вам *Олимпиада Крапитинникова*.

Письмо выпало из рук Сережи; слезы навернулись на глазах его. «Одна минута поэзии,— подумал он,— была в моей жизни, и та была горькой глупостью!»

Бедный Сережа! Ему пришлось проститься с своим раскаяньем и сделаться снова невинным гвардейским офицером. И все пошло, и все идет опять по-старому: графиня наряжается и танцует; Сережа ездит в театр. И все то же да то же: ноги устали, сердце пусто, мыслей мало, чувства нет...

ЛЕВ

(Княгине С. А. Голицыной)

I



Петербурге, как вам и мне известно, модный свет подражает Парижу и Лондону. Оттого и полагают многие, благодаря бога, весьма ошибочно, что подражательность один из признаков русского характера. Не здесь место распространяться о столь грустном обвинении и о причинах, его оправдывающих. Только не странно ли и не смешно ли делать заключение о целом государстве по малой горсти людей известного сословия, которое более или менее везде одинаково? Петербург — точка в России; модный свет — точка в Петербурге. Можно ли распространять эту точку на всю огромную нашу родину? Вообще, весьма покойно, расширив фалды у камина, мрачным голосом упрекать Россию в недостатках, о которых у русского человека и в помине не бывало — увы! кому, при слышании подобных отзывов, не придет на ум, что лютей критик напеваает только собственную историю и сердится на других за свои прегрешения?

Есть на Руси стремление к подражательности — это несомненно; но в ком? не в русском человеке, а в том нравственном и политическом амфибии, в том неопределенном существе, которое с утра до ночи, обтянутое узким платьем и узкими перчатками, неотвязчиво бегаёт за модою, за сплетнями, а более всего за молодыми женщинами, на ухо которым оно одно имеет право нашептывать вполголоса любовные объяснения и мелкие неблагопристойности.

В Париже, в модном свете, завелись львы-сердцееды. И у нас, вслед за ними, появились подобные львы, только с тем различием, что в Париже они с гривой, а у нас без гривы. Читатели мои, начитавшись до пресыщения фран-

пузских романов, не имеют надобности, чтобы я объяснил им выражения щегольского мира. Очевидно, что львы с растрепанной гривой имеют важное преимущество перед безгривыми львами, потому что могут придать своей наружности нечто роковое и ужасное.

Лев — не что иное, как высшее выражение франта, приспособленное к нравам XIX столетия. В блаженные времена мармонтелевских сказок львы еще не существовали, а были напудренные петиметры, обвешанные лентами и кружевами, обсыпанные пудрою, с розанчиками в руках, с стишками во всех карманах. В те времена — увы! давно прошедшие, дамы много значили в обществе. Для них наряжались и пудрились; для них дрались на дуэлях; для них старались быть любезными, истощали весь ум свой, всю изобретательность нежного сердца. Мадригалы и вздохи вырывались при их появлении, и раскрашенный их веер был скипетром, перед которым все должно было и благоговеть и повиноваться.

Но пришла революция. Пудра и кружева обречены были казни. Страх обуял раздушенными петиметрами, и они рассыпались по лицу земли, не оставив по себе ничего, кроме запаха от помады и духов. Не успела Франция осушить свой платя, смоченные кровью, как надумала снова ими щеголять: явились *les incoroyables*, *les merveilleux*¹ с тросточками, в круглых шляпах, в сапогах с отворотами, с неизмеримыми галстухами. Они шутили и любезничали, но уж не так приторно и сладко, как их напудренные предшественники, а гораздо пожестче, и глядели на женщин не так, как на богинь на фиксах, а так, как на равных себе охотниц повеселиться и пощеголять. Явился Наполеон смертоносной кометой и пал жертвой холодного мщения англичан. Могло ли владычество моды устоять против народа, сокрушившего наполеоновское владычество? Выгодный и горделивый эгоизм сынов Альбиона, все приводящий к удобству и выгоде, обратил тогда на себя внимание парижских щеголей, которым надоели, наконец, их яркие наряды и беспрепятственные кривлянья на бульварах. Английский *dandy*, холодный, расчетливый, учтивый, охотник только до собственных удовольствий, а вовсе не до чужих, указал им истинный путь. Они устыдились своей бесцветной глупости и с того времени поставили женщин ниже себя в общественном мнении, как существо второстепенное,

¹ невероятные, чудесные (фр.).

годное для удовольствия, но вовсе не для обожания. Тогда появились первые *львы*, то есть люди, стремящиеся к удовлетворению собственных желаний, подобно животному, которого имя они присвоили, и обнародовали себя властелинами над миром мелких животных, пресмыкающихся у ног их. Не нужно вам описывать, что с первым модным журналом пришло и к нам, на север, известие о львах и новых их жестокостях. Тот же час завелись и у нас львы, слегка переделанные на русские нравы, как бенефисные водевили, которые играют на Александринском театре.

Впрочем, и наш лев, как лев парижский, как лев лондонский, исполняет весьма совестливо свои обязанности. Он прежде всего любитель лошадей, охоты, скачек и прочих упражнений. Он пьет *chery*, *portwein*, *clagets* и презирает шампанское, то есть пьет его не иначе, как в шутку или от нечего делать, или из учтивости. Он одет всегда в черное платье, хотя иногда, по недостатку характера, не может противостоять голубому галстуху или красному жилету. С женщинами он вообще суров и даже груб, но позволяет им, однако ж, себя любить, и даже иногда нисходит до такой откровенности, что бедным нашим дамам надлежало бы затыкать уши. Сердце же его — мрачная пучина; вся молодость его — неразгаданная мистерия, демоновская загадка, которая, впрочем, обыкновенно разгадывается выгодною свадьбой.

С тех пор, как я оставил великосветскую жизнь, я распростился с моими модными приятелями и довольствуюсь с ними единственно шапочным знакомством. Один только остался мне верен в приязни друг мой лев — не Лев Александрович и не Лев Петрович, а истый *лев*, безгривый представитель петербургского безгривого львиного мира. Мы с ним много кочевали вместе по гостиным и по гуляньям, и я его любил тем более, что вообще его провозгласили человеком глупым, а я находил, что он умен. Меня одно только в нем удивляло, что он всегда был готов обедать, танцевать и любезничать; он всегда был одинаков, с готовой улыбкой, с готовой фразой и на незваных обедах, и на семейных концертах, и в душевных комнатах, и на литературных вечерах; одним словом, в скучнейшие минуты жизни он всегда был доволен, всегда улыбался, никогда не хотел спать, никогда не скучал, всегда был любезен, отчего и решили в свете, что он глуп. Я знал его в Симбирске лет десять назад, когда он, еще будучи хорошеньким мальчиком, учился

довольно плохо у французского гувернера, нанятого его родителями и, по обыкновению, содержимого полгода на телятине, полгода на баранине и круглый год на квасе. Так как учение не далось молодому человеку, его определили юнкером в какой-то армейский гусарский полк. С того времени он пропал у меня из виду. Стороной узнал я, что отец и мать его скончались, оставив ему порядочное имение, благодаря строгому порядку и строгой диете, а что сам он вышел в отставку и уехал за границу.

Прошлого года на блестящем бале увидел я его снова; и если б он себя не назвал, я никогда бы его не узнал. Обстриженный по последней моде, с бородой-ожерельем, облитый, так сказать, черным фраком, сделанным в Лондоне, с удивительной уверенностью в поступки, в движениях, во всех словах, он вселил сперва в меня какое-то невольное уважение, а потом, как он на поверку вышел добрый малый, то мы с ним сблизились, и я иногда его навещаю.

Намедни, когда я гулял в своей енотовой шубе, за которую меня так бранят, мне стало жарко; и так как я был близ дома, где он живет, решил я к нему войти.

Вскарабкавшись в третий этаж по довольно чистенькой лестнице — что, сказать мимоходом, весьма редко в петербургских домах, раздробленных на мелкие квартиры, — я вошел в чистенькую переднюю. На лавке сидел лакей в английской полуливрее и читал «Северную пчелу». Он очень мне обрадовался.

— Здорово, Иван! — сказал я старому симбирскому знакомцу.

— А, здравствуйте, батюшка! Что это вы нас забываете?

— Не мог, брат, зайти прежде. А что барин?

— Да что, сударь, только что встать изволили. Ложатся спать в шестом часу, а встают во втором... Тяжела работа. Прошу, чтоб отпустил меня к своим на покой, да, видно, не заслужил еще.

Тут два человека, сидевшие в углу и мною незамеченные, встали со своих мест и сердито начали приступать к Ивану:

— Что ж? долго нам ждать еще?..

— Ждите, пожалуйста. Я вам говорил, что он почивает.

— Мы два часа уж ждем.

— Ну так что ж! Устали, может быть, почивают;

может быть, прогуливаться пошли — почему мне знать?

— Ну, хоть счетец подайте.

— Убирайтесь с вашими счетами! есть у нас их довольно.

— Мы жаловаться будем. Я всю комнату отделал на свой счет. Ведь у меня свои работники: требуют же, чтоб я им платил.

— Ну, не шумите! будут деньги — все отдам.

— John! — закричал голос из соседней комнаты.

Симбиряк Иван бросился к барину и, сейчас же возвратясь, просил меня войти.

В комнату моего приятеля я всегда вхожу с особым удовольствием. Надо признаться, что он человек со вкусом. Повсюду разбросаны иностранные безделки, картинки, оружия, статуэтки. Несколько кресел с пружинами и покойных диванов группируются около камина с вечно пламенеющими угольями. Между картинок и бронз лежат ящики с сигарами, потому что лев презирает трубку, а курит одни сигары, и то без мундштука.

Приятель мой, развалившись на креслах, курил, по обыкновению, свой Cologados и запечатывал пакет.

— Иван! — сказал он, — отнеси по адресу пакет. В нем деньги, проигранные мною вчера на этот проклятый вечер.

— Там есть кое-кто из должников, — заметил, запинаясь, Иван.

— Ну, скажи, чтоб приходили в другое время, через неделю, или две — слышишь?

— Слушаюсь.

Иван вышел.

— Ну, здорово, — сказал он. — А я только о тебе думал и хотел к тебе писать.

Лев был одет прекрасно. Синий бархатный халат с узорами, шитый в виде сюртучка, перевязывался около его талии шнурком с кистями. На ногах щегольские туфли, а на голове шапочка бархатная, вышитая золотом, и тоже с кисточками, придавали его физиономии много живописного.

— Разве я тебе нужен? — спросил я.

— Именно, брат, нужен. Расскажу все по порядку. Садись-ка и кури сигару. Рекомендую тебе вот эти из ящика: это мои собственные; прочие для друзей.

Мы уселись, и разговор продолжался.

— Не хочешь ли, — спросил он, — ехать нынче в маскарад?

— Слуга покорный. Я хаживал в старину по этим

маскарадам, все ноги исходил, только, кажется, оттого толку и было. Два-три письма без подписи, два-три обещания неисполненные стоят ли стольких бессонных ночей?..

— Ну, не знаю,— заметил лев,— а мне так бывает весело на маскарадах, очень весело! Там так много женщин...

Лев невольно улыбнулся.

— Не удивляюсь,— продолжал я.— Чтоб веселиться в таких обществах, надобно быть львом, как ты, например, которому вся подноготная известна, или медведем, который, выбежав из своей берлоги, всему дивится, как дикарь с Алеутских островов. А как я не причисляю себя ни к какому зверинцу, так мне в душной толпе просто скучно. Вот тебе вся моя история.

— Во-первых,— отвечал мне мой хозяин,— напрасно ты говоришь, что я лев: настоящие львы чрезвычайно редки, и, правду сказать, вряд ли найдется в целом Петербурге один лев порядочный. Чтоб быть львом, недостаточно хорошо одеваться, хорошо уметь жить, обманывать женщин, что, впрочем, главные львиные достоинства; но надо уметь властвовать над мнением.

— Ведь родина львов Англия?— спросил я.

Лев посмотрел на меня, как бы удивляясь, что я так мало знаю свет.

— Разумеется, Англия. Разве ты не слышал о Брумеле, который без большого имени, без состояния, даже без красивой наружности так долго управлял колесницею моды посредством одного только умения пользоваться случаем и людьми. Наконец, он, однако, пересолил: его выгнали из Англии, и он умер в Кале среди фраков своих и жилетов, как профессор между книг.

— Какое же различие,— спросил я,— между фешёнэблем и львом?

Приятель мой призадумался.

— Фешёнэбль,— отвечал он, подумав,— простой солдат, а лев — полководец. Лев большею частью чрезвычайно богат и тратит весь доход свой на все излишества жизни. Один мой приятель, например, надевает пять пар перчаток в различные часы и уверяет, что порядочный человек не может делать иначе. Настоящий лев, видишь ли ты, дает тон целому обществу. Он покровитель артистов и в особенности артисток. Он решает, что по моде и что не по моде. Он — магнитная стрелка, указывающая фешёнэбльному миру, куда идти и что

делать. Его суждения никакой парламентский билль не может переиначить. Впрочем, он почти всегда путешествует и ничем особенно не занимается и ни к чему не имеет склонности, а так, равнодушно смотрит на свет из своей коляски. В молодости своей он убил двух или трех мужей, обольстил дюжину добродетельных женщин и любил читать Байрона. Потом он и это бросил и занимается бездействием — вот лев так лев! — прибавил с глубоким вздохом мой приятель, как будто скорбя о своей непорочности.

— Успокойся, любезный друг, — сказал я, — то лвы заморские, им и слава заморская, а ты лев петербургский, тебе и наше нижайшее почтение. Будь доволен своей судьбой: и она имеет свои прелести. Да расскажи-ка мне, зачем ты хочешь, чтоб я ехал в маскарад?

Тут приятель мой принял таинственный вид, поправил волосы и значительно улыбнулся. Нетрудно было перевести его молчание. — «Еще победа; она не сурова к тебе!» — воскликнул я речитативом из «Роберта».

— Вот ты уж бог знает что подумал! — весело отвечал мой приятель, весьма довольный, что я так скоро понял мысль, которую он боялся от меня скрыть.

— Перестань скромничать! — сказал я с невольным уважением. — Счастливым смертным! Скажи мне, она замужем?

— Разумеется, брат, замужем. Кто же влюбляется в незамужних женщин?

— Разумеется, — повторил я машинально.

— Вообрази себе, братец, белокурые волосы, то есть, как бы сказать... не совсем белокурые, а немного темноватые. Ты понимаешь, что я не могу ее назвать, а ты ее знаешь... Хороша как ангел, умна как бес. Муж у нее человек незавидный, зато настоящий барин: славно ест и дает чудесные вечера. Впрочем, он шутить не любит и ревнив, как сто тысяч турков вместе, да еще с султаном в придачу. Больше я ничего не могу тебе сказать, и прошу тебя, не спрашивай у меня, кто она.

Просьба моего приятеля была совершенно лишняя. С первого слова я разгадал его мнимую тайну.

— И ты счастлив, — сказал я, вздохнув, потому что в благополучии нашего лучшего друга есть все-таки что-то нестерпимо-досадное.

— Счастлив, счастлив, — сказал, улыбнувшись, лев. — Скоро ты шагаешь! Мы живем, брат, на севере: любовь у нас не несется как вихрь, тащится на долгих или марширует тихим шагом. Впрочем, вот тебе моя история.

Вчерашний день дама, которую я не хочу назвать, давала утро.

— Как, давала утро?— спросил я.

Лев посмотрел на меня с презрением.

— Ты не знаешь, что такое давать утро?

— Нет, братец, не знаю.

— Ты знаешь, что значит давать вечер?

— Знаю.

— Ну, так теперь дают вечера по утрам. Оно дешевле. Гости собираются до обеда и разъезжаются, когда хозяева идут к столу.

— Помилуй, братец,— сказал я,— поутру есть занятия, есть обязанности, должность... ну, хоть гулянье. Мне кажется, что только вечером общество может быть приятно, после дневных трудов.

— Во-первых,— отвечал лев,— поутру нет занятий, а дневные твои труды — звонкие слова, заимствованные из русского романа или из чиновнического репертуара; во-вторых, эта мода из-за границы.

— Давно бы сказал! Ну, да к делу. Вчера известная дама давала утро, и там много было гостей?

— Никого,— отвечал лев.

— Как никого? так зачем же давать утро?

— Это так принято. Один день в неделе она дома, от трех до пяти, то есть принимает своих знакомых. Если знакомым некогда, она поневоле просидит одна. Впрочем, это довольно редко, потому что на этих собраниях бывает почти всегда до трех и четырех человек.

— К делу, братец.

— Надобно тебе сказать, что я у этой дамы, которую не хочу тебе назвать, никогда не бывал и вообще очень мало ее знаю. Она пригласила меня на свое утро, и вчерашний день я почел долгом к ней явиться. Вхожу. В комнате никого нет. Она лежит на креслах и очень ласково мне улыбается... Ты меня знаешь: удобного случая я никогда не пропущу. Ей досадно, что на ее утре никого нет, следовательно, я могу рассчитывать на благодарность. Я и начал врать.

— Как врать?— спросил я.

— Да, это у нас обычай. Прежде, в глупые рыцарские времена, любовники вздыхали и плакали у окон своих красавиц, подвергая себя простудам и кинжалам ревнивых соперников. Мы делаем совсем иначе: смеемся, заставляем смеяться, говорим о любви с шутками, делаем признания с хохотом; и если те, которых мы любим,

находят, что мы очень забавны, и смеются при одном взгляде на нас, то мы уже вполовину счастливы. Разумеется, строгая благопристойность не всегда соблюдается в наших шутках; да беда небольшая; зато, что для других часто бывает огорчением, для нас — удовольствие, а последствия одни и те же.

— Что ж начал ты врать?

— Я выдумал целую историю: что я влюблен в нее уж десять лет и томлюсь и сгораю; а сказать правду, я никогда о ней не думал. Я требовал ответа, признания; говорил, что я застрелюсь, сойду с ума, брошусь в Неву. Она смеялась, и, право, я не знаю, чем бы все это кончилось, если б не вошел какой-то господин. Я взял шляпу и отправился, требуя непременно свидания нынче вечером, в маскараде. Вообрази себе, — прибавил небрежно лев, вынимая записку из кучки раздушенных бумажек, — вот что нынче утром я получил.

Он мне подал розовое письмо, которое я сперва понюхал, а потом начал читать:

«Вы вчера были очень забавны. Я должна бы на вас сердиться, но вы так меня рассмешили, что я прощаю вам все ваши преступления с примерным великодушием. Приезжайте в маскарад. Будьте любезны; иначе объявляю вам полное мщение и непримиримую ненависть.

У меня будут красные цветы под капюшоном. Впрочем, я постараюсь вас помучить, потому что вы ужасный злодей».

Я невольно вздохнул.

«Эти светские люди, — подумал я, — из всего делают игрушку и играют в любовь, как многие наши литераторы играют в литературу, без убеждений и призвания».

— Впрочем, — продолжал лев, оглядываясь кругом и наклонясь ко мне на ухо, — дело ведь в чем: ты понимаешь, что я не могу упустить подобного случая; но с другой стороны, я должен быть осторожен. Муж — человек известный по своей вспыльчивости; он имел уже много историй; чего доброго?.. Я, разумеется, его не боюсь; но ты понимаешь, что ссора для женщины — дело чрезвычайно неприятное, и вообще... ты понимаешь...

— Да, понимаю, — отвечал я простодушно, — очень понимаю.

— Ну... ну... так вот что: поедем вместе в маскарад.

— Со мной?

— С тобой. Ты будешь присматривать за мужем и

за нами, потому что неизвестно, что может случиться. А в маскарадах обыкновенно мужья держат ухо востро.

— Позволь тебе заметить, что роль, которую ты ставляешь меня играть, не совсем лестна, и что ходить на чужой счет в маскарад не очень занимательно, тем более, что и на собственный счет ночные гулянья чрезвычайно утомительны.

— Не обижайся,— прервал лев,— я тебя прошу как старого приятеля, тем более, что нынешний вечер, как я думаю, не совершенно безопасен...

— Ну, быть так! Одним разом больше побывать в маскараде ничего не значит. Только кто ж она?

Тут лев нагнулся ко мне ближе и шепнул на ухо имя, которое я помнил и долго буду помнить, потому что и в моих воспоминаниях оно занимало небольшой уголок.

— О львиная скромность!— воскликнул я,— о веселый рыцарь нашего века, герой нашего времени!.. Заезжай за мной вечером. В двенадцать часов я тебя ожидаю.

— Прощай.

— Прощай и спасибо.

— Прощай.

Я надел шубу и пошел домой.

II

Расскажу вам теперь анекдот веселый, порождение забавное святочной ночи, один из тех тысячи случаев, которые пестрят маскарадную жизнь. В Петербурге весело и шумно. К нам явился наш хозяин, старичок-зима, явился простодушно, потирая ладони, кланяясь на обе стороны, с своей вечно юной улыбкой на насмешливых устах, с своей удалой поступью под льдистой одеждой. И вслед за жданным хозяином, по сторонам и кругом прилетели и примчались толпы резвых, воздушных, безыменных полуамуров и полуженщин, в радужных тканях, с гремушками в руках. Милости просим, залетные птички, милости просим, любезные сальфы моды и бала! Загляните-ка к нам; не бойтесь нашего севера: есть где вам укрыться и полетать. У нас залы большие, музыка громкая, свет ослепительный, а красавицы наши... О, сальфы, сальфы! какие у нас красавицы! сами увидите и вздохнете впервые, и тяжело вздохнете, потому что вам жалко станет, что и вы не простые люди, как те грешные, которые ездят на бал.

В нынешнем году наш старичок хозяин распорядился в особенности отлично. Для затворников он затопил камин, засветил лампу, протянул кресла, подал сигару, чашку чаю и добрую книгу. Другим, которые живут вдвоем, он поклонился вежливо и, зная, что он лишний, тихо притворил за ними дверь. Но тем, которые без цели и желания живут, как лев мой, в желтых перчатках, но для светских людей, которые, за недостатком счастья, ищут удовольствия, он был в нынешнем году особенно благосклонен. Он вызвал веселую Луизу Майер посмеяться с партером; он пригласил своих вельможных послушников поглядеть на Тальони и послушать Пасту; он послал Лядова оживлять шумные балы, а в заключение рассыпал тысячи масок по ночным маскарадам, зная, старый проказник, что маскарад одно из тех невинных увеселений, где наиболее прокрадывается грех.

Ровно в половине первого вошел ко мне лев. Он одет был прекрасно. Темный коричневый фрак с таким же бархатным воротником придавал довольно неуклюжему телу какую-то особенную щеголеватость. Шею обвязывал длинный черный шарф с пестрыми узорами, небрежно приколотый двумя булавками с висячими камешками от Стора и Мортимера. Жилет темный, вышитый шелком и с гранатовыми пуговицами. На жилетке цепочка, перехваченная жемчугом. Сапоги как зеркало. Шляпа как сапоги. Наконец, завитые виски и желтые перчатки довершали его очаровательность.

— Пора! — сказал он.

— Пора.

— Едем.

— Едем.

Мы отправились.

Приятель мой недолго оставался один: прекрасное черное домино, с красными цветочками под капюшоном, поспешно к нему подошло и, взяв его за руку, повлекло за собою в толпу масок и мужчин, толкавшихся в жаркой тесноте. Масок было множество, и все, казалось, пользуясь концом зимы, шумели и пищали более обыкновенного. Одна из них, родом француженка, звания неизвестного, соблаговолила и мне подать свою руку.

— Послушай, Серафина, — сказал я, — видишь ты этого господина в черном парике и с сердитыми бровями? он чрезвычайно богат и очень щедр, хотя по наружности немного и суров. Это ничего; надо только расшевелить его, не отставать от него ни на шаг. Уверь его

сперва, что ты знатная дама, а потом скажи, что ты устала и очень проголодалась, и требуй непременно, чтобы он тебя попотчевал ужином. Это тебе будет немудрено.

Серафина миготом отправилась за новою победою и обещанным ужином. Напрасно сердитый господин отнекивался от ее страстных признаний и влачил ее с ожесточенной физиономией по всем залам: она, как ревнивая жена, не отставала от него ни на шаг и, вцепившись в его руку, душила его неотвязчивою нежностью.

Удалив таким образом ревнивого наблюдателя любовных предприятий моего приятеля-льва, я отошел к стенке, присел на лавку и довольно равнодушно начал осматривать проходящие мимо меня пары и делал о них различные заключения.

Прошло несколько времени; занятие нравоиспытателя начало уже мне надоедать. Вдруг громкое восклицание раздалось над моей головой:

— Владимир Александрович!

— Марфа Матвеевна!— отвечал я, узнав знакомый голос.— Давно ли вы из Симбирска?

Передо мною стояла толстая барыня в черном домино, взятом на прокат и плотно натянутом на дюжей талии; на голове ее посреди лба сиял большой бриллиантовый фермуар. Марфа Матвеевна отнюдь не помышляла о маскарадных замысловатостях и, как видно было, весьма страдала от жары в узком капоте и под восковою маскою.

— Есть у вас мелочь?— спросила она задыхающимся голосом.

Я вынул из жилета несколько мелких денег и почтительно их подал.

— Пойдем, батюшка, лимонаду выпить. Духота нестерпимая!..

Выпив два стакана лимонаду, Марфа Матвеевна успокоилась, и мы продолжали разговор.

— Давно ли вы здесь и по какому случаю?— спросил я.

— Уф, батюшка!.. Подожди-ка, сударь ты мой, все тебе расскажу. Ведь ты, кажется, третьего года был в Симбирске?

— Четвертого года, Марфа Матвеевна.

— Да, бишь, четвертого года. Мы, кажется, жили тогда на Московской улице, или на Венце... на Венце, кажется, или на Московской.

— На Венце,— сказал я,— близ губернского правления.

— Точно, батюшка, помню, помню... Покойник мой

Евтропий Савич еще был жив..— прибавила Марфа Матвеевна, вздохнув и перекрестившись, совершенно забыв, что она в маске.— Покойник мой — царствие ему небесное — уж надо правду сказать, куда был скуп: над копейкой, бывало, трясется, а о прихотях и не спрашивай. В третьем году он, отец мой и благодетель, родимый мой,— продолжала маска, легонько всхлипывая,— простудился на гумённике... и через три дня, мой кормилец, приказал долго жить.

— Жаль!— сказал я с приличным видом,— жаль Евтропия Савича: хороший был хозяин.

— Да, батюшка, что до этого касается, то уж надо правду сказать: мастер был своего дела, уж не ошибется. У соседей смотришь, ни яровинки, ни ржи — ничего нет; а у нас каждый год молотить не успевают.

— Да ведь вы очень богаты?— сказал я, невольно заметив, что фермуар на голове Марфы Матвеевны был осыпан крупными брильянтами.

— Да-с, слава богу, не могу жаловаться. И в нынешнем году счастье такое. Вообразите, два наследства: дядя и брат моего мужа скончались. Вы знавали Карпа Савича?

— Слышал-с; он был холостой человек, кажется.

— Холостой, батюшка. Добрый был человек; только надобно признаться,— продолжала Марфа Матвеевна, нагнувшись к моему уху и говоря шепотом,— только знаете... немножко... был...

— А!— заметил я,— право?.. Да по какому случаю вы к нам пожаловали в Петербург?

— Да что, батюшка, прикажете делать? Девка на возрасте, замуж выдавать надо. У нас, в губернии, женихи, ты сам знаешь, какие. А у Вареньки, шутка сказать, тысячи три душ наберется, да еще деньжонки кое-какие есть. Дочь она у меня единственная; одно воспитание стоило слишком полтораста тысяч рублей на ассигнации. Надо правду сказать, ничего не пожалела; и мадам у меня жила, и две мамзели, и учитель немец.

— Как?— воскликнул я,— эта девочка, которую я в то время видел... она была такая маленькая...

— Выросла, батюшка! Посмотри-ка теперь, что за красавица, что за умница, какая воспитанная! как говорит по-французски! как играет на фортепьяно! и за мной, безграмотной старухой, ухаживает и не брезгает, что мать воспитана не по-модному, а так, попросту, батюшка, по-старинному, на медные деньги.

— И вы давно здесь?

— Недели с три. Хотела было, чтоб Варенька моя повеселилась немного в вашем Петербурге, да и стала в тупик. К знати вашей ездить не хочу, чтоб не насмешить людей и чтоб дочь моя не стыдилась старухи матери. С другими компаниями я также незнакома; рекомендоваться сама не люблю. Впрочем, за женихами дело не станет, как узнают, что у Вареньки три тысячи душ.

— И скоро узнают!— сказал я,— от вас будет зависеть дочь вашу выдать хоть завтра за любого нашего князя или графа...

— Женишек-то один уж, правду сказать, нашелся. Хороший малый, кажется, только вертляв немного. Вы его должны знать: он тоже из Симбирска.

— А кто он?— спросил я.

— Вот он!— отвечала Марфа Матвеевна, указывая на молодого человека, разгваривавшего с какой-то маской.

— Мой лев!— закричал я.

— Нет, он, кажется, Алексей,— заметила Марфа Матвеевна.

— Все равно, все равно! Скажите, пожалуйста, ваша дочь здесь?

— Разумеется! Что ты думаешь, я с ума сошла, что ли, что одна пойду на вечер? Говорят, надо, дескать, побывать в маскараде: там все генералы ходят в шляпах. Надо посмотреть, что это такое — нечего делать, отправилась к маршанд-де-мод, заказала капуцинку для дочери по последней моде, точь-в-точь как одна известная щеголиха, а себе напрокат взяла. Не щеголять же на старости... Узка, проклятая, только!

— А позвольте: дочь ваша правда тихого, боязливого нрава?

— Сущий ангел, мой батюшка, водой не помутить; такая стыдливая и нежная, что от всякого слова краснеет. Я вскочил с своего места и опрометью бросился бежать.

— Куда ты, батюшка?..

А уж я был далеко и ускоренным шагом стремился к моему другу-льву.

Маска, с которой он шел, поспешно отдернула от него руку и быстро скрылась. Лев остался передо мной.

— Посмотри на меня.

— Смотрю.

— У тебя ничего нет на совести?

— Ничего.

— А Марфа Матвеевна?

Лев вспыхнул.

— А дочь Марфы Матвеевны?

— Ты ее знаешь?— спросил Лев.

— Я друг дома,— отвечал я со всевозможною важно-стью.

— Не правда ли, как она хороша! какие темные волосы... то есть немножко белокурые, и какая талия, и какое воспитание... какое имение!— продолжал он шепотом.

— Так берегись же,— сказал я,— она здесь.

Лев пошатнулся от удивления.

— Берегись своих маскарадных откровенностей. Она, как я думаю, дитя неиспорченное, а здешние речи ее могут так напугать, что ты все дела свои можешь перепортить.

— О! будь покоен: я с графиней совершенно поссорился. Бог ее знает, что с ней нынче! Видно, смятение в роковую минуту, или страх мужа, но она ничего не могла мне отвечать и с каким-то страхом от меня убежала.

— Да не ошибся ли ты?

— И, братец, за кого ты меня принимаешь? Та же талия, те же белокурые волосы, то есть немного темноватые. Впрочем, страх ее в подобную минуту весьма естествен.

— И ты был предприимчив...

— Как чудовище! Вообрази, я вхожу в залу — она меня уже ожидает. «Это вы?» — говорит она, — слышишь ли? «это вы», тогда как под маской ей надо было сказать: «это ты, где ты был, неверный, куда бежишь, злодей, откуда, изверг?» или что-нибудь подобное; совсем нет, «это вы!» — «Ага!» — подумал я, — она в смущении — хороший знак», и я начал, и начал, и начал... Говорю, что супружеская верность — вздор, что молва светская — глупость, что надо жить для наслаждения, что женщина может принадлежать кому хочет, а не кому прикажут...

— О львиное сердце! — воскликнул я.

— И откуда она узнала? вдруг у меня спрашивает: «А я слышала, что вы хотите жениться». — «Вот глупость! за кого вы меня принимаете?» — «Ваша невеста недавно приехала». — «Помилуйте! вы верно слышали о старой прачке, которая за мной бегаёт для своей дочери...» Понимаешь, как это тонко? Она богата, да что в том? «Я всем жертвую для любви моей, для вас...

для тебя...» Графиня в большом смущении, — окончил лев с довольным видом.

— Послушай, братец, — сказал я, — ты, кажется, за двумя зайцами погнался.

— Ну что ж? обоих можно поймать.

— Да; можно тоже и спотыкнуться и упасть носом в болото.

Лев поправил свой галстук и посмотрел на меня с видом сожаления и покровительства. В эту минуту щегольская маска в черном домино, с красными цветочками под капюшоном, подошла к нему и слегка присела.

— Не можешь ли ты походить со мной? Я недавно приехала и никого здесь, кроме тебя, не знаю.

— Очень рад, — отвечал лев, почтительно подавая руку маске и бросив на меня косвенный взгляд и злодейскую улыбку.

Я опять остался один и, по обычаю своему, начал делать наблюдения, а потом задремал по случаю поздней ночи. Кругом все вертелось и пицало, все кипело жизнью и бесновалось от шумной суматохи, а в душу мою чувство одиночества невольно вкрадывалось незванным гостем. Обыкновенно озабоченная толпа и светский шум наводят на грусть и мысль о уединении, и, не знаю почему, утраченная тень моей молодости нежданно промелькнула передо мною в печальном тумане. Сколько хорошего чувства, сколько свежих побуждений, сколько радостей и горя для пустого вздора, для суетных безделок! сколько сердечных, святых впечатлений для нарядных кукол! сколько утраченной поэзии, боже мой, для газового платья и лайковых перчаток!

«И ты, — подумал я, — и ты, принимающая так бестолково бестолковую любовь моего петербургского льва, ты тоже некогда значила в моей жизни, и я пламенел также пред тобою, и до того мечтал о тебе, что нынче совестно о том и подумать. Я воображал, что ты больше, выше женщины, а ты даже и не женщина, а просто бабочка: порхаешь беззаботно, забыв о вчерашнем, не думая о завтрашнем. Чтоб крылья твои сверкали, чтоб талия твоя сжималась до невозможности — и ты летишь, и вертишься, несешься, сама не зная куда, и задевая на лету крылышками бедных людей, которые думают, что ты женщина, тогда как ты не что иное, как бабочка!»

Я много еще надумал бы подобного вздора, но мои размышления вдруг были прерваны цистероновским

красноречием моего приятеля, который возвращался в мою сторону с прежней маской и горячо о чем-то проповедовал.

Напрасно, — говорил он, — вы думаете, что я люблю светских женщин. Они сами от себя отталкивают.

— Отчего же? — спросила маска.

— Оттого, что их разговоры нестерпимы; оттого, что они в принужденной своей добродетели утешаются наружностью и выражениями порока. Вообще, петербургское общество не имеет никакой самостоятельности; все в нем дело моды и подражания. Вот вам пример. Несколько женщин умных и прекрасных вздумали как-то пошалить не совершенно приличными словами, но все-таки прикрытыми очарованием ума и красоты. Кажалось, посмеяться и кончить; совсем нет. Большая часть наших дам, которые живут для подражательности в чем бы ни было: в прическе, в вальсе, в разговорах, тотчас же пустились, наперерыв одна перед другой, говорить вслух странности и всенародно, без зазрения совести, так что иногда в наших гостиных раздаются изречения толкучего рынка — и путешественник удивляется невольно принятому в Европе заблуждению, что наши женщины так отлично воспитаны. Это нововведение, нигде не существующее. Стыдливость и скромность будут всегда лучшим украшением прекрасного пола... Не хотите ли сесть?

— Сядемте.

Они уселись, а я с ними сел на диван рядом и, глядя на потолок, начал вслушиваться в продолжение красноречивой речи.

— Любить наших дам истинно невозможно. Притворяться — другое дело. Я скажу про себя. Быть может, я и прикидываюсь иногда влюбленным, но это шутка, не более. Зачем давать настоящие деньги за фальшивую монету? Любовь в большом свете — просто комедия.

— Право? — сказала маска.

— Да, — продолжал лев нежным голосом, — я не понимаю любви в столице. В подобной любви есть всегда что-то суетное и порочное. Я понимаю любовь лишь в деревне, вдали от светских сплетней и насмешек, под чистым небом, потому что любовь — небо души... Я люблю природу, хотя и светский человек; я люблю ручейки, люблю зеленую траву и овечек с пастухом, и пастуха с свирелью... Вы ведь тоже любите деревню?

— Терпеть не могу! — отвечала маска.

Лев остановился в полном удивлении. Эклога его пропала даром. Однако он оправился.

— Может быть, вы провели в деревне грустные минуты, и воспоминания о них для вас тягостны. Но если б вы, например, жили в деревне с человеком, который любил бы вас пламенно, с вашим мужем, например...

Я заметил, что при слове «муж» маска едва могла удержаться от громкого смеха.

— Поверьте, источники истинных наслаждений должны быть непорочны и чисты. Любовь, не освященная супружеством, чем бы она ни извинялась, всегда будет преступна, и голос совести всегда восторжествует. Теперь хоть и говорит романтическая школа, что брак — одно только пустое условие, но это коварный обман; не верьте ему. Люди, которые излагают светским женщинам подобные правила, обнаруживают не любовь свою, а холодное презрение.

Маска вскочила с своего места и, подозревая какого-то праздношатающегося адъютанта, сказала ему, показав на моего приятеля:

— Он до того нынче глуп, что с ним сидеть невозможно. Пойдемте-ка вместе. Авось вы будете немножко поумнее.

Услужливый адъютант поспешно согнул дугою руку, и тотчас оба скрылись за дверь.

Я остался один против льва, который, узнав наконец свою ошибку, вытаращил глаза до невероятия. Насилу мог я удержаться от смеха. Минуты с две мы молчали.

— Итак, мы в болоте? — сказал я наконец.

Лев улыбнулся и поправил галстук.

— Каково, — сказал он, — я от нее отделался? Ты, верно, думаешь, что я ее не узнал, а я поступил тут дьявольски. Ты ведь знаешь петербургские сплетни: о связи моей непременно бы начали говорить, и свадьба моя могла бы расстроиться. К тому же, надо же было бы когда-нибудь поссориться. Немного прежде, немного после — не все ли равно?

Только кто ж была первая маска? Он не успел окончить: у дверей показалась Марфа Матвеевна, а за нею, как пришитая к ее домино, смиренно выступала другая маска, в капюшоне с красными цветочками, которая, как можно было судить по движению ее плеч, навзрыд плакала. Марфа Матвеевна прямо к нам подвигалась поступью трагической актрисы и вдруг, величаво приостановившись, грозно обратилась к моему приятелю:

— Пожалуйте-ка, батюшка, сюда на пару слов. Это французская мода, что ли, обижать хороших дворянок и говорить мерзости молодой девушке, да еще без матери?

— Я не понимаю, — сказал лев.

— Не понимаешь? Так я тебе растолкую, коли не понимаешь. Ты, батюшка мой, неуч, молокосос. Говори, пожалуй, что это по моде: мы, батюшка, люди не модные, и дай бог век ваших мод не знать. Да еще притворился бог знает каким смиренным! а тут, да еще без матери, начал говорить такие страхи, что у честного человека волосы дыбом станоятся.

— Да это была шутка.

— Шутка? прошу шутить с кем хочешь, с своею братьею, а не с нами. Моя дочь дворянка, не так воспитана, да и она дура, что слушала твои рассказы. Испугалась на чем свет стоит, и пришла ко мне еле жива, а тебя и пристыдить не сумела. Была бы я на ее месте, уж отбоярила бы тебя, голубчика, порядком... Смотри только, чтобы нога твоя в передней у меня не бывала. А не то... уж не прогневайся: велю дворнику как мошенника тебя спровадить.

С этими словами Марфа Матвеевна повелительно указала дочери на дверь, и обе вышли на лестницу, оставив нас снова вдвоем.

Мы оба повесили немного головы. Лев начал слегка напевать какой-то беллиньевский мотив и взял меня под руку. Мы отправились ходить по залам и по галереям, где ужинали.

За продолговатым столиком сидела Серафима с своею жертвою и усердно кушала из-под маски. Высокий господин в черном парике сердито держал в руке бокал с шампанским и отрывисто отвечал на нежности своей неотвязчивой собеседницы.

— Я обязанность свою исполнил исправно, — сказал я льву, указывая на них. — Теперь покойной ночи...

— Об одном прошу, — отвечал лев, — не говори никому о том, что нынче случилось.

— Рассказать-то я не расскажу, а только...

— Только что ж?

Напечатаю.

АПТЕКАРША

I



ездный город С. — один из печальнейших городков России. По обеим сторонам единственной грязной улицы тянутся, смиренно наклонившись, темно-серо-коричневые домики, едва покрытые полусгнившим тесом, домики, довольно сходные с нищими в лохмотьях, жалобно умоляющими прохожих. Две-три церкви — благородная роскошь русского народа — резко отделяются на темном грунте. Старый деревянный гостиный двор — хранилище гвоздей, муки и сала — грустно глядится в огромную непросяхающую лужу. Из двух-трех низеньких домиков выглядывают пьяные рожи канцелярских тружеников. На лево красуется кабак с заветною елкой, за ним острог с брусяным тыном, а вправо, на полуразвалившемся фронто-не, прибита черная доска с надписью: «Аптека, Apotheke».

В один из тех печальных дней, когда кажется, что небо хмурится на землю, молодой человек сидел у окна одного из этих убогих домиков и сердито курил сигару. На голове его была надета, по привычке набекрень, щегольская шапочка с кисточкой. Халат его, сшитый в виде длинного сюртука с бархатными отворотами, свидетельствовал о щеголеватости его привычек, а частые струи дыма в то же время ясно доказывали свирепость его душевного расположения.

Внизу на улице, у самого подъезда, стояла коляска без лошадей и почти до оси в грязи; около коляски нехотя суетился камердинер, вынимал поклажу и ворчал что-то сквозь зубы с самой ожесточенной физиономией. Кругом собралось несколько мальчиков в немом удив-

лении, а напротив, на полупровалившемся тротуаре, стояла баба с коромыслом на плече и с вытаращенными глазами.

Молодой человек погрузился невольно в самые досадные размышления. «Теперь,— подумал он,— в Павловском вокзале готовится иллюминация. Негтманн играет вальсы, галопады и всякие попури; гусарские песенники поют, дамы ездят верхом; мои товарищи любезничают, а я сижу в этой трущобе; теперь наполнен французский театр, m-me Allan играет; товарищи мои слушают и хлопают, а я сижу в этом захолустье! А в субботу, в субботу бал на водах; там и О., и В., и Б.; товарищи мои будут с ними танцевать, они будут им улыбаться, будут с ними кокетничать, кокет-ни-чать... с ними будут!.. А я сижу в этой темнице, в этой ссылке, в этом заточении!»

Вдруг необычный шум на улице остановил порывы его негодования. Молодой человек высунулся из окна. Под окном камердинер его Яков спорил с каким-то господином в пуховой фуражке и в венгерке с спурками и кисточками, что, как известно, явный признак провинциального франта.

— Я тебя спрашиваю, чья коляска?— говорил франт.

— Я вам сказываю, что господская,— сердито отвечал Яков.

— Да чья господская?

— Ну, говорят вам, господская.

— Да чья же?..

— Ну господская. Всё узнаете, скоро состареетесь.

— Что... что?.. Вот я тебя... Да нет, вот... возьми, братец, гривенник, скажи, голубчик, чья коляска?

— Не надо мне вашего гривенника. Любопытны слишком. Ступайте своей дорогой.

— Коляска моя!— закричал молодой человек из окна.— Что вам угодно?

Франт поспешно поднял голову и начал раскланиваться, стоя в грязи:

— Ах! Извините-с. Шел мимо-с. Вижу-с коляску отличной работы-с. Смеею спросить: что изволили за нее дать-с?

— Три тысячи пятьсот,— отвечал молодой человек.

— Гм! Деньги хорошие. Смеею спросить: с кем имею честь говорить?

— Барон Фиренгейм.

— Ах, помилуйте... Я вашего, должно быть, родст-

венника очень знал-с; вместе в полку были. Позвольте быть знакомым.

И, не ожидая приглашения, франт опрометью бросился к крыльцу, а через мгновение очутился уж в комнате приезжего.

— Позвольте-с спросить: как вам приходится барон Газенкампф, который был у нас ротмистром в полку?

— Моя фамилия не Газенкампф, а Фиренгейм, — отвечал, улыбнувшись, молодой человек.

— Ах! А мне послышалось — Газенкампф. Извините, пожалуйста. Какой у вас хорошенький халат; чаю, теперь этикие халаты носят в Петербурге.

— Не знаю, право. Как кто хочет.

— Очень хороший фасон. Я попрошу у вас для выкройки. По делам службы изволили, вероятно, к нам приехать?

— Да-с.

— Я вам должен доложить: я с здешними господами служащими никакого дела не имею и в глаза почти не знаю. Городничий наш, Афанасий Иванович, — изволите его знать? — добрый человек, только слаб немножко, за купцами ухаживает; впрочем, многого не возьмешь: у нас купечество себе на уме. Сами так исправно воруют, что любо. Вы их еще не изволите знать? Криворожин, Надулин, Ворышев — лихой народ, нечего сказать. Исправник наш добрый человек, да попивает. Судья так себе, зато уж стряпчий молодец, а впрочем, я их знать не знаю. Что это у вас, часики на столе?

— Часы.

— Ах, позвольте взглянуть. Какая прелесть! Что за цепочка! Нам, провинциалам, этиких вещей и во сне не видать.

— У вас, кажется, тоска нестерпимая в вашем городе?

— Да-с, сказать правду. Хуже быть не может. Вот то ли дело в Т. Сто верст всего отсюда. Дворяне живут в городе, и купечество зажиточное, а здесь просто пустыня; впрочем, в двадцатом году здесь было рекрутское присутствие, так тоже весело жили. Даже, говорят, дворянское собрание было в доме, что нынче аптека. Были балы; помещики съезжались. Очень было весело. Жидовская была музыка. До сих пор вспоминают.

— Как, неужели у вас нет ни одного дома, где бы можно было провести вечер?

— Нет-с, с двадцатого года здесь никто из дворян

не живет... Да, бишь, предводитель наезжает иногда.

— Женатый человек?— спросил поспешно барон.

— Нет-с, холостой. Это туалетный прибор у вас на столе?

— Да-с.

— Серебряный или аплике?

— Серебряный.

— Ах, позвольте взглянуть. Как хорошо! Какая работа! Дорого изволили дать?

— Не помню, право.

— Отличная вещица! Я еще такой не видывал. А эти пилочки на что?

— Для ногтей.

— Уж чего теперь не выдумают! Надо сказать правду.

— Да что же вы здесь делаете?— спросил с отчаянием молодой человек.

Господин в венгерке взглянул на него с удивлением.

— Да ничего-с.

— Как же вы здесь живете?

— Да я у помещиков гощу большею частью. Свою деревеньку я продал, так живу себе поневоле иногда в городе, а то в гостях всегда.

— И вы ни с кем здесь не знакомы?

— С служащими я не веду особенного знакомства, а так иногда захожу к Францу Иванычу.

— А кто это Франц Иваныч?

— Франц Иваныч?..

— Да!..

— Наш аптекарь.

— Ученый человек?

— А бог его знает. Человек добрый. Жена у него немочка прехорошенькая, хотя бы в столицу: и там скажут, что недурна.

— Хорошенькая!..

— Очень недурна-с. Только жаль, что по-русски плохо говорит: понимает-то понимает, а уж разговаривать — слуга покорный.

Лицо молодого барона прояснилось. Мысль о хорошенькой женщине так могуча в юные годы! Весь город показался ему не так отвратителен. Изломанные крыши сделались живописными. По грязной улице очертились протоптанные тропинки. Барон вздохнул свободнее. В эту минуту парные дрожки остановились у подъезда.

— Городничий,— сказал с некоторым смущением

франт в венгерке.— Извините, что я вас побеспокоил. Позвольте быть знакомым.

Засим, поклонившись почтительно барону и еще почтительнее входящему городничему, любопытный провинциал вышел на улицу, осмотрел со всех сторон коляску, заглянул под фартук и отправился домой, сопровождаемый глухою бранью камердинера Якова.

Выпроводив городничего, квартировавшего некогда с полком в Белоруссии и почитавшего непреложною обязанностью с того времени перевозить полек, к явной обиде наших православных дам, молодой барон кликнул Якова и начал одеваться.

Полчаса тому назад он бы и не взглянул на подаваемое ему платье, но теперь он назначил и сюртук, и жилет, и галстук и вынул из дорожного ящика большую жемчужину в золотой лапе, которой лапой он заколол пестрый шарф, обвивающий его шею. Одевшись таким образом, он вышел прогуляться, подышать свежим воздухом и неприметно отправился прямехонько к аптеке. Сперва он внимательно осмотрел странную архитектуру дома, где некогда уездное дворянство выплясывало под жидовскую музыку; потом раз пять прочитал надпись: «Аптека, Apotheke», потом обошел раза два дом со всех сторон, потом пошел далее. У него недоставало храбрости войти в аптеку без причины, и в эту минуту он дорого бы заплатил за какой-нибудь незначительный недуг, принудивший его к требованию врачебных пособий.

У светских людей, несмотря на их наружную неустрашимость, часто бывают минуты подобной нерешительности, в которых они, впрочем, душевно раскаиваются и никогда никому не сознаются. Через полчаса молодой барон, как бы влекомый неодолимым магнитом, опять подошел к аптеке, посмотрел в окна, остановился, хотел завернуть на крыльцо и опять прошел далее. Сердце его билось. Наконец ему стало стыдно самого себя. Как возмутившийся трус, он вдруг повернул назад и натолкнулся на нового своего знакомца-франта, который выходил из аптеки.

— А я от Франца Иваныча,— сказал франт,— ходил ему сказывать, что вы приехали. Он говорит, что он в университете был с одним бароном Фиренгеймом, лет шесть назад.

— Это я. Других Фиренгеймов нет.

— Ну, так он вас знает.

— Право?

— Что это у вас, жемчуг в булавке?

— Да.

— Ах! Позвольте взглянуть. Какая работа отличная! Уж чего не придумают! Давай только денег. Где нам, провинциалам, иметь такие вещи! Вас и Шарлотта Карловна знает.

— Право? — воскликнул барон и опрометью бросился на крыльцо, оставив собеседника в порыве грустного размышления и самопознания.

Аптека была устроена с некоторою щеголеватостью. Полки по стенам, бутылки и стеклянки с латинскими надписями, ящики где следует, конторка, весы; одним словом, фармацевтическая декорация была самая приличная и доказывала аккуратность распорядителя. В передней, просто обитой тесом, пожилая баба толкла что-то в ступе, а у самых дверей стояло двое мальчишек, присланных один за бузиной на десять копеек, а другой за ревенем на гривенник.

У конторки сидел аптекарь, небольшой человек с кудрявою рыжею головкою и с самой добродушной физиономией; усердно записывал он расход своим травам и скудный приход выручаемых копеек с такою же отчетливостью, как будто дело шло о миллионах. Подняв нечаянно голову, он вдруг увидел стоящего перед ним stolичного щеголя, который, укротив мгновенный пыл своей решительности, стоял в недоумении, не зная, чем начать разговор.

— Что вам угодно? — спросил аптекарь.

Щеголь еще более смешался. Нельзя же было ему сказать, зачем он действительно пришел.

— Я... — отвечал он, — хотел бы содовых порошков.

— У нас, — отвечал аптекарь, — соды не требуют, а оттого мы ее и не держим. Здесь не столица, — прибавил он, улыбнувшись, — требуют только дешевенького.

— Мы, кажется, были вместе в университете, — сказал, приободрившись, барон.

— Да-с... Только мы знакомы не были, а я вас очень помню: вы были ландсманом, а я был буршеншафтером. К тому же факультеты у нас были различные.

— Точно.

— Я вас на фехтбоденах¹ видел. Только вы так переменились, что я никак бы вас не узнал. Прежде вы ходили совершенным буршем, а теперь вы такой щеголь...

¹ залы фехтования. (Примеч. автора.)

— Живу в другом мире, поневоле переменишься.

— А знаете ли, господин барон, вы никак не ожидаете встретить здесь старую знакомую?

— Как?..

— Вот сейчас увидите. Эй! Шарлотта Карловна, Шарлотта Карловна! Будь так добра и поди сюда.

— Я совсем по-утреннему одета, — отвечал женский голос.

Сердце барона забилося.

— Полно, Шарлотта Карловна, церемониться, здесь знакомый.

Барон невольно уставил глаза в двери. В соседней комнатке послышались шаги, легкий шорох поспешного туалета, наконец шаги стали приближаться, дверь распахнулась, и у дверей показалась аптекарша...

— Как, вы здесь? — воскликнул барон.

— Да, — сказала аптекарша, покраснев и вздохнув невольно. — Это я. Давно мы с вами не видались, господин барон.

II

Перенесемся теперь в другой городок, в другую землю, к другому времени, за несколько лет перед началом моего рассказа.

Городок, в который я вас хочу перенести, читатель мой благосклонный, совсем не похож на тот, которым я так грустно начал повесть свою об аптекарше. В этом городке все дышит какой-то умственной деятельностью и душевным молодым разгулом. По улицам толпятся молодые люди в коротких плащах и дружно толкуют между собою. Другие, с тетрадями и книгами под мышками, спешат на голос благовествующей науки, тогда как за белыми занавесками хорошенькие личики, с ярким румянцем на щеках, украдкой на них поглядывают.

Университетские годы! Годы молодости, годы невозвратимого братства, когда в каждом товарище видишь друга, в каждой науке видишь достигаемую цель, в каждой женщине — высокое олицетворение мечтаемого идеала! Скоро проходите вы, годы неумолимые; но душа долго на вас оглядывается, долго вами любитесь и хранит вас вечно, как драгоценное свое сокровище, сокровище теплых вдохновений и чистых, высоких помыслов.

Недалеко от деревянного моста, в кривой узенькой улице существует, вероятно, и поныне низенький дере-

вянный домик с большим двором и небольшим надворным строением. В домике немного комнат, и те убраны без роскоши, даже скудно; но в них обитает спокойствие, которого нельзя приманить ни лионскими обоями, ни парчовыми занавесками. Из передней вы входите в гостиную, устроенную по заветному преданию. У главной стены, в математической середине, стоит диван, обитый черной волосяной материей и с выгнутой спинкой красного дерева; перед диваном овальный стол, покрытый клеенкой, на котором стоят два подсвечника и щипцы; по бокам дивана по три кресла, обтянутые также плетеным волосом; между окнами два ломберных стола; к боковой стене приставлено фортепьяно; с другой стороны несколько стульев; над диваном два литографированные портрета знаменитых германских ученых да с обеих сторон дверей по одной медной лампе, прибитой к стене; пол дощатый, не крашенный, но чисто вымытый; стены просто выбелены — это гостиная. Подите дальше: с пола до потолка со всех четырех сторон поделаны полки простого дерева; на полках громоздятся книги всех видов и переплетов; огромные фолианты, как фундаменты науки, лежат в самом низу; прочие книги укладываются над ними плотной стеной; посреди комнаты письменный стол, заваленный бумагами и книгами, — это кабинет ученого, кабинет немецкого профессора, что обнаруживается педантическим кокетством учености, отличающим главную комнату дома. За этим кабинетом каморка, где отдыхает профессор после дневных трудов своих, а далее небольшая комната его дочери, пятнадцатилетней девочки, только что расцветающей свежую красотой на радость отцу и обожание студентам.

В надворном строении, против окон молодой девушки, поделаны расчетливым хозяйством небольшие комнаты, нанимаемые студентами по семестрам за сходную цену. В сравнении с этими комнатами скромное жилище профессора — чудо роскоши!

Если вы были студентом, мой читатель, то вспомните мебель вашей студенческой квартиры — и нехотя вы улыбнетесь и вместе вздохнете, потому что вы готовы отдать всю лавку Гамбса за тот изорванный диван, за те изломанные стулья, на которых вы были молоды, полны надежд и огня, полны любви и восторга. Что за жизнь в студенческой комнате! Сколько значения! Сколько прекрасного и смешного! Сколько разгульного

и глубокого вместе! Тут череп и человеческие кости, там пестрые шапки, огромные трубки, рапиры, карикатуры на стене; с другой стороны громады тетрадей и книг; далее — бутылки и стаканы, карты, дубины, плащи, вас-серштифели и большой белый пудель, который, важно выставив морду, глядит на все спокойными глазами хозайского друга.

В первом семестре 18** года на студентской квартире поселился только что приехавший Maulesel¹, курляндский юноша, барон Фиренгейм. Вскоре, по странной академической терминологии, лошак превратился в лисицу, то есть из недорослей вступил в звание студента первого семестра и получил право гражданства в этом фантастическом мире, где так много высокого и так много комического, что оба начала срослись вместе и стали нераздельны. Оглядевшись со всех сторон, напившись пьян на приемном торжестве, надев пеструю фуражку, заплатив за коллегии, испытал силу руки своей в махании рапиры, молодой барон рассудил, что, чтоб быть полным студентом, ему оставалось еще одно — влюбиться. Барон был то, что в полках и учебных заведениях называют добрым малым: не отставал ни от кого, с пьяными готов был пить, с рубаками рубиться, с картежниками играть, с трудолюбивыми углубляться в науку, с лентяями ничего не делать. От этой сговорчивости терялась, может быть, самостоятельность его характера и уменьшалась к нему степень уважения товарищей, всегда привлекаемых положительным и резко выраженным нравом; но зато недостаток этот искупался поэтической теплотой сердца, любовью ко всему прекрасному, умом пронизательным, которому при напряжении мало оставалось недоступного; одним словом, природа его была благородная, часто возвышенная, но всегда нравственно аристократическая.

Для дополнения своего студенческого бытия молодому барону, казалось бы, идти недалеко: против его окон, с другой стороны двора, белелись две чистенькие занавески, а за ними выглядывало розовое личико пятнадцатилетней девочки, с большими темно-синими глазами, с длинными шелковистыми ресницами, с детской задумчивой головкой. Молодой человек мог следить за всеми ее движениями. Утром мог он видеть, как, надев черный передник и коленкорovou шляпку, она уклады-

¹ Лошак (нем.).

вала свои книжки в мешок и отправлялась в школу, стыдливо потупляя глаза от нескромных взоров любопытных студентов. Потом приходила она домой и помогала толстой кухарке в хозяйских распоряжениях. Мать ее уж несколько лет как скончалась, оставив ее ребенком, а отец ее, профессор, старик, погруженный в книги и ученость, во всем на нее полагался. После скромного обеда она садилась за фортепьяно, играла кое-как старинные сонаты и, если сказать правду, пела довольно плохо немецкие романсы из собрания, известного под названием «Аглон». Потом она иногда прогуливалась с отцом. Вечером старик закуривал сигару и забавлялся чтением ученых журналов, а она уходила в свою комнату; свечка зажигалась за белыми занавесками, и она уединялась в свое смиренное святилище. Тогда она занималась завтрашним уроком, письмом к приятельнице, узором для вышивания или читала любимого поэта. Случалось, что перо ее останавливалось, книга выпадала из рук, головка ее, осененная густыми локонами, невольно упиралась на ручку и она задумывалась о чем-то неразгаданном, как будто одолеваемая мучительным, но в то же время сладким предчувствием. Тогда она долго сидела в бездействии: ей было то неясно весело, то неизъяснимо грустно, то улыбка без причины оживляла ее детское личико, то нежданная слеза наворачивалась на ее глазах. Она тихо вставала. Стройная тень рисовалась на занавесках. Свечка гасла. В доме профессора водворялась тишина.

Наступала ночь.

Зачем же было идти далее молодому студенту? Неужели хорошенькое личико, пятнадцать лет, скромная поступь, влажный взгляд, неужели поэтический призрачный ореол около германской девушки, не были достаточны, чтоб остановить его внимание, приковать его сердце?

Увы! Студент мой родился бароном, бароном немецким, с гербом в три аршина, прибитым на колоннах старой соборной кирки, во славу его баронского достоинства. Студент мой рожден богатым наследником, что, замечу мимоходом, между немецкими баронами почти неслыханное чудо, совершившееся в его пользу, к великому удивлению и зависти всех соплеменников его.

Эти два обстоятельства, сопряженные с его природным аристократическим свойством, развили в нем ка-

кое-то неодолимое, жеманное чувство, гнушающееся всякого жестокого столкновения с существенными подробностями небогатого житейского быта. Бедный молодой человек, на идеальный предмет своих мечтаний, на нежного спутника, парящего на невидимых крыльях в тумане юношеского воображения, он надевал свою баронскую корону, облакал его в модные ткани, подкладывал ему под ноги английские ковры и влагал ему в уста, безрассудный, вместе с выражениями страсти бессмысленные речи светского пустословия.

С такой несчастной склонностью мудрено ли, что он глядел на свою соседку если не совсем равнодушно, то без всякого душевного восторга. Коленкоровая шляпка казалась ему чересчур противною всякому модному приличию, а камлотовый мешок с книгами разверзлся в его мнении могилой для поэзии. К тому же он видел, как молодая девушка сама по утрам принимала провизию на кухню, взвешивала рыбу, осматривала овощи, а потом долго торговалась и платила медными деньгами; кроме того, он заметил, что на ней по будням было ситцевое платье всегда одно и то же и что по воскресеньям она надевала платье белое перкалевое; и хотя она была хороша в нем, как ангел, хотя все любовались ею, от мала до велика, от супер-интендента до последнего гимназиста, но молодой барон один припоминал с досадою, что она это платье сама шила, сама гладила и берегла как глаз, потому что другого у нее не было.

А вечером, когда, утомленная учением и хозяйственными заботами, она удалялась в свою комнатку и свечка загоралась за белою занавеской, казалось, как бы не устремиться очами и душой к таинственному свету, казалось, как бы не перелететь вдохновенною мыслью в ее уютный уголок и не повергнуться в прах перед ее лицом, сияющим небесною кротостью. Увы! Барон не мог забыть, что свечка, таинственно освещающая ее комнатку, не что иное, как сальный огарок, что кровать ее из простого некрашеного дерева, что белье ее грубое и что, засыпая, она, вероятно, покрывается изношенным салопом.

Несмотря на то, он воспользовался правом соседа, и, выбрав, как водится, праздничный день, надел черный фрак и белые перчатки и ровно в двенадцать часов отправился к профессору с визитом. При входе он заметил в полузахлопнутой двери любопытную головку профессорской дочери — и ему стало досадно сперва за

то, что она показалась, а потом за то, что она спряталась.

— Mein junger Freund¹,— сказал ученый доктор utriusque juris², добродушно выдвигая очки и нос из груды запыленных бумаг.— Добро пожаловать. Вы камералист, кажется?

— Нет-с, дипломат.

— А!.. diplomatie cultor³. Вы слушаете лекции моего ученого друга Беккера?

— Так точно.

— Вы прилежно занимаетесь?

— Иногда-с.

— Занимайтесь, мой молодой друг. В науке — семя всего доброго и высокого. Не тратьте времени по-пустому: время — наш капитал самый драгоценный. Ars longa, vita brevis⁴. Вы сосед наш, кажется?

— Имею эту честь.

— Прошу быть без церемоний: мы здесь не в столице; а без лишних слов, если я могу вам быть чем полезен, то располагайте мною. У меня есть редкие издания... да-с, сочинения, которые надо поискать, да, поискать,— прибавил профессор с чувством самодовольствия.— Будемте добрыми соседями.

Он протянул руку студенту с непритворным радушием.

«Добрый человек»,— подумал барон, невольно тронутый ласковым приемом.

— Знаете что: если вам не скучно с стариком, откушайте с нами.

По странному противоречию, молодой человек сперва обрадовался. «Я ее увижу,— подумал он, а потом присовокупил:— А уж не замышляет ли этот ходячий фолиант сблизить меня с своей дочерью, даже, чего доброго, женить на ней, считая на мое будущее наследство. Он, верно, знает, что я буду богат».

Но поистине профессор не знал о том ни полслова. Он любил молодых людей и желал им быть полезным, где только мог. Студент принял приглашение, раскланялся и возвратился через час. Толстая служанка накрывала на стол. Профессор в длинном оливковом сюртуке и в белом батистовом галстуке бодро ходил по комнате, а у окна сидела его дочь и вязала чулок. При

¹ Мой молодой друг (нем.).

² обоих прав (лат.).

³ служитель дипломатии (лат.).

⁴ Искусство долго, жизнь коротка (лат.).

входе гостя она покраснела, привстала и присела довольно неловко. Профессор начал говорить о погоде в ученом отношении и пригласил садиться за стол.

Увы! Служанка принесла в миске кашу под названием офен-гриц с молочной прихлебкой. Профессор принялся кушать с наслаждением, дочь его — с явным удовольствием; один барон прихлебывал с горестным чувством. Плохой обед, даже подле существа любимого — дело неприятное, когда есть хочется. Не оттого ли это, что любовь проходит, а аппетит — никогда. После офен-грица подали кусок говядины, плавающий в масле, с полусырым картофелем; потом блинчики с творогом довершили обед, в продолжение которого не было разговора, кроме потчевания молоком, соусом и мелким сахаром.

— Ну, Шарлотта, — сказал вдруг профессор, — принеси-ка нам бутылочку в честь нашего молодого друга.

Шарлотта вышла и через минуту возвратилась с продолговатой бутылкой отличного рейнвейна, до которого ученый, как все ученые, был большой охотник.

Рейнвейн и сигары были его отдохновением, единственной его роскошью, для доставления которой дочь его, пятнадцатилетний ребенок, круглый год считала и берегла копейки, лишала себя всех прихотей, свойственных ее возрасту, носила все то же ситцевое платье по будням и белое по воскресеньям и торговалась упорно в цене жизненных припасов, но зато сигары выписывались из Гамбурга, а вино — от берегов Рейна, посредством одного ученого друга и великого знатока. Барон всего этого не понял.

За рюмку вина, в особенности отечественного, немец оживляется, молодеет, рассказывает, и, как дитя тешится игрушкой, он тешится своей стариной. Два часа прошло незаметно. Профессор рассказал свои экзамены, свои труды, свои знакомства с учеными германскими друзьями, свою буйную молодость, свою немую любовь, свою женитьбу, свою тихую и трудолюбивую жизнь и заключил горячей слезой памяти незабвенной подруги. Студент слушал со вниманием. Добрая сторона души его понимала, что было хорошего в беспорывной жизни немца, и, по невольному переходу, останавливалась на безмятежном лице его дочери. В нем отражалось такое отсутствие суетных волнений, такое эпическое спокойствие, что бунтующая кровь мгновенно при ней утихала и мысли, увлеченные к земному, невольно воспаряли

к высшему источнику. Одолеваемый двумя противными чувствами, барон не мог понять самого себя. Смотря на Шарлотту, он чувствовал, что должен бы ее любить. Смотря на все окружавшее ее, он чувствовал, что он любить ее не мог. Без нее ему было грустно, при ней — досадно. Бывало, он заглядывался на ее темные очи, отуманенные густыми ресницами, и на крыльях воображения переносил ее в дивный мир фантазии, где все гармония, и поэзия, и счастье. И вдруг грустное напоминание жизни разрушало его мечты. Офен-гриц на столе, заплатка на платье, употребление щипцов над сальной свечкой, сожаление о дороговизне капусты отдавали его морозом. Каждый вечер он решительно намеревался не посещать более профессора, а на другой день он снова был уже у соседей, пил рейнвейн, курил сигары и играл с Шарлоттой сонаты в четыре руки.

Прошло несколько месяцев. По ученому городку, по примеру прочих грешных городков, пошли сплетни и провозгласили, с дополнениями и комментариями, молодого барона женихом. Узнав о том, как водится, последний, он, как добрый малый и честный человек, душевно огорчился. Женитьба казалась ему далекою приставью после долгого странствования, а он снаряжался еще только в путь. Несмотря на то, мысль, что другой может жениться на Шарлотте, была ему неприятна до чрезвычайности; но надо ему отдать справедливость: он поборол самого себя, быть может, оттого, что был еще молод и пылок для всего хорошего, что, к сожалению, изменяется с возрастом. Он вдруг прекратил свои посещения и для развлечения бросился в полное раздолье студентской жизни.

А студентская жизнь, друзья мои, эта вечно кипящая чаша, кого не рассеет и не утолит? Закутил молодой барон. Пригнул шапку набок, вооружился дубиной и пошел по комершам¹ и по фехтбоденам под руку с самыми отчаянными буршами. Вскоре имя его, дотоле почти неизвестное, загремело на всех перекрестках; молодые фуксы стали глядеть на него с почтением, а городские девушки с явным любопытством. Но как он ни желал влюбиться и как ни легко это в его лета, он никак не мог совестливо исполнить своего желания. Та была хороша, да дочь булочника, другая казалась всем привлекательна, да он заметил однажды, что руки ее были

¹ Студенческие пиры. (Примеч. автора.)

недостаточно вымыты; одна была мала слишком, другая слишком велика; одна не довольно черноволоса, другая слишком белокура, словом, проходя по всей шеренге местных красавиц, душа его останавливалась с нежностью только на дочери профессора, но и ту, как мы видели, он мог любить только урывками, оскорбляясь ежеминутно жестокими столкновениями с шероховатостями прозаической жизни.

Что же происходило тогда в сердце молодой девушки? К чему это отгадывать? Она все жила по-прежнему тихо и однообразно, только тщательнее отворачивалась от барона, когда встречала его на улице, и дольше стала засиживаться по вечерам, оставаясь одна в своей комнатке. Барону казалось при редких ее встречах, что она на него сердится, и это было ему досадно. «С какого права?» — думал он. Однако ему, вероятно, было бы еще досаднее, если б она не сердилась на него вовсе. Жизнь его катилась в шумном забытьи. Поутру он слушал рассеянно какую-нибудь лекцию, потом отправлялся на фехтбоден заниматься, по выражению Языкова, головоломным искусством, потом веселая ватага отправлялась обыкновенно на шульвагенах за город с вином и песнями и ликовала всю ночь с буйными восклицаниями.

Однажды университет праздновал день своего основания. Студенты с бутылками, привешенными к пуговицам скюртуков, отправились по партиям к загородным корчмам. Барон, нарядившись также ходячим погребом, к явному удовольствию своих товарищей, вмешался в буйную толпу и не возвращался целый день. Напрасно дочь профессора украдкой поглядывала из-за занавески, ожидая с трепетом, что бедного ее соседа приведут под руки на квартиру. Наступил вечер. Все окна мигом иллюминировались в честь торжества, под опасением немолчаливого разбития. По всем направлениям города начали раздаваться веселые хоры, которые подвигались с факелами к зданию академии и провозглашали ей громогласный *vivat*.

Все городские обыватели стояли у ворот своих домов и с любопытством посматривали на буйную веселость академических именин. Крик, топот, песни не умолкали ни на минуту. К дому профессора прихлынула ватага полупьяных буршей.

— А знаете, — сказал хриплый голос, — он, старый хрыч... был неучтив вчера в коллегии. Право, неучтив.

Право, ну... я шаркать начал... моя воля... Не правда ль, моя воля?.. Так. А он вдруг говорит, старый хрыч, чтоб я не мешал. Мешаю будто другим слушать. Ведь это грубость?

— Грубость, — сказали несколько голосов.

— Ну, так за чем же дело стало, *pereat*¹ ему!

— *Pereat!* — закричала толпа с такими ужасными воплями, что стены ближних домов чуть не пошатнулись.

Профессор, сидя спокойно за своим письменным столиком, побледнел. «Уж не мне ли? — подумал он. — Нет, это, верно, моему ученому и бедному другу».

— *Silentium*², бурши! — закричал другой голос. — Грех вам и стыд обижать невинного старика.

— Что... что?..

— Притеснял ли он когда-нибудь кого? Был ли он когда врагом студентов? Не трудился ли он всю жизнь для вас? А вы вместо благодарности хотите отплатить проклятием. Стыдно, ребята!

— Фиренгейм прав! — сказал кто-то.

— У старика хорошенькая дочь, — заметил другой.

— *Vivat!* — закричали все. — *Vivat! Vivat! Vivat! Crescat, floreat in aeternum!*³

— Это, господин барон, тебе так не пройдет, — сказал сердито хрипый голос. — Я филистер. Со мной не угодно ли прогуляться в круглых шляпах?

— Хоть на пистолетах, — отвечал Фиренгейм.

— Ну, пожалуй, на пистолетах.

— Нет, — сказал кто-то из старейшин, — на шлеге-рах!.. Обиды кровной нет.

— *Vivat!* — кричала толпа. — *Vivat! Vivat!*

За окнами показались блуждающие огни. Потом одно окошко поспешно отворилось, показался профессор и смущенным голосом начал благодарить студентов.

Между ними воцарилось глубокое молчание. Профессор описал свою академическую жизнь, свое ученое стремление, свою любовь к студентам и заключил, что, доживая до преклонных лет, лучшей его отрадой была мысль, что труды его не совсем пропали для молодых его друзей. Между тем к толпе почтительно слушающих студентов прихлынули другие. По окончании речи виваты, как трескучий гром, начали перекатываться по

¹ смерть (*лат.*).

² Тише (*лат.*).

³ Честь и слава в веках! (*лат.*)

воздуху. В одно мгновение факелы брошены в одну грудку, и веселый огонь озарил палящими переливами радостный пир молодости и подгулявшей науки. Профессор выкатил весь свой погреб и тешился как дитя. С сверкающими глазами он жал у всех руки, потчевал непьющих лучшими сигарами и отдал весь рейнвейн свой до последней бутылки.

Через несколько дней Фиренгейма привезли без чувств домой. Грудь его была прорублена до самого плеча.

Когда он начал приходить в себя, в глазах его и в душе было еще темно и туманно; но в неясном тумане обозначались едва заметно нежные черты, и двое влажных очей, как отуманенные звезды, казалось, притягивали его к жизни. Мало-помалу странное видение между существованностью и сном стало определеннее: черты обозначились яснее. Так это она точно, она, дочь профессора, которая с трепетным волнением стояла у изголовья раненого.

— Очнулся!— сказала она шепотом и покраснела до ушей.— Теперь я не должна здесь оставаться.

Бедная Шарлотта вздохнула.

Отец ее, стоявший за ней, посмотрел на раненого опытным взглядом знатока.

— Какой славный удар!— сказал он.— Какая ужасная винкелькварта! Бедный мой друг, если вам захочется супу, то пришлите ко мне.

Барон пролежал три месяца на кровати, и хотя соседка его не осмеливалась к нему войти, но везде была заметна ее нежная заботливость. Легкие кушанья, чистое белье, увеселительные книги, цветы, игрушки, все мелкие наслаждения, неизвестные холостой беспечности, присылались ежечасно от имени профессора и утешали раненого студента. Шарлотта была его невидимым провидением, и он невольно стал переносить к ее образу все нежные мечты своих продолжительных бессонниц. А она до того привыкла к своему попечительству, до того обрадовалась возможности приписать состраданию неясную склонность своего сердца, что когда Фиренгейм оправился и пришел благодарить своих соседей, она почувствовала, что ей чего-то не доставало.

Утомленный студентским разгулом, молодой барон, к явной радости старика профессора, сел за книги и начал заниматься. Строгое прилежание и долгая болезнь скоро выгнали у него из головы его баронскую дурь. Он удостоверился, что подробности существенной

жизни значительны и первостатейны только для малодушных людей, а что душевные совершенства лучше приятных форм. Забыв глупые предубеждения, он сблизился с профессором, полюбил его искренно, как отца, а к дочери его привык, как к сестре. Жизнь их была без особых событий и потому не могла раздуть пламени страсти; но они были сотворены друг для друга, и этого они не могли не понимать. С ней он занимался музыкой в часы вдохновения и с ней читал любимых поэтов; она любила Шиллера, он предпочитал Гете, и от этого разногласия нередко возникали довольно горячие споры, точь-в-точь как будто между детьми. Привычка их сроднила; но странно было, что, когда она была весела, он сердился; когда он начинал шутить, ей становилось грустно; но что когда они изредка соединялись в одном чувстве, то их сердцу было невыразимо весело и легко, а глазам хотелось плакать. Барон и этого не понял. Только каждый день, по неодолимому влечению, ходил он к соседям, глядел на Шарлотту, а потом возвращался домой и садился бодро за книги. Это время было самое счастливое в его жизни, и, быть может, оно исправило бы совсем его характер, если б новое обстоятельство опять всего не изменило.

Вдруг получил он известие об ожидаемом богатом наследстве. Он делался владельцем майората. Присутствие его на месте было необходимо, академическая жизнь его оканчивалась.

Богатство, богатство! Рычаг нашего просвещения, нашей гражданской деятельности, нашего семейного счастья, нашей безрассудной жизни, если ты в ведении какого-нибудь демона, то много у этого демона и грехов и дурных мыслей на душе.

Барон начал укладываться уже с чувством холодного эгоизма. Отдаленный звук денег приятно отдавался в его слухе; мысль об отличиях и почестях заманчиво ему вторила. Он в два дня собрался к совершенному отъезду и простился со всеми своими знакомыми. Когда он объявил профессору о перемене своей судьбы и, прощаясь, благодарил его, старик был тронут; быть может, он не думал, что им надобно будет когда-нибудь расстаться. Шарлотты не было дома. Барон просил ей поклониться и сказал, что он вечно будет ее помнить. Она, казалось, умышленно избегала встречи и последнего разговора.

В немецких университетах есть трогательное обыкновение: когда студент отходит от своей братии на шумное

поприще гражданской жизни, когда он навек прощается с своим студентским бытом, товарищи провожают его толпой через весь город медленным шагом и грустным хором поют ему во время шествия прощальную песнь. В этой песне отзывается что-то похоронное, что-то сжимающее сердце, как стук земли, бросаемой в отверстую могилу. И точно, отходящий брат не хоронит ли своей молодости, своей юношеской беспечности, своей лучшей поэзии?.. Наступил день отъезда молодого барона. Так как его вообще любили, то с самого утра на главной площади, откуда должна была начаться процессия, стали собираться студенты со всех сторон. Потом и отъезжающий, в последний раз одетый совершенным студентом, с пестрой шапкой на голове, явился в кругу своих товарищей. Двое из старейшин взяли его под руки и открыли шествие. Густая толпа двинулась за ними вслед, и плавное пение зазвучало по улицам грустными аккордами. Барон шел тихо... Много мыслей, много чувств теснилось в голове его. Из всех домов кланялись ему знакомые лица: трактирщик, который играл на контрабасе; педель, который призывал его к ректору; лавочник, который верил ему в долг; помещик, у которого он обедал; дамы, с которыми он танцевал, — все ему кланялись, все посылали рукой последнее приветствие, искреннее, добродушное желание успехов и счастья. И вдруг он поднял голову. Они подходили к дому профессора. У окна стояла девушка в белом платье, как бы принарядившись для печальной церемонии. На щеках ее не было привычного румянца; руки ее, как бы лишённые жизни, опускались вдоль гибкого стана. Студент печально ей поклонился, но она не отвечала на поклон. Смертная бледность покрывала чело ее; глаза неподвижно вперялись в толпу, как бы желая остановить ее каким-нибудь чудом, и слезы градом катились без принуждения по ее безжизненному лицу.

Чувства едкой жалости и позднего откровения молнией пронзили сердце бывшего студента. «Она любила меня», — подумал он и опустил голову. И толпа хлынула далее, и долго слышно еще было по улицам, как терялась вдали прощальная песнь и замерла, наконец, за городской заставой.

Кто-то сказал презабавную глупость: немец до двадцати пяти лет Адам Адамович, от двадцати пяти лет — Иван Иванович. В этой глупости, как во многих глупостях, глубокое знание человеческого сердца. Если немец, например, кутил до двадцати пяти лет, то он заьет последнюю минуту своего двадцать четвертого года мертвейшею чашею, а на другой день начнет пить одну лишь воду до самого часа своей смерти; вчера был отчаянным шалуном, завтра будет самым степенным из степенных людей; вчера был разгульным, беззаботным буршем, сорил деньги где мог, завтра будет расчетливым немцем, извлекающим из всего выгоду; одним словом, немецкие страсти распределены по срокам, как неизбежная плата за жизненную квартиру, и каждая вносится своевременно, без задержания или избытка.

Более всего разительна эта противоположность германского характера в минуту окончания студентской жизни. У меня был один товарищ до того отчаянный, что все тело его было изрублено, шапка прострелена; платье свое он проиграл в банк, а выпивал он столько, что содержателю погреба становилось страшно. В день отъезда он напроказил до того, что волосы становились дыбом; но при последнем стакане вина он заливался горькими слезами и сказал три слова: «Прощай, золотая молодость! — *Lebe wohl, goldene Jugend!*» На другой день он был мирным пастором, учился благословлять, готовил проповеди и вспоминал о своей студентской жизни с тихой улыбкой, как будто бы прошедшие несколько часов были целыми годами.

Почти то же самое случилось с Фиренгеймом. Восторженный студент вдруг сделался расчетливым дипломатом. Он решался жить в Петербурге и рассудил, что для удовлетворения своего тщеславия и честолюбия ему открыты две дороги: служба и большой свет; причем он и не подумал обманывать себя призраками пользы, обязанности или призвания. Он убедился, что отверстие поприще выгодно, а большего и не думал искать.

Мы часто укоряем немцев за то, что на святой Руси они всегда добиваются теплого местечка и достигают именно того, к чему мы стремимся. Но не сами ли мы в том виноваты? Они упорствуют, а мы пренебрегаем; они трудятся неусыпно и без усталости, а мы готовы истратить весь свой пламень на один порыв и проле-

ниться потом всю жизнь. Что же удивительного, коль на пути гражданской жизни они перебивают нам дорогу и занимают у нас под глазами места и должности, которые бы нам весьма по сердцу?

Барон выбрал самую выгодную службу, самый выгодный разряд; отказался от жалованья в пользу повышения, подружился с начальником отделения, полюбился директору и понравился министру. Он как будто родился в вицмундире, в стенах канцелярии, за столом столоначальника. Он был вежлив с казначеем, бухгалтером и журналистом; он дарил щедро швейцара, сторожей и курьеров; одним словом, хотя он многого и не делал, но в скором времени сумел прослыть образцовым чиновником.

В свете он следовал той же тактике; только ручевский фрак и желтые перчатки заменяли вицмундир. Он начал, как следовало, со старух: слушал их с почтительностью и явным вниманием, надевал на них мантильи и салопы, аккуратно делал им визиты, привозил подарки в день именин, играл с ними в карты и часто проигрывал... Разумеется, подарки и проигрыши соразмерялись со степенью важности старых покровительниц; потом барон обратился к модным красавицам. Сказать правду, они не много ему нравились, но он почел обязанностью казаться с ними в дружеских отношениях, чтоб упрочить свою светскую славу. Он разваливался подле них в мягких креслах, наклонялся к ним на ухо и говорил всякий мелкий вздор вполголоса. Они непременно начинали смеяться, хотя иногда то, что говорил барон, было вовсе не смешно; но так как одна из них рассмеялась, то и всем надо было смеяться, так, как всем надо было носить короткие рукава, гладкие прически и бархатные бурнусы. Поутру начинали посылаться к молодому барону разные душистые записочки с приглашениями и концертными билетами. Наконец, он не только танцевал всегда с признанными светом модными красавицами, но его самого начали модные дамы выбирать поминутно в танцах во время фигур, потому что он танцевал отлично и принадлежал ко двору. С того времени положение его в большом свете резко обозначилось и ему наперерыв стали завидовать провинциалы, начинающие, боязливые, бедные и уродливые, которые для оттенков картины дополняют петербургские бальные залы. С мужчинами он был учтив, но не искателев; он только соразмерял свою учтивость и поклоны с уменьшением нумера класса и с

увеличением знаков отличия, так что Анне с короной он кланялся с развязной улыбкой, а Андрею Первозванному — с чувством глубокого почтения. Но это было не по низкопоклонности его характера, а в силу того внутреннего убеждения, что он исполняет обязанность и воздает каждому должное. В несколько лет он сделался совершенным светским человеком, с жадной к рассеянию, с ненавистью к занятиям и с холодным расчетом для своих выгод и повышения. При таких обстоятельствах его послали по казенному поручению в уездный город, описанием которого я начал свой рассказ.

Что же было в продолжение того времени с дочерью профессора?

Прекрасная моя читательница, вы, верно, по природной вашей догадливости узнали в аптекарше ту самую Шарлотту, которая так безнадежно любила моего барона. Но как перешла она от мирного отцовского крова в аптеку уездного городка, как, думая о бароне, могла она выйти за аптекаря? Как... Каким образом? Нехорошо, не правда ли?.. А позвольте у вас, сударыня, спросить: господин ваш супруг был ли единственным предметом ваших помышлений? Неужели до блаженной минуты, когда он повел вас к венцу, пред вами не мелькнули никакие заветные черты и никакое мужественное лицо не оставило в вашем сердце своего неизгладимого портрета? Вспомните хорошенько. Не хотели ли вы когда-нибудь оставаться век в девушках или, чего доброго, в монастырь идти? И что же? Поплакали об одном, улыбнулись другому. Пришла надобность в самопожертвовании — жертва совершилась, и слава богу, вы поживаете здорово и благополучно, хоть вы и разоблачили ваш надоблачный идеал в халат и туфли полузаспанного мужа. Дело в том, что мы любим укорять других, чтоб извинить себя; а быть может, то, что в нас нехорошо, в других извинительно.

Когда Шарлотта, как истая германская девушка, носилась мечтой в идеальном тумане, небольшой студент с кудрявой рыжей головой аккуратно проходил и вздыхал два раза в день под ее окном. Фиренгейм давно уехал. О нем слышно было, что он веселится в большом свете, волочится, влюбляется, ищет невесты, а над прежней жизнью смеется весьма остро. Половина того была истинна, другая, как водится, прибавлена. Бедная Шарлотта сперва поплакала, потом посердилась, потом и сердиться перестала и вся обратилась в любовь к сво-

ему отцу. Любящие души, однажды обманутые, не уничижают, но переносят только избыток своего небесного огня к лицу более достойному. Дочь профессора старалась забыть себя совершенно и только и думала о том, как бы чем угодить дряхлеющему старику и усладить последние минуты его жизни; а пока небольшой студентик с кудрявой рыжей головой все ходил да ходил под ее окном с такой настойчивостью, что она наконец привыкла к его физиономии, как к чему-то неизбежному. Есть люди, смиренные свойством, которые умеют выжидать и тем одним всегда достигают своей цели. Когда пришло время, студентик втерся в дом профессора, начал знакомство на латинском языке, выпил рюмку рейнвейна и выкурил две сигары. Старик чрезвычайно полюбил нового друга, хотя и вздохнул невольно о старом, закутившем в петербургском большом свете. С того дня студентик начал ходить чаще и чаще, а Шарлотта, не обращая на него большого внимания, начала привыкать к его разговорам, как привыкла к его появлениям под окнами. Вскоре он переехал на квартиру Фиренгейма, но Шарлотте не говорил ни о любви, ни о надежде, ни о поэзии, опасаясь повредить своим намерениям, а неприметно стал входить в ее хозяйские распоряжения, советовал ей употреблять для приправы кушаний разные аптекарские травы, настаивал с ней настойки и покупал для нее капусту и грибы. Мало-помалу он сделался в доме необходимым человеком, а время быстрыми шагами все двигалось вперед, неся на плечах болезни, бедствия и смерть. Профессор начал ослабевать. Книги осиротели, сигары заброшены, рейнвейн забыт. Не долго он был болен и встретил кончину, как следовало мужу мудрому, прошедшему всю жизнь для благочестия и науки. Студентик ходил за ним как сын, сам готовил лекарства, сам их подавал, и перед смертью старик благословил его зятем и вручил ему свою бездыханную дочь.

Удар, постигший Шарлотту, был до того жесток и поразителен, что она равнодушно узнала о перемене своей судьбы. Жених ее не докучал ей неуместной страстью, а начал распоряжаться в доме хозяйством и готовил все для свадьбы. Таким образом Франц Иванович достиг своей цели.

Вскоре совершился и брак, грустный, холодный, как приношение жертвы над свежей могилой. Во время обряда Франц Иванович казался тронут, но не надоел

жене клятвами и уверениями. Он думал об устройстве вещественного благосостояния. Он уже кончил курс, выдержал экзамен на звание фармацевта и, по долгом соображении, решился ехать nach Russland¹ наживать деньги. Узнав, что в городе С. не было аптеки, он положил поселиться в нем с молодой женою, надеясь на дешезвизну содержания и потребность края в медикаментах. Всего достояния его вместе с скудным наследством профессора едва было достаточно на фармацевтическое обзаведение с стеклянками, банками и весами в старинном доме, где некогда танцевали дворяне, а что ныне украсился вывеской с известной вам надписью: «Аптека, Apotheke».

Бедная Шарлотта! Какая жизнь! Какое разочарование! Все та же бедность, но уж без поэзии; все те же заботы, но без утешения; все то же душевное одиночество, но уж без надежды!.. И некому поверить своей грусти, не с кем поговорить о старине. Франц Иванович, по недостатку средств не имевший провизора, сам с утра до ночи катал пилюли, сушил травы и составлял микстуры. Впрочем, всегда довольный, всегда с улыбочкой, он потряхивал рыжей головкой, думая веселостью своею развеселить, может быть, и свою жену. И надо ему отдать справедливость: он не надоедал ей знаками приторной привязанности, не требовал от нее ложной нежности, а довольствовался тем, что подавал ей нехвастливый пример покорности и терпения. Она радовалась, что он ее не понимает, и бережливо таила от него свои воспоминания и свою печаль. Знакомств у них было немного, и от тех можно было бы охотно отказаться. Городничий, обожатель полек, да толстая барыня Авдотья Петровна Кривогорская, обожательница сплетней и собачек, делали им изредка дальновидные визиты, надеясь получить подешевле или даже в подарок нужные для домашнего обихода аптекарские припасы.

Всех чаще по утрам заходил к ним от нечего делать отставной помещик в венгерке. Поздоровавшись с Францем Ивановичем, он отправлялся к аптекарше с обыкновенным приветствием:

— Бонжур, мадам. Здоровье ваше гут?

— Gut, — отвечала, вздыхая, Шарлотта.

— А нельзя ли, мадам, трубочку? Смерть затянуть-

¹ В Россию (нем.).

ся хочется.— При этом слове он красноречиво влагал первый палец в уста.

Ему приносили трубочку... и он начинал дымиться как камин, объявляя притом городские новости.

У купца Ворышева получены новые селедки; только дорого, мошенник, просит. Вчерашний день толстая купчиха Трегубова, шедши в гостиный двор, провалилась на дощатом тротуаре; насилиу вытащили. Говорят, хочет подавать просьбу губернатору на городничего за то, что тротуары никогда не исправляют, отчего легко может приключиться смертельный случай. Намедни был праздник у исправника, и Терентий Иваныч, говорят, мастерски отхватывал вприсядку. У часового мастера пропала корова. В бричке поверенного по откупу лопнула рессора...

Потом он начинал любезничать.

— Когда же вы, Шарлотта Карловна, выучитесь говорить по-русски? Скажите-ка, был — «пыль...» Хи-хи! Как вы этого не умеете, а, кажется, так просто. Пора вам выучиться; или уж я стану учиться по-немецки, а то только и знаю что гут да либ данкен.

Шарлотта грустно улыбалась, а франт, поставив трубку в угол, уходил в сладком самодовольствии. «Хоть бы в столицу, — думал он, — право, хоть бы в столицу, и там скажут, что хорошенькая, а не только в провинции».

И Шарлотта оставалась одна, целый день одна. Как долго сиживала она у своего окошка и в тихом раздумье смотрела на серые тучи, которые неслись грустной вереницей по небу, не предвещая бури, не обещая солнца, а холодные, печальные, свинцовые, как жизнь, которая ее убивала. И что за зрелище под окном? Лужи с утками, грязная зелень, бабы с тряпьем, тарантас с заседателем, домики с разбитыми стеклами, заклеенными бумагой. Все, что в гражданственной жизни есть отвратительного, все, что в человечестве есть жалкого, все, как нарочно, соединялось, чтоб отравить лучшие годы ее жизни.

И к тому же воображение ее в одиночестве разыгралось. Прежние ее мечты определились ясно; призрак любви, но любви мучительной, страстной, бурно волнующей кровь, загорелся пылающей звездой во мгле ее одиночества. Ей хотелось бы убежать на край света и отдать всю жизнь свою за одно неистовое мгновение любви и блаженства.

И к довершению злополучия она не могла ненави-

деть, презирать своего мужа. Он, правда, не понимал ее, но он был добрый и честный человек и старался так усердно облегчить для нее бремя домашних хлопот и так неусыпно трудился в своих бедных оборотах, чтоб упрочить для нее в будущем времени сомнительное благосостояние.

Так прошло два года до того утра, когда барон Фиренгейм явился в аптеку за содовыми порошками.

IV

— Давно мы с вами не видались, господин барон, — сказала аптекарша.

— Давно, к искреннему моему сожалению, — отвечал петербургский щеголь, — и, право, я не думал, что поездка, которую я так от чистого сердца проклинал, сделается для меня источником большой радости...

— Какой радости, господин барон?

— Счастья, хотел я сказать, неопisanного счастья встретить вас снова, встретить ту, которая так много значила в моей молодости.

Барон остановился и с недоверчивостью взглянул на аптекаря.

Франц Иванович учтиво поклонился, не поняв, вероятно, замысловатых слов барона.

— Не угодно ли вам в гостиную? Она убрана некрасиво, да в ней живут добрые люди; а мне позвольте отправить этих мальчишек по принадлежности.

С трепетом вошел барон в комнату молодой женщины. Воспоминания, одно за одним, толпились в голове его: домик профессора, тихие вечерние беседы и неясное видение, осенившее некогда изголовье его страдальческого ложа, живо и ясно нарисовались в его пробужденной душе. Но перед ним стояла уж не худенькая девочка в коленкоровой шляпке, с робкой поступью и боязливым взглядом, а прекрасная, развившаяся женщина в полной зрелости красоты. Быть может, в ней утратилось немного то выражение чистого спокойствия, которое, бывало, хранило ее, как святыня; но зато в ее чертах и взорах разлилась какая-то неясная нега, что-то измученное и страстное, придающее ей новую, опасную прелесть.

Убранство комнатки было действительно самое незаглядное. Несколько простых стульев, диван между двумя печками, стол с истертым сукном да маленькое фортепьяно у окна, заставленного бальзаминами, располага-

лись чинно в симметрическом отдалении друг от друга а в углу, под стеклом поставца, красовалось с дюжину фарфоровых чашек и несколько серебряных ложек, развешанных по всем правилам немецкой аккуратности и мецанского щегольства. Эта нищенская роскошь грустно поразила молодого человека и перенесла невольно мысль в штофные покои петербургских барынь. Впрочем, чувство это было только минутное. Чем более он жил, тем более привыкал и становился равнодушен к декорациям жизни.

— Думал ли я встретить вас здесь?— сказал он тихо. Аптекарьша вздохнула.

— И встретить вас... замужем?

Взгляд, исполненный бессильной укоризны, был ответом на грустное напоминание.

— Батюшка ваш здоров?

— Батюшка мой умер.

Барон повесил голову. Он и не знал даже об этом. Ему стало грустно, но он вдруг рассеялся самым заманчивым, самым светским и порочным рассуждением:

«Отец умер. Она его более не боится. Муж колпак; его провести нетрудно. Она любила меня; а здесь, в этом захолустье, соперников, я думаю, немного... По крайней мере мне будет занятие».

— Вам скучно здесь?— сказал он голосом нежного сострадания.

— Да,— продолжала аптекарша со слезами на глазах.— Батюшка мой умер, умер и оставил меня сиротой. Бедный мой батюшка! Он часто о вас говаривал; с того времени жизнь моя разорвалась надвое; я на все начала глядеть другими глазами, и, право, я не знаю, как бы я могла прожить одну минуту, если б мне не оставалось воспоминания...

«Так и есть,— подумал барон,— это намек. Ей скучно, следовательно она на все готова... И я буду настоящим школьником, если не сумею воспользоваться случаем».

— Отчего же вы вышли замуж?— спросил он.

— Я вышла замуж потому, что моему покойному отцу это было угодно. Он думал, мой добрый отец, что я буду счастлива с человеком, который будет меня любить и наверно никогда не обманет.

«Это что-то похожее на упрек,— заметил снова про себя барон.— Я не ошибся: она все еще меня любит, и как хороша она к тому! Право, наши светские красавицы».

вицы не стоят ее мизинца; а как подумаешь, сколько за их пустые разговоры я истратил безвозвратно времени, забот и денег!..»

— Не всякий волен в своей судьбе,— продолжал он вслух с глубоким вздохом.— Ваш муж счастливый человек: ничто не противилось его благополучию — ни родственники, ни обстоятельства, ни даже вы сами, потому что вы, вероятно, его любили.

Аптекарьша грустно улыбнулась.

— Муж мой добрый человек,— сказала она,— он искренно по-своему ко мне привязан, и я была бы неблагодарна, если б не умела ценить его достоинств.

«Ну! Тактика обыкновенная. Надо же выдумать какие-нибудь препятствия, трагические угрызения совести и т. п., чтоб потом всем пожертвовать, и требовать благодарности, и иметь чем попрекнуть».

Волнуемый такой лукавой мыслью, барон продолжал:

— Ваш муж счастливый человек: он всегда с вами, всегда подле вас. Ему позволено называть вас нежными именами, прижимать вас к груди своей и забывать все на свете, чтоб надышаться вашей речью и заглядеться вашей красотой.

Аптекарьша была, очевидно, взволнована.

В это время вошел в комнату аптекарь.

— Что за город!— сказал он с досадою.— Просто жить нельзя. Один торгуется, другой в долг просит. Вообразите: у меня по книге рубль, а мне дают полтину, да нельзя ли еще пообождать до праздника. Слуга покорный! Как будто нам тоже пить-есть не надобно. Проклятый город!

— Да зачем вам оставаться здесь?— спросил барон.— Мне кажется, вам всего бы лучше переехать в какую-нибудь столицу, в Петербург например.

— Да-с, оно бы хорошо, только жить там дорого женатому человеку. Вот если б место...

— Что ж, похлопотать можно.

— Помилуйте, к чему вам беспокоиться? Ваше время должно быть дорого. Вы человек светский, где в вашем кругу вспомнить о бедном аптекаре!

— Позвольте-с, вы несправедливы. Я всегда готов стараться за своих друзей.

— Благодарю вас за название.

— Надеюсь его заслужить.

— А покуда, господин барон, вам должно быть у нас скучно.

— О нет! Напротив.

— Полноте, вы, светские люди, вечно с учтивостями. Мы вам особенных развлечений предложить не можем. Театров у нас нет, о балах не слыхивали, а есть стакан чаю, тарелка супу, бутылка пива — все это к вашим услугам.

— И я непременно всем воспользуюсь.

— Ну, так не пожалуете ли вы к нам в среду откушать? Я думаю, вам в первый раз в жизни придется обедать в аптеке?

— С большим удовольствием.

— За стол не взыщите. Предлагаемое не хитро изготовлено, но предлагается от доброго сердца — не так ли, Шарлотта Карловна?

Шарлотта кивнула молча головой.

— Смотри же, Шарлотта Карловна, подумай, как бы угостить гостя, чтоб он и вперед пожаловал.

Аптекарьша покраснела и отвернулась.

— Вы в котором часу обедаете? — спросил барон.

— Обыкновенно в двенадцать часов. Но так как вы человек столичный, то мы будем обедать ровно в час. Кажется, это довольно поздно?

— Очень довольно.

Барон ушел домой. Аптекарьша не выходила у него из головы. Он вспомнил поочередно все читанные им соблазнительные романы и решил действовать с немолемым расчетом опытного обольстителя.

Наступила среда. Барон, насилию дождавшись первого часа, надел пестрый жилет, пестрый галстух, затянулся в парижский сюртучок и отправился, попрыгивая по грязным тропинкам, к жилищу аптекаря. У дверей встретил его хозяин, дружески пожал ему руку и ввел в комнату, где он был накануне. В поставце серебряных ложек уже не было, все было выметено и прибрано начистоту, а посреди комнаты поставлен был стол с четырьмя приборами. В углу сидел помещик в венгерке и курил трубку в ожидании обеда.

— А супруга ваша? — спросил барон у аптекаря.

— Жена моя в кухне, стряпает. У нас ведь нет повара: мы люди небогатые.

Барону стало нестерпимо досадно, что она, которую он собирался любить, хлопотала около кастрюль и, чего доброго, старалась, выходила из сил, чтоб лучше изжарить курицу и тем угодить нежному предмету прежней страсти.

— А! Мое почтение,— сказал помещик голосом старинного знакомого.— Каково у насживаетесь?

— Очень хорошо-с.

— Каким вы всегда щеголем. Жилетка в Питере, что ли, шита?

— Нет-с, в Париже.

— В Париже!.. Ах, позвольте взглянуть; чай не дешево стоит.

— Не помню.

— Уж эти петербургские щеголи чего не придумают! А нечего сказать, мастера одеваться.

В эту минуту вошла аптекарша. На ней было белое платье. Два локона, задернутые за уши, висели до плеч, а вокруг головы обвивался черный шелковый снурок, перехваченный золотым бисером. Снурок этот, неизбежное украшение всякой бедной немки, снова раздосадовал барона. Он сухо поклонился и начал говорить о погоде. Между тем принесли на стол миску, и гости уселись по местам. Крышка мигом слетела, и в миске обнаружился не суп с картофелем, не щи с капустой, а старый знакомый, товарищ молодости, офен-гриц молочный, тот самый, который во время оно по середам и субботам навел уныние на целый университет. Барон взглянул на Шарлотту; она улыбнулась и покраснела. Есть женщины, которые в самые обыкновенные подробности жизни умеют, когда сердце их задето, отделять немного от поэзии своей души. Барон понял, сколько было скрытого значения в простом блюде, и, быть может, в первый раз в жизни не обратил внимания на прочие подробности стола. Разговор был оживлен. Говорили о Петербурге и о перемещении аптеки. Франц Иванович сокрушался о столичной дороговизне, к чему помещик красноречиво присовокупил, что петербургская жизнь в особенности кусается. Перед окончанием обеда аптекарь с значительною миною вышел в соседнюю комнату и возвратился с бутылкой шампанского, первой употребленной в аптеке со дня ее основания.

Решившись на такую роскошь, он вполне хотел угодить гостей. Вино было теплое и странного вкуса, но наружность бутылки и пенистое шипенье были самые приличные.

— Здоровье нашего гостя!— возгласил Франц Иванович.— Сто лет жизни!

— И генеральский чин,— прибавил франт.

— И много счастья,— добавила аптекарша.

— Noch!¹ — закричал развеселившийся аптекарь. —
Еще по рюмочке!..

Когда бутылка опорожнилась, хозяева и гости встали из-за стола. Был четвертый час. Мужчины вооружились сигарами и трубками. Два часа протянулись еще в отрывистом разговоре. Аптекарь о чем-то думал, вероятно о перемещении своей аптеки; барон нетерпеливо поглядывал на часы. Шарлотта, с ярким румянцем на лице, казалась взволнована. Один ех-помещик только бесечно затыгивался и рассматривал потолок. Наконец он вспомнил, что пора идти к почтмейстеру, встал, раскланялся и вышел. За ним Франц Иванович отправился по своим делам. Аптекарша и Фиренгейм остались вдвоем. На дворе по случаю поздней осени начинало уже смеркаться.

Оба молчали, оба сидели в немом смущении. Проклятая робость вкралась в сердце светского щеголя и туманила его коварные предприятия. Он думал, думал, находил себя и жалким и смешным и вдруг, собравшись с духом, начал разговор:

— Не хотите ли сыграть что-нибудь?

— В четыре руки?

— Да, в четыре руки.

— Я так мало играю...

— И, помилуйте! Вы разве не помните, что мы уж игравали прежде?

— Помню...

— Так не угодно ли?..

— Извольте.

Они сели рядом у фортепьяно.

— Что ж мы будем играть? — спросила аптекарша.

— Что угодно...

— Мне все равно.

— И мне все равно...

— Вот какие-то ноты... Хотите попробовать?

— Извольте.

— Вы будете играть бас.

— Да, как прежде... как в старину...

Атекарша вздохнула...

— Извините, если я буду ошибаться.

— Не взыщите, если я ошибусь.

Они начали играть, только нестерпимо дурно: то он

¹ Еще! (нем.)

опаздывал, то она торопилась. В комнате становилось темнее и темнее.

— Признайтесь, — сказал барон шепотом, — вы на меня сердитесь?

— Зачем сердиться?.. Бог вас простит... У меня тут не то, кажется, написано...

— Нет, — продолжал барон, — нет, дайте мне выслушать выражение вашего гнева, быть может я и оправдаюсь.

— Ах! Извините, я кажется, не ту строку играю.

— А мне так больно, что вы на меня досаждаете.

— На что вам... переверните страницу.

— Мне так дорого ваше участие, оно мне так нужно. Я так несчастлив...

— Вы несчастливы!..

Они перестали играть.

— Да, Шарлотта, — извините, что я вас называю прежним именем, — истинно несчастлив. Свет, в котором я живу, сжимает душу, от него веет морозом. Мне негде отдохнуть сердцем. Среди людей я всегда один, никого не удостоиваю своей привязанностью и не верю ни в чье участие.

— Бедный! — сказала аптекарша.

Барон приободрился.

— Но знаете ли, Шарлотта, какое утешение я сохранил с любовью; знаете ли, каким теплым чувством я согреваюсь в ледяной атмосфере большого света? Знаете ли?..

Аптекарша не отвечала. Грудь ее сильно волновалась.

— Да, Шарлотта, воспоминания о прошлой жизни, воспоминание о вас — вот теперь мое лучшее сокровище. Как часто, утомленный от бессмысленных мелочей кочеванья по гостинным, я переносусь в тот мирный уголок, где я жил с вами, жил подле вас, и снова я вижу ваше окошечко, вижу тень вашу за белой занавеской. Воображение заменяет действительность. Я счастлив своей мечтой, и сердце мое снова бьется от радости и от любви.

— Ах! — сказала аптекарша. — А мне какво? Мне здесь все дико и неприятно. Нет здесь моих подруг... Отец мой умер... Я сама живу памятью, а в настоящем мне грустно и тяжело.

— Так, бедная Шарлотта, я в том был уверен. Вы тоже несчастливы. Вас здесь никто ни оценить, ни понять не может. А я знаю, ваша душа создана для чувства, для сочувствия, для всех радостей и мучений сердца.

— Не говорите мне этого...

— Но это правда.

— Да, печальная правда. Я долго ждала счастья... Я видела его даже издали, но оно промелькнуло только для меня и бросило мне лишь сожаление, одиночество.

— Нет,— прервал барон,— судьба бессильна против любви. Мы были бы счастливы вместе... Ваши глаза мне это говорят. Кто же мешают нам быть счастливыми?

— А как?..

— А разве нельзя возвыситься над жалкими условиями жизни? Разве мы не можем любить друг друга и в высоком упоении найти возмездие за все свои страдания?..

— А люди?

— Люди! Что в них? Любовь не целая ли вселенная? Как ничтожно перед ней все земное, и как возвышается, как освящается душа, исполненная любовью!

Барон схватил руку аптекарши; рука ее дрожала.

— А долг?— сказала она задыхающимся голосом.

— Долг выдуман человеческими расчетами. Долг — условие земли, а для нас отверзто небо. Вы видите, не пустой же случай свел нас снова вместе; мы рождены друг для друга. Неужели вы этого не понимаете? А я уже по силе любви своей отгадываю, что и вы должны меня любить...

— И не ошибаетесь,— сказала аптекарша, закрыв лицо руками.

Ощущение неопisanного блаженства освежило душу барона. В комнате было совершенно темно.

— О! Теперь,— сказал он,— я готов умереть для вас; теперь счастье для нас возможно. Но повторите ваши слова, скажите мне: давно ли и как вы меня любите?..

— Да... я все скажу... я не в силах более молчать,— сказала трепетно аптекарша,— да, я всегда думала о вас... да, я не переставала вас...

В эту минуту дверь настежь отворилась, и толстая служанка, босиком, в затрапезном платье, вошла в комнату, держа в руках два медных шандала с сальными свечами. Рука аптекарши выпала из руки барона. На молодого человека неприятно подействовали сальные свечи и нищенский наряд служанки; но для увлеченной женщины блеск внесенного огня был благодетельным светильником и озарил ей мрачную пучину, в которую ввергала ее безумная страсть.

— Нет... нет, жена,— сказала она дрожащим голосом,— должна быть чиста и непорочна. Обольщение чувств обманчиво, а раскаяние неумолимо... Заклинаю вас всем, что вы любите, не возобновлять нынешнего разговора.

В дверях показался Франц Иванович.

— Теперь я свободен,— сказал он, потряхивая головой.— Я боюсь, что вам было скучно. Не хотите ли пуншику или бостончик составить?

Но расстроенный барон не хотел слушать никаких предложений. Обманутый в ожидании, забыв свои планы, он побежал домой и всю ночь проворочался на кровати. К утру он, коварный светский щеголь, был влюблен в уездную аптекаршу, но влюблен по уши, и без ума и без надежды.

V

А между тем городские обыватели начали толковать да перетолковывать.

— Знаете что,— говорил франт в венгерке на ухо купцу Ворышеву, посещая его в лавке,— Шарлотта-то Карловна наша... гм...

— Быть не может!

— Да и мне кажется странно. Так скажите, пожалуйста, с какой стати барону сиднем сидеть в аптеке? Ведь он надворный советник, к тому же человек с капиталом, даже богатый. А вещи какие у него — просто загляденье! Намедни я еще видел одно изумрудное кольцо, кольцо-то, знаете, маленькое, а изумруд большой — славная штука! Сот пять стоит. Да и в столице, я спрашивал, знаком ли он с министрами, так говорит, что не со всеми, а знаком... Ведь в аптеку хорошо ходить нашему брату время убить, а этакому человеку, кажется, вовсе не черед. Странное дело!

— Совершенная правда-с,— сказал Ворышев и погладил бороду.

— Слышали,— говорил с лукавой улыбкой судья городничему,— слышали, какую наш Франц Иваныч получил обнову?

— Да-с, слышал стороной.

— Какая тут сторона, дело явное. Они открыто живут вместе. Неприлично, совершенно неприлично... Я бы на вашем месте в это дело вмешался. Начальство обязано, как попечительная мать, вникать в нравствен-

ные отношения жителей и указывать на то, чего они должны остерегаться. Ваша обязанность...

— Гм, вы думаете?

— Без сомнения. Вы хранитель городской нравственности.

— Право?

— К тому же наш барон-то, кажется, просто вольнодумец... Он был у вас с визитом?

— Нет.

— Будто?

— Право.

— И у меня не был... Ну, пожалуй, у меня еще ничего, а вы начальник города... А вы к нему ездили?..

— Ездил... почел долгом.

— В мундире?

— Да.

— И он не оплатил за визит?

— Как не оплатил?..

— Ну, то есть сам не явился к вам?

— Нет.

— Да что ж он, в самом деле, о себе думает?.. Право, не худо его проучить.

— А впрочем,— заметил городничий,— я, право, не понимаю, что он нашел в аптекарше? Немочка — и все тут. Вот то ли дело польки! Как мы в Белоруссии стояли, так я на них наглядился: нечего сказать — женщины! Как воспитаны, как танцуют мазурку... Такие все амурчики, что просто из рук вон! Что ж, вы полагаете, мне надо поговорить с Францем Ивановичем?

— А уж это ваше дело. Поступайте как знаете.

— Вот штука,— шепнул исправник заседателю во время присутствия, пока старый секретарь непонятливо гнусил бесконечный и бестолковый доклад,— штука так штука. Просвещение и до нас добирается. Аптекарь продал свою жену за пять тысяч рублей.

— Поторопился,— сказал, подумав, заседатель.— Мог бы получить больше; ну, и то куш порядочный. Есть же людям счастье!..

— Какая резолюция?— спросил секретарь.

— А как ты думаешь?

— Да предать суду и воле божией.

— Я согласен.

— И я тоже.

Исправник и заседатель подписали резолюцию и отправились по домам.

— Ну, матушка, — говорила статская советница Кривогорская бедной дворянке, стоявшей перед ней в голодном почтении, — ну, матушка, слышала?.. Мерзость какая! Пфу!

Статская советница отвернулась и плюнула с негодованием.

— Про аптекаршу, что ли, матушка?..

— Про кого же другого? Ведь есть же этакие мерзавки!

— Поистине, грех великий.

— Что-о-о?..

— Грех, матушка, великий.

— Я не велю ее на двор к себе пускать. А ведь он, матушка, говорят, богатый человек... Много дарит, верно. Не слыхала ли?

— Нет, не слыхала-с.

— Экая ты бестолковая. Никогда ничего не узнаешь. Говорят, собой хорош. Ты его видела?

— Видела.

— Брюнет или блондин?

— Не разглядела хорошенько.

— Что ж ты, слепая, мать моя? Ничего ты таки не знаешь. Ходишь себе болван болваном. Я его дедушку, должно быть, видала в Москве, когда мы с покойником жили на Никитской. Кажется, мог бы вспомнить, что я не бог знает кто; хоть бы плюнуть пришел сюда, так нет. Очень важная особа! Беспокоиться не угодно... Да и хорошо делает. Он уж верно ничего такого у меня не найдет. Экая мерзость! Пфу!!

Несколько дней спустя дрожки городничего остановились у аптеки. Франц Иванович, как человек нечестнолюбивый, поморщился немного от неожиданного визита, однако ж встретил градоначальника с должною почестью.

Городничий, человек доброжелательный, но глупый, принял за дело данный ему совет вмешаться в семейные дела аптекаря.

— Я имею с вами переговорить об экстренном случае, — сказал он важно.

— Чем могу я вам быть полезен? — отвечал аптекарь. — Девичьей кожи у меня нет, а ромашки не осталось.

— Обязанность моя, — продолжал городничий, — не ограничивается только одним полицейским наблюдением. Начальство обязано, как попечительная мать, вникать в нравственные отношения жителей и указывать на то, чего они должны остерегаться.

— Непременно, — отвечал аптекарь.

— Я очень рад, что вы со мною согласны. Мы с вами люди степенные и можем обсудить дело не горячась — не правда ли?..

— Точно.

— В старину было иначе. Я скажу хоть про себя: когда я стоял с полком в Белоруссии — вы знаете, около Динабурга, — я был еще молод, часто влюблялся, могу сказать накутил порядком... Да что за женщины эти польки — загляденье! Панна Дромбиковская, панна Чембулицкая... Наши русские и в подметки им не годятся...

— Да к чему это? — спросил аптекарь.

— Виноват, заговорился. Я хотел только сказать, что я надеюсь, что вы примете как следует то, что я имею вам сообщить.

— О панне Чембулицкой?

— Нет-с, о вашей супруге.

— Об моей жене? — закричал аптекарь таким голосом, что городничий отскочил на два шага.

— Не пугайтесь, это толки, о которых я для пользы вашей хотел вас предупредить.

— Какие толки?..

— Так... ничего... Только многие у нас удивляются... частым посещениям барона в вашем доме... и делают гнусные сплетни... Вы понимаете?.. Я совсем не этого мнения... Но есть признаки. Надобно быть осторожным...

Аптекарь задрожал всем телом.

— Вы видите это окошко, — сказал он задыхающимся голосом, — скажите всем, которые явятся ко мне с подобными предостережениями, что я их вышвырну вон, как негодную стеклянку. Жена моя чиста как голубь... Она выше клеветы, она выше всех низких сплетней, которыми живет ваш глупый город, господин городничий. Если кто-нибудь коснется хоть словом, хоть намеком до ее репутации, то вы видите эти руки... я руками разорву его как собаку, пока у меня будет хоть капля крови! Жену мою оскорбить! — кричал аптекарь. — Жену мою! Да это задеть мое сердце раскаленными щипцами. Да знаете ли, что в сравнении с ней весь ваш город... не стоит прошлогодней пилули. Да я истерзаю, истолку в мелкий порошок всякое животное, которое дотронется только до нее!

В эту минуту аптекарь вырос на два аршина. Го-

родничий пожал плечами и потихоньку выбрался на крыльцо.

Аптекарьша стояла за дверью и все слышала. Когда она отворила дверь, муж ее спокойно уже сидел за конторкой, писал свои счета и потряхивал рыжей головой.

— Что это ты шумел с городничим? — робко спросила Шарлотта.

— Да что, все пристаёт, чтоб я тротуары чинил на свой счет, а из каких доходов?..

Аптекарьшу тронула бескорыстная привязанность ее мужа. Совесть начала ее мучить.

«О! — подумала она. — Отчего мой муж не дурной человек, я была бы спокойнее. Странная моя участь!.. Бедное мое сердце! Я не могу любить человека, который посвятил мне всю жизнь свою, а готова погибнуть для того, который был бедствием моей молодости! Но по крайней мере я не изменю своей обязанности; я остаюсь верна велениям закона».

Три недели прошли в мучительном упоении. Увлеченная обманчивым рассуждением, аптекарша предавалась вполне преступному чувству. С утра смотрела она у окошка, не идет ли вожделенный, и когда он показывался вдали, глаза ее радостно сверкали, и когда шаги его отзывались на крыльце, сердце ее билось, страстный румянец пылал на щеках ее; она была счастлива: и бедный городок, и бедная аптека казались ей раем земным.

А он? Кто вникнет прозорливо во все изгибы человеческого сердца с высокими природными началами, но испорченного от прикосновения света? Он тоже увлекался тайною прелестью восторженного сочувствия. Желая быть Фоблазом, он едва не сделался Вертером. Он был влюблен истинно, влюблен как студент, а хотел рассуждать о любви как лев новой школы. Он стыдился иногда искренности своих чувств и всячески старался возвысить себя до окаменения модного изверга. И любовь — эта чистая капля небесной росы — невольно освежала его коварные замыслы, и обольщенный обольститель, ежечасно прерываемый в своих безнравственных предприятиях, должен был поникать головою, играть в четыре руки и слушать наивные рассказы о прежних подругах, о школьных невинных шалостях, о скромном ручейке девичьей жизни, тогда как воображение его возмущалось кипящим ключом. Тщетно старался он возобновить сцену памятного обеда: аптекарша истощала все женские хитрости, чтоб отклонить признания и страст-

ные речи; и когда он сердился и душевно проклинал свою светскую оплошность, она так очаровательно умела ему улыбаться, она так выразительно глядела на него, что чело его снова прояснилось и надежда вкрадывалась в грудь. Иногда бедный барон нападал на самые разочарующие мелочи жизни; иногда аптекарша выходила к нему с озабоченным видом и засученными рукавами: это значило, что в этот день у нее стирали белье; иногда платье ее уж чересчур оскорбляло моду; иногда она прерывала намеки о вечной страсти и поспешно уходила в кухню взглянуть на жареную баранину, составляющую, как известно, важный предмет губернского продовольствия,— в эти минуты барон бесился на себя, на страсть свою и приказывал Якову укладываться. Потом думал он, что неучтиво же уехать не простясь, и он опять отправлялся в аптеку. Шарлотта сидела задумчиво у окна. В глазах ее отражалось небо глубокого чувства. Она ему улыбалась... Голос ее, звучный, мягкий, отдавался в его сердце, и он снова забывал свою досаду, планы искусного обольщения и сидел и засиживался по-старому, не наглядевшись и не наслушавшись досыта.

VI

Однажды фронт в венгерке посетил барона, как тот только вставал с постели и распечатывал письмо, принесенное с почты.

— Извините, я вам, кажется, мешаю.

— Ничего-с.

— Ну, если позволите... Прикажете подать трубочку.

— Яков! Поддай трубку.

Яков сердито всунул трубку фронту и хлопнул дверью.

Барон прочитал письмо и улыбнулся.

— Из Петербурга изволили получить?

— Да.

— От родственников?

— Нет, от знакомой дамы.

— А! Верно, по-французски?

— Нет, по-русски.

— Ах! Это любопытно; желательно бы знать, как петербургские дамы пишут. Секретов нет-с?

— Никаких.

— Ах! Так позвольте взглянуть.

— Да на что вам?

— Из любопытства-с.

— Читайте, пожалуй.

Франт с жадностью схватил письмо и осмотрел его со всех сторон.

— Как пахнет! — сказал он. — Что за прелесть! Сейчас видно, что из столицы. А в углу это что?

— Герб графини.

— Ах, проказники какие! Чего не выдумают! Бумага с серебром; это графская корона?

— Да.

— Я еще не видывал такой. Очень мило!

Он начал читать.

«Я обещалась писать к вам, но так как письмо — дело опасное, то не взывайте, если я буду вам писать по-русски: оно мѣнее компрометирует, и никто еще, я думаю, не употреблял во зло письма, писанные по-русски. Спасая таким образом конвенансы, я предаюсь удовольствию писать вам. Мы вас очень сожалеем и грустим, что не можем более вас слышать, говорить и шутить, по обыкновению нашему. Что вы делаете в вашей скучной провинции, грозный наш лев? Мы все о вас плачем. Без вас скучно. Вчера мы танцевали на водах, были ужасные фигуры. То ли бывало в старину! Порядочные кавалеры становятся чрезвычайно редки. Вот до чего мы дожили: львицы окружены чуть ли не детьми. Острова совершенно пусты. Всего нас три или четыре женщины. Погода хорошая. Что вам еще сказать? В Павловский вокзал ездят теперь что-то немного. Муж мой уехал в деревню хозяйничать и предлагал мне взять меня с собою. Только я ужасно боюсь провинции и воображаю себе что-то ужасное. Какие, я думаю, там чепцы и шляпки носят — просто надо умереть со смеху, и какие щеголи, всё к ручке подходят, и какие женщины, какие претензии — верно, очень смешно. Приезжайте-ка поскорее да расскажите нам, что вы видели, чтоб было над чем посмеяться, а там, поедemте за границу, в Париж. Я с нетерпением того ожидаю: нам там будет очень весело вместе. Здесьних новостей мало. Ваши знакомые и приятели вздыхают каждый у ног своей красавицы, а я совершенно одна. Может быть, оттого, что вас ожидаю. Смотрите же, с вашей стороны не влюбитесь в какую-нибудь жену этих монстров, которых я видела в «Ревизоре». Мы делали на днях *partie de plaisir*¹, ездили все в русский театр. Право, не так дурно играют. Вооб-

¹ увеселительная прогулка (фр.).

разите, я была в первый раз в жизни в русском театре! «Ревизор», сочинение какого-то Гоголя. Довольно смешно, только mauvais genre¹, как вы себе можете представить. Прощайте и не забудьте, что мы нетерпеливо вас ожидаем. Я жду от вас письма и, как вы обещались, подробного описания карикатур, с которыми вы живете...»

— Прекрасно написано! — сказал с восторгом франт. — Ведь, кажется, ничего, а прелесть! У этих светских людей все это так кстати, так прилажено — что значит манера! И, верно, красавица-с? — продолжал он, лукаво улыбнувшись...

— То есть не дурна, а впрочем...

— Ну-ну-ну, полноте скромничать! Из всего видно, что должна быть красавицей. Да иначе быть не может. Ну, счастье вам-с, господин барон.

— Право, ничего нет особенного.

— Да уж вы, разумеется, не расскажете. А позвольте попросить еще трубочку.

Выкурив еще две трубочки и заметив, что нового ему нечего добиваться, франт раскланялся, улыбнулся и отправился прямехонько в аптеку. Там, по-видимому, все было тихо и благополучно. Шарлотта Карловна сидела у окна и смотрела, не идет ли кто по улице, а Франц Иванович в демикотоновом халате читал старую немецкую газету.

— А я сейчас от барона, — сказал франт. — Какой славный молодой человек!

Шарлотта поспешно к нему обернулась; Франц Иванович кивнул головой.

— Да, человек, кажется, хороший!

— Просто чудо, что за малый! И откровенный, веселый какой! Вообразите, мы уж с ним совершенно подружились.

— Право?

— Знаете что, только, пожалуйста, это между нами: он мне признался, что у него в Петербурге есть кое-какие знакомства — понимаете?.. Гм...

— Неправда! — воскликнула, побледнев, аптекарша.

— Неправда? Вот хорошо! А как же я сейчас читал письмецо... Ну уж письмецо! Нечего сказать, прелесть!

— От женщины? — спросила Шарлотта.

¹ дурного вкуса (фр.).

— От кого же? Да еще от какой!.. Он мне сам признался, что красавица — понимаете? Столичная красавица, не то что наша какая-нибудь уездная.

— А что ж она пишет? — спросил Франц Иванович.

Аптекарьша вся обратилась во внимание и старалась отгадывать то, чего не могла понять.

— Вот в том-то и штука, что пишет. Только, смотрите, чур не пересказывать. Мне-то показано под большим секретом.

— Хорошо, скажите только.

— Во-первых, — сказал таинственно рассказчик, — несколько слов я не понял... Что значит конвенансы?

— Приличия, — сказал аптекарь.

— Ага, вот что! А барон-то, кажется, с дамами мастер своего дела. У! Как они к нему пишут.

— Да письмо... письмо, — сказала умоляющим голосом аптекарьша.

— Как бы припомнить... да... «Я не знаю, как спасти конвенанс...», то есть, известное дело, приличие, «но я предаюсь удовольствию к вам писать. Зачем вы уехали?.. Я о вас плачу... Вы лев...» Вероятно, он с ней поступил не деликатно... «То ли было в старину... Там ходят львицы с своими детьми. Поедьте за границу, там мы будем счастливы...» А?.. Каков?.. Не в бровь, а прямо в глаз, просто похищение!.. Да то ли еще. «В вашей провинции должны быть ужасные карикатуры...» Это о нас, кажется... Неучтиво немножко, да ничего... «Приезжайте поскорее, чтоб было чему посмеяться, а женщины и чепчики у вас там, верно, преуморительные. У других женщин есть свои вздыхатели. Но я вас ожидаю. Не влюбитесь в жену какого-нибудь монстра...» Что такое монстр?

— Чудовище, — сказал аптекарь.

— Это уж я не знаю, на чей счет сказано. «Мы все вас ожидаем...» Каково? О нем там плачут... а он живет себе у нас в уездном городе, как будто наш брат какой; вас иногда навещает, а со мною очень дружен...

Быть может, фронт распространялся с особым удовольствием о мнимых победах барона, досадуя на явную склонность аптекарьши, только рассказ его имел странное окончание. Франц Иванович отозвал его в угол и попросил не посещать более его аптеки, а Шарлотта, бледная, расстроенная, все сидела еще у окна, но не смотрела более на улицу и не двигалась, не говорила, как будто потерянная, в самых грустных размышлениях.

Франт поворчал немного и пошел к исправнику, а от туда к судье рассказывать содержание прочитанного им письма.

VII

Бедная Шарлотта не могла сомкнуть глаз целую ночь. Что она?— бедная, необразованная, ненарядная, порою прачка, порою кухарка, аптекарша, провинциалка перед блистательными дамами в перьях и кружевах, с которыми знаком барон,— минутная забава, игрушка от скуки. Еще и за то ему спасибо, что он снизошел до нее и соблаговолит вымолвить ей несколько ласковых слов. Но все это было шуткой. Где ему любить аптекаршу: он любил даму, у которой на голове брильянты, а на руках браслеты. Она пишет к нему письма; она ожидает его с нетерпением; а как он вернется, то-то они будут смеяться над аптекой, над аптекаршей и над нежной страстью среди ревеню и хины!

Ревность, жгучая ревность начала душить Шарлотту. «Да,— шептало ей воспламененное воображение,— он любит другую... Она не так хороша, как ты: у нее нет ни свежести твоей, ни яркого твоего румянца, ни твоих густых локонов; но мужчины этого не замечают. У нее все роскошь и изобилие, у тебя все бедность и недостаток; у нее цветы в комнате, цветы на голове, везде цветы во время зимы и осени, во время целой жизни; у тебя, вокруг тебя грустные принадлежности твоего сословия, медные деньги, сальные свечи, уездная жизнь, запах аптеки, лохмотья и одиночество... Тебе ли любить знатного господина, которому, как он ни старайся, должна быть противна твоя нищенская жизнь?.. Разве ты забыла, разве ты не заметила, как при виде вашего недостатка чело его хмурится и на устах его выражается презрительная улыбка? А ты, послушная раба, ожидаешь только взгляда, взгляда сострадания, а не любви; и ты забыла свою гордость, достоинство твоего пола, чтоб сделаться посмешищем богатой женщины и предметом шалости светского человека, который всегда презирал твою бедность и постыдился быть счастливым с тобою».

На другой день аптекарша была задумчива и бледна. Франц Иванович посматривал на нее с беспокойством, потчевал ее разными порошками и казался расстроен.

В двенадцать часов, по обыкновению, явился барон. Аптекарша приняла его сухо, не отвечала почти на вопросы

и вскоре скрылась под предлогом домашних хлопот. Барон посердился и ушел домой. Франц Иванович молчал.

На другой день то же; на третий то же; аптекарша бледна и задумчива; ни разу она не улыбнулась, ни разу не вздохнула. Во взоре ее было что-то холодное, мертвое, страшное. Франц Иванович молчал.

Прошла неделя; был вечер; барон, поддерживая голову рукою, сидел в грустном раздумье. Холодность аптекарши лучше всякого умышленного кокетства усилила его страсть. Коварные замыслы исчезли. Он просто любил, как любят молодые люди, пламенно, без покоя, без сна, с малой надеждой и безмерным отчаянием.

Быстрая перемена Шарлотты была для него непостижима. Одна минута объяснения — и все могло бы поправиться, но теперь, как нарочно, проклятый аптекарь ни на шаг от жены не отходит.

Вдруг он поднял голову. Дверь скрипнула. В комнату вошел Франц Иванович.

— Вы здесь?

Франц Иванович был немножечко бледен.

— Я, — сказал он, — пришел к вам, барон, за довольно важным делом. Вы у нас в городе по службе?

— По службе.

— Ваше поручение кончено?

— Кончено.

— Так зачем же вы у нас живете?

Барон смутился.

Аптекарь сложил руки и продолжал:

— До меня дошли гнусные сплетни, на которые я отвечал как следовало. Я так уверен в своей жене, что не оскорблю ее подозрением; однако в маленьком городке злоумышленный слух может иметь самые неприятные последствия, и это-то я обязан отвратить.

— Вам угодно сатисфакции? — сказал, подумав, барон.

— Сатисфакции? — отвечал с достоинством аптекарь. — Не стыдно ли вам, господин барон, и вымолвить такое предложение! Я не студент более и не светский человек. Вы думаете, что для личного неудовольствия, прискорбного лишь моему самолюбию, я готов погубить всю будущую участь своей жены или позволю вам играть со мною в великодушие. Нет, барон, мы с вами уже не мальчики. Я за другим делом пришел к вам.

— Что же вам угодно?

— Поезжайте в Петербург.

— Хорошо... через несколько дней...

— Нынче же...

— Не могу, право...

— Не можете?

— Нет...

— В таком случае мы можем сесть, и я вам расскажу маленькую историю. В одном городке жил добрый старичок профессор. У него была единственная дочь... К ним вкрался в дом один бессовестный молодой человек...

— Позвольте! — закричал барон.

— Не перебивайте моей истории. Да, этот молодой человек был без совести, потому что, зная, что он не женится на девушке, он не должен был волновать ее неопытное сердце, не должен был вводить доверчивого старика в заблуждение, не должен был играть своими природными достоинствами и жертвовать для своей забавы спокойствием целого семейства...

Барон опустил голову.

— В том же городке жил другой молодой человек, не блистательный, без состояния, без красивой наружности. Не имея блестящей будущности, он трудился неутомимо, чтоб со временем достать себе кусок хлеба... Но и у него было, может быть, сердце молодое, и он мог любить... ну, да не в том дело... Только он ничего не ожидал и ничего не надеялся — понимаете?.. Теперь буду говорить без обиняков. Когда вы уехали, все в городе знали, что Шарлотта вас любила. Все думали, по простым нашим понятиям, что, быв как жених в доме, вы скоро приедете к свадьбе. Но я один вас разгадал и пошел знакомиться с профессором. Старик мне рассказал, как он вас любил, как он надеялся и как обманулся. Я предложил ему ехать в Петербург узнать, есть ли еще надежда на ваше возвращение... Я отправился. В то время вы волочились за княжной Красносельской...

— Как, вы знаете? — воскликнул барон.

— Знаю. Она вам отказала. Но для Шарлотты не было надежды. Тогда я на ней женился. Только, видит бог, я не докучал ей страстью, которой она не могла разделять. Я поклялся только быть ее защитником и хранителем. Отец ее умер. Я перевез ее сюда, думая, что ей будет слишком больно оставаться на месте, где столько для нее грустных воспоминаний... Но она все была печальна и несчастлива. Это меня убивало. Вы не знаете, что значит казаться всегда беззаботным и веселым и таить тяжелое горе на душе. Вдруг вы приехали. Я думал, что, если

жена моя вас все еще любит, мне останется убежать куда-нибудь... потому что я все готов отдать для ее счастья. Или если узнает она, до какой степени вы принадлежите большому свету, то она снова может обрести душевный покой. Так живу я с вашего приезда, не требуя, но ожидая признания. Нынче она мне все рассказала; она просила у меня прощения и защиты, как будто она виновата, как будто я ничего не знал. Она поручила мне — слышите ли, она сама мне поручила вам сказать, что она просит вас удалиться, потому что между светским щеголем и бедной аптекаршей не должно быть ничего общего. Извините меня, если я вас огорчаю, но я исполняю долг свой. Неужели вы не исполните своего?

— Яков! — закричал барон. — Ступай на почту за лошадьми.

Несколько минут ни тот, ни другой не могли вымолвить слова.

— Спасибо вам, — сказал наконец аптекарь. — Вы, однако ж, добрый человек. Свет вас не совсем еще испортил.

— И вы еще меня благодарите! — с чувством отвечал барон. — Вы, перед которым бы я должен был поклониться с благоговением.

Станный разговор их принял тогда другое направление. Они начали вспоминать университетские годы, своих общих товарищей, свою общую любовь. Они были как два человека, которые видят друг друга в первый раз. Аптекарь было жаль барона, а барон, пораженный высокой простотой аптекаря, в благородном порыве чувства признавал все свое ничтожество. В эту минуту между ними было что-то братское, потому что оба были готовы пожертвовать жизнью для одной и той же женщины. Долго говорили они о прошедшей молодости, о старом профессоре, о коленкоровом платице, об окне с занавеской и о горьком опыте жизни, а между тем Яков радостно перетаскивал чемоданы и пристегивал ремни к дорожной коляске.

Наконец лошади приведены. Все готово. Барон и аптекарь обнялись.

— Поклонитесь ей, — сказал, заплакав, барон.

— Не забывайте нас, — отвечал печально аптекарь.

Они еще раз обнялись.

Кучер махнул кнутом. Коляска покатила.

Когда аптекарь возвратился домой, жена его, бледная, покрытая распущенными волосами, стояла на крыльце

со свечой в руке и трепетно ожидала возвращения его.

— Ну, что?— спросила она глухим голосом.

— Уехал,— отвечал задумчиво Франц Иванович.— Теперь ты будешь спокойна.

— Уехал!..— протяжно сказала аптекарша.— Уехал!..

Свеча выпала из руки ее, и она без чувств покатилась на пол.

Прошел год. В русском городке мало перемены. Гостиный двор нагнулся еще более. Кое-где еще несколько крыш развалилось. Ходить по тротуарам стало невозможно.

Однажды утром знакомый нам господин в венгерке, посидев в лавке купца Ворышева, попробовав нового черносливу и старых пряников, пошел к почтовому двору узнать, нет ли проезжающих. Попрыгивая по грязным тропинкам, он заметил идущего к нему навстречу человека. Первым взглядом опытного провинциала он заключил, что встречный не из городских, а вторым — что он ему не совсем незнаком. Он подошел поближе и вдруг остановился.

— Ба!.. Барон!

— Здравствуйте.

— Что, вы опять к нам?

— Нет; я только проезжаю.

— А коляска ваша?

— Она у почтового двора. Лошадей запрягают, а пока я пошел прогуляться.

— Так-с... Какой хорошенький у вас платочек носовой! Фуляровый, что ли?

— Да.

— Ах! Позвольте взглянуть. Очень мило!

Барон вдруг остановился и побледнел.

— Скажите, пожалуйста,— спросил он трепетно,— отчего в аптеке снята вывеска?

— Как, вы разве не знаете?

— Нет.

— У нас аптеки нет больше.

— А Франц Иваныч?

— Переехал в губернский город.

— Право? Отчего ж?

— Да так, после несчастья не хотел оставаться.

— После какого несчастья?

— Как, вы и этого не знаете?

— Нет.

— Шарлотта-то Карловна...

— Ну?..

— Долго жить приказала.

— Умерла?!

— Да вот никак уж четвертый месяц. А я думал, что вы это знаете. Да, умерла бедняжка. Ведь, помните, хорошенькая была! Хоть бы в столице: сказали бы, что хорошенькая, право.

— Она долго была больна?

— Месяцев восемь. Муж, бедный, не отходил от нее ни на шаг. Да что тут делать? Против чахотки нет средств. Вы пробудете день с нами? Городничий наш женился на польке. У него можем отобедать. Знаете что? Странность какая! С тех пор как он женился, он совсем перестал хвалить полек — такой, право. Пойдемте к нему.

— Нет, нет! Я спешу в Петербург. Прощайте!

Из-за угла показалась дорожная коляска.

НЕОКОНЧЕННЫЕ ПОВЕСТИ

Быть так! спасибо и за то.
Баратынский



то знает Ивана Ивановича или, лучше, кто не знает Ивана Ивановича? Его, верно, все видели и привыкли видеть и, вероятно, никому не пришлось в голову спросить, кто он такой. Таких людей много. Какое кому дело до человека без связей и денег? В обществах Иван Иванович, разумеется, не бывает, но на Невском проспекте он гуляет аккуратно от двух до четырех часов, какая бы ни была погода. В театре и в концертах он также лицо неизбежное, отчего он и пользуется в мнении многих не весьма лестною известностью, хотя в самом деле он только страстный любитель музыки. Даже некоторые молодые люди утверждают решительно, что он игрок и притом самый опасный шулер, выжидающий добычи, тогда как бедный мой Иван Иванович отроду не брал и *карт* в руки. Иван Иванович одет всегда литератором, то есть очень дурно, гуляет в епотовой шубе, носит широкие черные фраки и длинные белые жилеты и, как видно, мало заботится о своем наружном украшении. Вообще он слывет человеком опасным, потому что хотя ничего не имеет, но ничего не ищет и не просит. Те же, которые знают его коротко, любят его от всей души, потому что он в самом деле просто добрый человек.

Я с ним иногда встречаюсь, и люблю слушать резкие его суждения о произведениях нашей литературы. Суждений этих я не повторю здесь, чтоб никого не обидеть, но в них, как отгадать не трудно, мало утешительного. Вообще разговоры наши касаются до жалкого состояния у нас искусства, которое не вкоренилось еще в жизнь народную, не составляет необходимой потребности, а большею частью служит для изворотов жалким барышни-

кам; тогда как истинное дарование, изнывая под бременем ненасытного самолюбия, иногда погибает в тени или спивается с круга.

Иван Иванович судит вообще резко и решительно; со всем тем невозможно назвать его положительным человеком; напротив, когда нет свидетелей и разговор касается до чувства, Иван Иванович изумляет меня тонким разложением малейших сердечных оттенков, и тогда этот человек, по-видимому бездушный, совершенно преобразовывается: речь его становится свободнее, душа как будто выглядывает из сверкающих глаз, и нетрудно догадаться тогда, глядя на него, что под этой бесчувственной корой бьется сердце, способное к самым глубоким впечатлениям. Но что заставило это сердце сжаться и съежиться под личиной равнодушия? что заставило бедного холостяка вести такую однообразную жизнь и пренебречь глупыми о нем толками? — вот что хотелось мне узнать.

Недавно обедали мы вместе у madame Joseph. Madame Joseph отлично кормит своих приятелей. После обеда мы оба закурили сигарки и, развалившись на диване, начали разговаривать о том, как молодость утрачивается безвозвратно, оставляя нам лишь одно раскаяние, что мы не умели ею воспользоваться.

— Эта песня давно поется, — сказал Иван Иванович, — и никто от нее не поумнел. И я, как все...

— Кстати, — прервал я, — мне давно хотелось расспросить вас о вашем былом. Знаете ли, теперь, пока мы курим, расскажите-ка мне повесть вашей жизни.

Иван Иванович немного призадумался.

— Жизнь моя, — отвечал он печально, — не может назваться повестью, а разве собранием отдельных неоконченных повестей.

— Как неоконченных?..

— Именно неоконченных. Не знаю, много ли людей могут похвалиться тем, что светлые случаи их жизни достигли всего своего блеска и потом уже мало-помалу начали скрываться в тумане, бросая еще изредка яркие отблески? Со мною было иначе. Романы мои только заманивали мое сердце и потом вдруг прерывались при самой завязке.

— Отчего же так? — спросил я.

— Отчего? Сам не знаю; от случая, от игры обстоятельств. То светское приличие, то нежданная разлука, то собственная оплошность, то смерть все уничтожающая

отдаляли меня навек от светлой цели моих желаний. Иногда одно слово могло бы мне дать блаженство, но слово это, уже готовое на устах, не выговаривалось, и осеняющее уже меня счастье отлетало навеки. Иногда самые ничтожные случаи, забытый визит, короткая поездка, минутная простуда, вздорный поклон, пустой разговор, взгляд один отдаляли жизнь мою навсегда от радостно принятого направления. Вы скажете, что я сам в том виноват. Может быть; но зато я жестоко был наказан, потому что каждая порванная струна моего сердца болезненно отдавалась в целом существе моем: словом, оно, может быть, глупо, только и грустно тоже. Все повести мои остались без конца.

— Как, неужели ничего от них не сохранилось?

— Сохранилось какое-то странное чувство, неопределенное сознание утраченного счастья, сознание горестное, но и сладкое в то же время, похожее на воспоминание о шутиливом и веселом друге над его могилой.

— Не понимаю, — сказал я вполголоса, хотя, по странному сочувствию с моим собеседником, какая-то невольная тоска начала сжимать мое сердце, — не понимаю, Иван Иванович.

— Как не понимаете? Припомните вашу молодость, тогда не трудно вам будет понять.

— Всего будет лучше, Иван Иванович, если вы расскажете мне повесть... нет, я хотел сказать, начало какой-нибудь повести из вашей жизни.

— Извольте... Только с чего начать?

— Начните сначала.

— Ну, так я начну с моей студентской жизни.

Я немного поморщился. Иван Иванович улыбнулся.

— Вам надоели студентские истории, — заметил он. — Будьте покойны: я не намерен обременять вас описанием немецкого студенчества, а только, по желанию вашему, разверну перед вами первую страницу теперь уже оконченной книги моего сердца.

Я учился в Гейдельберге. В одном доме со мной жили еще двое русских молодых людей, два брата из Харькова. Мы жили дружно, сидели рядом на лекциях и проклинали вместе картофельный суп и черствые котлеты, которыми казнил нас каждый день ничем не умолимый трактирщик. Старшего брата звали Федором. Он был большой оригинал. Играл целый день на скрипке, терпеть не мог надевать калош и три раза в неделю аккуратно бегал на почту узнавать, нет ли для него писем, хотя писем, сказать

правду, он не получал никогда. Такая уж у него была привычка. Впрочем, он был малый тихий и смиренный. Брат его, Виктор, имел мало с ним сходства. Шум и разгулье были его стихией. Помучить ли толстого ремесленника, опикать ли профессора, разбить ли где окна, прокричать ли виват, затеять ли пирушку, рубиться ли, напиться ли, танцевать ли в клубе — Виктор везде был первый; всегда готов, всегда весел. Бывало, голос его раздается во всю площадь и старые студенты весело на него поглядывали, шушукая между собой: «Экой неугомонный!» И молодые девушки приветно ему улыбались, невольно вздыхая о том, что он чаще посещает холостые пирушки, чем их безгрешное общество. Впрочем, оба брата были свойства благородного, не только добрые малые, но добрые люди, и я их полюбил искренно, тем более, что они были русские и что они, как и я, на самом рассвете жизни были отчуждены от всего им близкого.

Мы жили в смежных комнатах. Как теперь помню, однажды сидел я дома нездоровый и расстроенный. Мне было грустно. На дворе была осень. Небо было серое, ветер выл печально, и мелкий дождик стучал в окна. За дверью сосед мой, Федор, немилосердно играл на скрипке какие-то вариации Майзедера. Никогда не забуду я особенно четвертой вариации, которая, несмотря на все усилия и старания, все выходила как-то весьма неудачно. Надобно вам знать, что вариации эти я терпеливо слушал каждый день по несколько часов и уверен, что во всю жизнь свою я не принес дружбе большей жертвы; но на этот раз хандра до того мною овладела, что терпение мое рушилось.

— Федя, — закричал я, — ты верно забыл, что нынче почтовый день.

— В самом деле, — сказал Федя, — как это я забыл? Почта верно уж пришла.

Скрипка мигом уложилась в футляр, и вот мой Федя в лайковых сапожках, которыми он, между прочим, очень щеголял, быстро бросился из комнаты и пошел себе попрыгивать под дождем по грязи гейдельбергских улиц.

Я остался один, в печальной задумчивости. Мне было грустно, как бывает грустно в двадцать лет, когда сомнение начинает колебать надежду. Я не знал, чего ожидать мне в жизни, и начинал бояться уж того, что не доживу до светлой отрады понятой любви. Тяжело в молодые годы испытать одиночество, в то время, когда всякая

привязанность так чиста, так возвышенна и священна. После не то уж: душа как бы стареется вместе с телом и чистый родник наших чувств тускнеет мало-помалу от грязного прикосновения жизни.

Через полчаса дверь с шумом распахнулась, и Федор вошел ко мне торжественно, с сияющим лицом. Напрасно старался он скрыть восторг свой под личиной важного равнодушия: я разгадал его мигом.

— Ты получил письмо, — сказал я.

Федор не мог удержать невольной улыбки и с значительным видом человека, озабоченного обширной корреспонденцией, показал мне тоненький пакет с женским почерком на адресе.

— От кого это?

— От сестры, должно быть.

«Счастливым человек, — подумал я, — у него сестра». Федя медленно распечатал письмо и начал читать. Я глядел на него и чистосердечно ему завидовал.

— Который ей год? — спросил я снова.

— Кому?

— Да сестре твоей.

— Семнадцать лет. Не мешай только, пожалуйста, братец, ты ведь видишь, что я занят.

— А что, она хороша собой?

— Ну, хороша. Какое тебе дело? Надоел с вопросами!

— Глаза у нее черные?

— Черные, только отвяжись.

Семнадцать лет и черные глаза. Какой молодой человек устоит против такой очаровательной мысли. Я не вытерпел.

— Федя, что она пишет?

— Ну, так слушай же, — отвечал он с притворной досадой, потому что в самом деле ему очень хотелось похвастать передо мною своей перепиской.

Федя начал читать письмо. Оно было наполнено прелестным вздором. В нем выражались все полудетские впечатления молодой беззаботной девушки. Она была на каком-то бале, кажется, в Москве в Дворянском собрании. Ей было так весело, как она еще и не запомнит. Платье на ней было розовое и очень к лицу, да и цветы на платье были такие, что лучше ни на ком не было. На все танцы без исключения была она ангажирована, а мазурку танцевала она с пресвеселым кавалергардом. Сказать правду, она тут немного похитрила. Ее уж заранее приглашал богатый помещик Хохлин. Только Хохлин этот такой дерзкий, лицо у него такое гадкое, что она

его обманула и сказала ему, что она уже прежде дала слово другому. Разумеется, таким образом поступать не следует, и совесть ее немножечко мучила; только виновата ли она, что у Хохлина наружность такая противная? Затем следовало подробное описание московских удовольствий, московских франтов, оригиналов и красавиц. Через несколько недель она снова уезжала с отцом в Харьков, но до того времени много еще предстояло веселья.

Все это на меня сильно подействовало.

Представьте на убогом чердаке двух молодых людей, наклоненных над столиком и с жадностью читающих все мелочные подробности радужной светской жизни.

Странная мысль зашалила у меня в голове.

— Ты будешь отвечать? — спросил я.

— Разумеется, буду, сегодня же.

— Знаешь что, Федя, поклонись сестре от меня.

Федя вытаращил глаза.

— Что ты врешь, братец, с какой стати?

— А с той стати, что я твой товарищ, что мне скучно, что она улыбнется от моего поклона, а мне это будет приятно. Скажи ей, что ты не один скучаешь на чужбине, а что у тебя есть приятель, который скучает с тобой вместе, даже когда ты не играешь вариаций Майзедера. Скажи ей, что твой товарищ читал ее письмо и от души желает ей еще долго, долго тешиться и розовым платьем и мазуркой с веселым кавалергардом.

Федя был добрый малый. Он меня понял и принялся писать, громко смеясь над своей шалостью. Ответ отправлен.

С тех пор, я вам должен признаться в своей глупости, семнадцатилетняя девушка с черными глазами, в розовом бальном платье, неотлучно рисовалась в моем воображении. Я вглядывался в нее очами души, и тихо ею любовался, и говорил ей невыговариваемые речи. Если вы были молоды, вы меня поймете, и поймете тоже, с каким ребяческим волнением и страхом я ожидал моего соседа, когда, по принятому обыкновению, он бегал на почту узнавать, нет ли для него письма.

Между тем студенческая жизнь шла своим чередом. Я сделался верным спутником Виктора и с чувством братской дружбы всюду следил за его проказами. Только мало-помалу я заметил в нем странную перемену. Необузданная его веселость становилась как-то принужденна. Он все еще бил стекла и пил с товарищами, но

уж без прежнего разгульного вдохновения. Зато каждый вечер водил он нас к одному серенькому домику с зелеными ставнями. Там, притаившись у забора, когда все безмолствовало вокруг и добрые немцы спали немецким безмятежным сном, мы начинали петь страстные серенады, и только дрожащий огонек или легкий шорох спущенной занавески обнаруживал нескромно, что наше пение не пропадало даром. Виктор был влюблен. Это не трудно было отгадать, потому что он пел с большим выражением. В сереньком домике жила белокуренькая девушка, с большими голубыми глазами, дочь небогатого помещика. Как-то встретились они на академическом бале. Знакомство их было самое неромантическое. Он трепетно пригласил ее на английскую кадриль. Она, краснея, согласилась. Он говорил мало и несвязно. Она едва отвечала. Оба танцевали очень неловко, и оба не спали целую ночь. Такова первая любовь. Скоро сделался я наперсником Виктора и, напевая серенады под окнами его Беллы, советовал ему познакомиться с ее отцом. Он долго колебался и не смел решиться на столь отважный подвиг; наконец в один воскресный день трепетно натянул белые перчатки и в черном парадном фраке утром ровно в двенадцать часов отправился с церемонным визитом к доброму толстяку, родителю своей возлюбленной. Там приняли его ласково и накормили весьма плохим обедом. Виктор прибежал домой в полном восторге, и не прошло месяца, как он исчез уж из нашего буйного круга, а сидя смиренно подле голубоокой своей красавицы, намазывал тонкие бутерброды и наигрывал с большим чувством на дребезжащих клавикордах последнюю мысль Вебера. В другое время я бы неумолимо над ним посмеялся, но так как я сам не чувствовал себя совершенно безгрешным, в особенности перед ним, то начал чистосердечно принимать участие в его страсти, и долго засиживались мы до полуночи, толкуя о совершенствах его Беллы и о будущих замыслах и надеждах. Главное препятствие его счастью будет отец его, ставящий богатство выше всего; но чего не одолеет сильная страсть и твердая воля? Белла бедна, правда, но зачем богатство, когда есть счастье, и что значат деньги и как жертвовать светлым упоением любви для мелочных условий жизни? Впрочем, я думаю, вы эти детские рассуждения знаете наизусть.

— Увы! — сказал я. — Иван Иванович, теперь у нас и дети так не рассуждают.

Иван Иванович продолжал:

— Наконец вижу я однажды из окна, что Федор бежит по площади и издала машет мне письмом. Сердце мое вздрогнуло, как будто пред каким-нибудь важным событием. Письмо мигом распечатано. Я точно как бы ожидал решения своей судьбы. Молодая девушка бранила своего брата за то, что он показал ее необдуманное маранье, и грозилась не писать более; однако ж второе письмо было длиннее первого и слог письма был изысканнее и почерк красивее. За поклон мой она была благодарна, жалела о нашей скуке и о том, что ее не было с нами, чтоб развеселить наше одиночество. Меня благодарила она еще за дружбу к ее братьям и желала очень со мной познакомиться, надеясь, что встретимся приятелями. На днях уезжала она снова в Харьков. В Москве ей было очень весело, только под конец ей надоедал Хохлин, который, как она слышала, человек скупой, злой и гадкий, несмотря уж на то, что дурен как смертный грех. В заключение она снова мне кланялась и просила не оставлять ее любимых братьев. Вы можете себе представить, с каким жаром, с какою радостью я отвечал ей, что поручение ее свято будет исполнено и что в минутах безотчетной скорби мысль о ее участии будет моим лучшим утешением. Следствием этого было то, что между братом и сестрой вдруг завязалась жаркая переписка, и Федор мой уже не робким голосом ходил просить у почтмейстера сомнительного письма, а, горделиво подняв голову, являлся уж с положительным требованием. Каждый почтовый день приходил он ко мне с драгоценной добычей и, в счастливом расположении духа, беспощадно пилил свою скрипку несколько часов сряду. Таким образом между мной и неизвестной мне девушкой установилось постепенно какое-то странное, безыменное отношение. В каждом письме брата ее к ней я высказывал ей часть своей души, а она в ответах то, как развивающаяся женщина, давала волю своему нежному воображению, то, как балованное дитя, мучила меня шутками, колко издеваясь над моей восторженной речью. Иногда мы спорили, даже ссорились, будучи различных мнений, но тогда я просил прощения, и меня прощали, признавая, что я прав. Федор смеялся над нашей шалостью, не подозревая, что эта шалость сделалась заботою моей жизни. Тщетно уверяла она меня, что я воображаю ее лучше, чем она в самом деле, что при свидании с ней я буду неприятно разочарован — сердце мое

привыкло о ней думать. Не знаю, можно ли назвать любовью то, что я чувствовал, знаю только, что в душе моей не было более пусто; помню только то, что я терпеливо слушал восторженные бредни Виктора и понимал его бессмыслицу.

Виктор тайно мне признался, что он любим. Не знаю, как они объяснились; кажется даже, что они не объяснились вовсе, а так поняли друг друга. Вы знаете, в молодые годы не нужно красноречия: одно слово, один взгляд, одно пожатие руки, одно невольное движение — и тайна сердца обнаружена без опасения и страха, а с одним лишь светлым сознанием долго-ожиданного блаженства. Я радовался счастью Виктора, а сам с трепетом ожидал каждого почтового дня.

Однажды Федор прибежал ко мне с радостным известием. Сестра его объявляла нам, что она отправляется с больной теткой за границу и скоро надеется обнять своих братьев. Тут, по обыкновению, была и для меня приписка, на этот раз только более церемонная, чем прежние, так как она предвещала скорое свидание; но и в этом холодном тоне была для меня какая-то новая особая прелесть. Сношения наши перестали быть шалостью. Знакомство, давно желанное, должно было скоро осуществиться. Я был счастлив до безумия. Я только и думал, как бы хорошенько ее встретить. Она любит танцевать — мы устроим бал на славу, такой бал, какого в Гейдельберге еще не бывало. Надо было позаботиться о ее квартире. Тетка женщина больная — для нее мы отведем комнату, откуда не слышно будет студентского шума. Племянница ее, верно, любит цветы — мы всю ее комнату украсим цветами, а когда она будет засыпать ночью, мы так согласно и так тихо будем петь наши серенады под ее окном, что, верно, она и вздохнет и улыбнется засыпая... Много наготовил я в голове славных праздников и страстных стихов для ее приема. Только дни уходили, и опять за ними другие дни... и не было более слуха о вожденном приезде. Я все еще надеялся, потому что письма прекратились, но надежда моя скоро рушилась.

Однажды Виктор вошел ко мне бледный и расстроенный. Губы его дрожали. Он сел молча на кожаный мой диван и так странно взглянул на меня, что я ужаснулся.

— Не больна ли Белла? — спросил я.

— Нет, здорова.

— Не уехала ли?

- Слава богу, все по-прежнему.
- Так отчего же ты так расстроен?
- Так... ничего... неприятность.
- Какая же?.. Если можно, я помогу тебе.
- Ты не можешь тут помочь. Я завтра еду в Харь-

ков.

- В Харьков? Зачем?..
- Спасти сестру.
- Сестру спасти... от кого?.. от чего?.. И я поеду с тобой... Скажи только, что случилось. Ведь она должна была приехать сюда с теткой.
- Тетка умерла.
- А сестра твоя?
- Выходит замуж.
- Против воли?
- На, читай,— сказал Виктор и, бросив мне измятое письмо, побежал прощаться с Беллой и провести с ней последний вечер.

«Братья мои (писала бедная девушка), помогите мне. Спасите меня. В вас единственная моя надежда. Мне рано еще умирать. Мне жить еще хочется. Я от жизни надеялась так много хорошего — и все так рано должно погибнуть! Я не переживу своего несчастья. Батюшка выдает меня замуж за Хохлина и слушать не хочет отказа. Я плакала у ног его, я просила его не губить дочери — он посмеялся только надо мной.— «Хохлин богат,— говорит он,— поживете вместе, привыкнешь, слюбится». — «Батюшка, да я ненавижу его, да он дурной человек. Я чувствую, он убьет меня». Батюшка разгневался. «Твое дело,— закричал он,— слушаться. Я дал слово, а двух слов у меня нет. Сегодня же сговор». Братья! меня помолвили, силою помолвили... Я умоляла Хохлина отказаться от меня, и он только что смеется. Брильянты мне какие-то прислал. Он верить не хочет, что я его ненавижу. Что ж мне делать? Кого просить? Кто заступится за меня?.. Я погибла, погибла, если вы не умолите батюшку. Если вы меня любили, если вы меня любите, не дайте погибнуть вашей сестре».

Как все люди решительные, Виктор не думал долго: на другой день он ехал в Харьков. Напрасно Федор и я собирались ехать с ним вместе. «Оставайтесь с Беллой,— говорил он.— А на меня положитесь: не выдам сестры; я один слажу с этим человеком. Или я убью его, или он меня убьет, а уж сестра моя не будет за ним»

Со всем тем видно было, что он старался скрыть свою неодолимую тоску. Хотя он и был твердо намерен возвратиться, но все-таки ему невыразимо больно было расстаться с избранной своей невестой. Рано утром мы проводили его до первой станции. Повозка наша промчалась мимо знакомого нам домика. Ставни были затворены. Казалось, что какая-то мертвая тишина в нем водворилась. Виктор все глядел на него пристально, пока он не скрылся из глаз. Тогда заметил я, что Виктор плачет. На станции мы расстались.

Прошло несколько месяцев. Ни от Виктора, ни от сестры его не было известия. Бедный мой Федор аккуратно бегал три раза в неделю на почту, справлялся, нет ли для него писем, и всякий раз тихо возвращался домой, опустив голову и с пустыми руками. Грустно брался он тогда за свою скрипку и начинал твердить четвертую вариацию Майзедера, но уже не с прежним старанием и рвением, а как-то вяло и рассеянно. И я уже не сердился более на него за его несчастную страсть к музыке, а терпеливо прислушивался к диким звукам его скрипки, которые как-то странно согласовывались с расстроенным положением души моей. Белла долго грустила и уехала с отцом в деревню.

Жизнь моя становилась несносна. И разгулье и ученье — все мне опротивело. Наконец я получил от родителей приказание возвратиться в Петербург. Жаль мне только было расстаться с Федором, жаль даже его скрипки, в которой было для меня что-то родное, а ему так еще было тягостнее расставаться со мною.

В Петербурге, я вам должен признаться чистосердечно, я совершенно рассеялся. Столичная жизнь закидала меня тревожными заботами. Все было для меня ново: и роскошь домов, и любезность дам, и заманчивость театров, и вся светская жизнь, посвященная лишь на удовольствие настоящей минуты. Я, как следует, вступил сперва в службу, потом оделся щеголем и начал любезничать. Я был молод, хотел нравиться, имел состояние, и потому меня ласково принимали, и я очень тому радовался, не понимая, что с каждым успехом в большом свете я терял немного своей душевной чистоты и непорочности.

Однажды на каком-то бале, где я танцевал с исступлением щеголя, начинающего прославляться, меня поразил вопрос одного из моих новых приятелей:

— Вы, кажется, учились в Гейдельберге?

— Да.

— Скажите, пожалуйста, не был ли у вас там товарищ какой-то Виктор?

— Разумеется, был. Где он теперь?

— Да он в Петербурге.

— Здесь?

— Он живет у меня в доме, там, на самом верху. Он часто про вас спрашивает. Жалкая история. Вообразите, его как-то дорогою опрокинули с повозкою в озеро. Бедняк простудился и теперь лежит у меня в злой чахотке. Оно для меня неприятно потому, что я не люблю покойников. Вы сделаете доброе дело, если его навестите.

На другой день утром я вскарабкался по узенькой черной лестнице до квартиры Виктора. Я нашел его в маленькой комнате с одним окном, без занавески. Он лежал на бедной кровати и тяжело дышал. Сестра милосердия подавала ему лекарство. Бедный Виктор! Я не узнал его. Где прежняя буйная отвага? Глаза его ввалились и сделались мутны. Лицо было страшно бледно и искажено. Смерть веяла уж над ним и касалась его своими холодными крыльями. При моем появлении что-то похожее на улыбку промелькнуло на его устах. Он меня узнал и судорожно пожал мне руку.

— Бедная сестра! — сказал он с усилием.

— Тебе кланяется брат твой Федор, — проговорил я горестно.

— Ты видел Беллу?

— Все хорошо по-прежнему. Все ждет тебя. Выздоровливай только скорее.

Больной перекрестился.

— Теперь все кончено, — прошептал он.

— Не извольте говорить: доктор запретил, — сказала сестра милосердия.

Он взглянул на нее с покорностью и снова пожал мне руку.

Долго, долго сидел я у изголовья его и с каким-то мрачным любопытством глядел на тяжкую борьбу сильной природы с неумолимым недугом. Наконец мне стало страшно. Я убежал домой, прося, что, если с ним будет хуже, за мной бы тотчас прислали. Ночью меня разбудили. Я наскоро оделся и отправился к нему. На лестнице мне встретился священник с дарами, который уже выходил от умирающего.

— Ну что? — спросил я трепетно.

— Отходит...

Никогда не забуду этой картины: в комнате было почти совершенно темно. Виктор сидел на креслах, скрестив руки свои на стол, на котором положена была подушка. Голова его качалась, как маятник, сверху вниз, и тяжелое дыхание вытеснялось стонами из груди его. За ним несколько человек, как черные образы, стояли в тени. В комнате все безмолвствовало и только слышно было страшное хрипенье умирающего. И вдруг стало оно еще крепче, еще страшнее. Последняя вспышка жизни потрясла все члены страдальца; потом он начал мало-помалу успокаиваться, промежутки между стонами сделались продолжительнее, стоны начали утихать, утихать, и голова осталась неподвижна на подушке. Все было кончено. Мы стали на колени и начали молиться.

Через три дня мы похоронили Виктора на отдаленном кладбище, и так окончилась внезапно поэтическая повесть его молодости.

Смерть его сильно на меня подействовала: я сделался вдруг равнодушен ко всему, что прежде мне казалось так заманчиво. Я понял всю суетность жизни и долго не мог постигнуть, как можно чего-нибудь надеяться или желать на земле. И в самом деле, к чему ведут все эти напрасные мучения, которыми затрудняем свой путь, когда мы сами без воли и без силы увлекаемся всесокрушающим потоком? Я стал глядеть на все с холодным отращением. На всех лицах, веселых и болтливых, я высматривал лишь отпечаток смерти. Красавиц, которые мне очаровательно улыбались, я воображал безобразными остовами, и вся земля казалась мне огромной могилой. Так проходили дни мои. А ночью, когда мучила меня бессонница, мне казалось, что умирающий товарищ сидит у моей кровати, скрестив руки на стол, и медленно качает головой; глаза его мутно на меня устремлялись, и в тусклом их взоре выражалась какая-то бессильная жалоба, какой-то неясный упрек, живо напоминавший мне о жалкой участи сестры его.

Такое положение становилось нестерпимо; я решился рассеяться во что бы то ни стало и просил откомандировки. Мне предложили ехать в Одессу, и я с радостью принял предложение. Дорога была через Харьков.

Я наскоро снарядился в путь, как будто предвидя, что мое присутствие могло кому-нибудь быть нужно. Я ду-

маю, никогда жених, трепетно ожидаемый, не спешит так к своей невесте, как я спешил тогда в Харьков, сам не зная почему. Я не знал, увижу ли я там кого, узнаю ли что близкое к сердцу, а так, скакал себе сломя голову. Я приехал после обеда. Улицы были уже освещены, а перед одним домом горели даже плошки. Насилу дотащился я до гостиницы — так я был утомлен и разбит дорогой. Вы знаете, что такое русская езда на перекладной телеге. Я бросился на трактирный диван и заснул, как спят после шести бессонных суток. Усталость до того даже мною одолела, что я не успел ничего спросить у трактирного слуги, а упал как мертвый. Я проснулся на другой день уже в полдень и с удивлением заметил, что кто-то сидел у меня в ногах, ожидая моего пробуждения. Протираю глаза — Федор.

Вы помните Федора, который все ходил на почту и так усердно играл на скрипке. Он был в трауре и сидел повеся голову.

Мы обнялись как братья.

— Я приехал, — сказал он едва внятно, — я приехал звать тебя на бал.

— На бал? Меня... куда?..

— На свадебный бал, — продолжал он. — Вчера была свадьба моей сестры. Что ж делать? Я сам только что приехал. Правда, сестра умаливала, чтоб не было этого бала, да свекор и вся родня взбудоражились. «Свадьба, говорят, так и пир горой». В городе же сейчас узнали, что приехал петербургский кавалер, и меня послали тебя пригласить.

— Хорошо, — сказал я, — отправляйся к сестре твоей и пригласи ее от меня на мазурку. Так как я петербургский кавалер и человек светский, то я непременно хочу для первого моего дебюта в Харькове танцевать с царницей бала.

— Ты видел смерть брата? — спросил печально Федор.

— Об брате твоём жалеть нечего: он умер. Ступай теперь к сестре с моим порученцем.

Федор отправился, а я начал готовиться к балу с неодолимым смущением. Наконец я должен был увидеть то воздушное и таинственное существо, которое имело такое странное значение и в моей жизни. Я припомнил все малейшие подробности нашей странной переписки, сперва веселое ребячество ее бальных впечатлений, потом легкие оттенки первой сердечной задумчивости и вдруг

пронзительный крик отчаяния. Не выдав еще ее, я до того породнился с ее чувствами, что одна мысль о ней сжимала мое сердце, и мне стало так грустно, что я начал готовиться на ее брачный пир, как на похороны.

Ровно в девять часов, одевшись в черное с ног до головы, я отправился. Вся улица была уставлена экипажами. Дом новобрачных сверкал из окон ослепительным светом. Издали слышен уж был гром оркестра. У подъезда столпился народ.

Я вошел, и при самом входе мне встретилось чинное шествие польского. В первой паре шел толстый генерал и вел молодую за руку. Сердце мое ее разом узнало, я едва не вскрикнул. Вообразите себе самое разительное сходство с Виктором и то самое болезненное предсмертное выражение лица, которое произвело на меня столь сильное впечатление накануне его кончины. Как-то странно смешались в голове моей черты бедного товарища с чертами молодой красавицы; мне становилось душно, голова моя кружилась, я стоял как опьянелый, а польский все тянулся передо мной, как будто тени попарно, на которые я смотрел как во сне.

Она также меня узнала. Я это понял с первого взгляда ее. Но сколько было в этом взгляде! И прошедшая радость, и настоящая горе, и сожаление об обманутых надеждах, и покорность неумолимой судьбе. Когда польский кончился, Федор подвел меня к ней и назвал меня по имени.

Она грустно улыбнулась и сказала мне:

— Мы с вами уж знакомы.

Я отвечал:

— Я вам родня, по дружбе с братьями.

— Вы приехали вчера? — спросила она после короткого молчания.

— Вчера, часов в семь.

Она вздохнула и посмотрела на меня так, что я чуть-чуть с ума не сошел.

— Вчера в семь часов, — сказала она, — меня одевали к венцу.

Я отошел в угол и печально начал любоваться ею. В самом деле она была прекрасна, но какой-то болезненной красотой. В черных глазах ее отражался огонь лихорадки. Лицо ее было матовой белизны, а на голове ее брильянтовая диадема сверкала, как мученический венец. Прошел час времени. Не помню, кто со мной говорил и говорил ли я с кем. Заиграли мазурку. Я снова к ней подо-

шел, придвинул два стула, и мы сели. Разговор наш был сперва несвязан, но мало-помалу он оживился. Я заговорил ей о странной нашей переписке, извинялся в моей смелости, рассказывал ей, как мы ожидали ее приезда и с какой жадностью мы читали описание балов, где она танцевала с веселым кавалергардом. Она отвечала мне полусутоливо-полупечально, вспоминала все, писанное по моему приказанию, и призналась, что она часто обо мне думала и что я совершенно таков, как она полагала. Тогда просила она меня рассказать о нашей студенческой жизни, и речь наша невольно коснулась покойного брата ее.

— Вы знаете,— сказала она,— я причиною его смерти.

— Нет,— отвечал я,— так судьба хотела. Во всем есть воля Провидения. Смерть не есть несчастье, напротив, смерть конец несчастью. Поверьте, что мне тяжелее нынче на сердце, посреди нынешнего блеска и веселья, чем в тот мрачный вечер, где бедный мой товарищ умирал на чердаке.

Она еще более побледнела, губы ее задрожали.

— Ради бога,— сказала она шепотом,— не говорите этого, иначе я не выдержу моей пытки.

Федор, сидевший рядом со мной с другой стороны, закрыл лицо руками и, спрятавшись ко мне за спину, заплакал как ребенок.

Мазурка продолжалась. Кавалеры притопывали, дамы в розовых и голубых платьях скользили по паркету. Бал был оживлен и великолепен. Многие играли в вист, другие смеялись и громко шутили над молодыми.

Вдруг она вскочила со своего стула, быстро отряхнув пышные свои локоны.

— Знаете ли,— сказала она почти с безумным выражением,— забудем настоящее, будем же хоть раз еще молоды вместе. Вообразите себе, что вы молодой человек, я — молодая девушка. Я вам нравлюсь, вы мне нравитесь. У нас нет ни забот, ни горя. Мы встретились на бале, которого оба давно ожидали. Мы вместе танцуем. Пойдемте же, нам начинать.

И с отчаяньем в глазах она умчала меня в круг танцующих, и долго мы танцевали вместе почти до упаду в неизъяснимом исступлении. Она была хороша какой-то ужасающей красотой. Волосы ее распустились по плечам; румянец заиграл на щеках, глаза засверкали, грудь

сильно взволновалась. Видно было, что она все хотела забыть, все соединить в одну упоительную минуту в последнем прощанье с прежней жизнью. И вдруг муж ее, озабоченный свадебным ужином, махнул музыкантам, чтоб они перестали. Тогда она оборотилась ко мне, и лицо ее снова помертвело.

— Теперь... — сказала она, — все кончено. Не забывайте меня. Вы, надеюсь, нынче едете.

— Сейчас же, — отвечал я, — сейчас.

Она вздохнула и протянула мне руку, а потом сказала еще:

— Когда не будет меня на свете, помолитесь обо мне.

Из рук ее выпал букет. Я схватил уже увядающие цветы — верное напоминание ее увядающей жизни, и бросился опрометью домой. Нельзя выразить то, что я тогда чувствовал. Я не был влюблен, и любил, однако ж, самой отчаянной, самой безотрадной любовью. Сожаление, досада, ревность, тоска жгли кровь мою. Я не хотел, я не мог оставаться более в Харькове. Возвратившись в лихорадке домой, я разбудил человека, послал тотчас за лошадьми, и через час я скакал по большой дороге, желая как бы ускользнуть от самого себя.

И с тех пор я не видал ее ни одного раза, а через год с небольшим получил письмо от одного Федора с черной печатью. Сестры его уже не было на свете. Она тихо угасла и приказала отослать ко мне ее последний предсмертный поклон.

Вы видите, — продолжал печально мой собеседник, — что эта повесть сама по себе ничто — ребяческая переписка, минутное свидание и несколько иссохших цветов. Стоит ли говорить о том. Роман, едва начатый, оканчивается на первой странице. Но для меня в нем много смысла. В нем первая моя неоконченная повесть, повесть моей молодости, которая долго носила меня по идеальному миру и привела наконец к безотрадной сущности. Впрочем, и после были еще вспышки поэзии в моей жизни, но они не превращались в светила, а, угасая одна за другой, только дразнили меня своим минутным блеском. Да, точно со мною было еще несколько случаев, за которые сердце мое, жадное любить, зацеплялось с радостью... но, видно, суждено было иначе. И вот что досадно: в каждом из них было бы довольно счастья на всю мою жизнь. Но счастье, готовое уже осенить меня, отлетало далече, и после узнавал я, но слишком поздно, чего я мог надеять-

ся и что я утратил невозвратно. Выслушайте еще одну историю...

— Нет, Иван Иваныч, в другой раз, а нынче извините, нынче Рубини дает концерт, и я опоздать не намерен. Впрочем, то, что вы говорите, меня не удивляет. Всякая повесть человеческого сердца большей частью не что иное, как повесть неоконченная. Пойдемте-ка вместе в концерт, там мы найдем, может быть, счастливую развязку вечной повести вечно недовольной жизни.

— Где же? — спросил Иван Иванович.

— В чистом, в высоком наслаждении, в святой любви к искусству.

ТАРАНТАС

Путевые впечатления

I

ВСТРЕЧА



Василий Иванович гулял однажды на Тверском бульваре.

Василий Иванович — казанский помещик лет пятидесяти, ростом небольшой, но такой дородности, что глядеть на него весело. Лицо у него широкое и красное, глаза маленькие и серые. Одет он по-помещичьи; на голове белая пуховая фуражка с длинным козырьком; фрак синий с светлыми пуговицами, сшитый еще в Казани кривым портным, которого вывеска уже 40 лет провозглашает «недавно приехавшим из Петербурха»; панталоны горохового цвета, приятно колеблющиеся живописными складками около сапог. Галстук с огромной пряжкой на затылке; на жилете бисерный снурок светло-небесного цвета.

Василий Иванович шел себе по Тверскому бульвару и довольно лукаво посмеивался при мысли о всех удовольствиях, которыми так расточительно изобилует Москва. В самом деле, как подумаешь, Английский клуб, Немецкий клуб, Коммерческий клуб — и все столы с картами, к которым можно присесть, чтоб посмотреть, как люди играют и большую и малую игру. А там лото, за которым сидят помещики, и бильярд с усатыми игроками и шутливыми маркерами. Что за раздолье!.. А цыгане-то, а комедии-то, а медвежья травля медеянскими мордашками у Рогожской заставы, а гулянье за городом, а театр-то, театр, где пляшут такие красавицы и ногами такие вензеля выделывают, что просто глазам не веришь. Тут Василий Иванович вспомнил про грозную и дородную супругу свою, оставленную за хозяйством в казанской деревне, и решительно улыбнулся с видом отчаянного повесы.

В это самое время на Тверском бульваре гулял также Иван Васильевич. Иван Васильевич — молодой человек, только что вернувшийся из-за границы. На нем английский макинтош без талии; панталоны его спиты у Шеврёля; палка, на которой он опирается, куплена у Вердье. Волосы его обстрижены по вкусу средних веков, а на подбородке еще видны остатки ужаснейшей бороды.

Прежде, когда русский молодой человек возвращался из Парижа, он привозил с собой наружность парикмахера, несколько ярких жилетов, несколько пошлых остроумий, разные несносные ужимки и нестерпимо решительное хвастовство. Благодаря бога, все это теперь вывелось. Но теперь другая крайность: теперь молодежь наша прикидывается глубокомысленною, изучает политическую экономию, заботится о русской аристократии, хлопочет о государственном благе, и — как бы вы думали? — за границей делается она русскою, даже чересчур русскою, думает только о России, о величии России, о недостатках России и возвращается на родину с каким-то странным восторгом, иногда смешным и неуместным, но по крайней мере извинительным и, во всяком случае, более похвальным, чем прежнее ничтожество. Достойный представитель юной Руси, Иван Васильевич объездил всю Европу, и, вникая в политическую болтовню перемешанных сословий, приглядываясь к мелким страстям, прикрытым громкими именами общей пользы, свободы и просвещения, он понял, как велика и прекрасна во многом его отчизна, и с того времени загорелась в нем жаркая, хотя бессознательная любовь к родине, и с того времени он начал гордиться перед собой и перед целым светом тем, что он родился русским человеком. Независимо, впрочем, от этого чувства, наподобие прочих наших государственных юношей, привез он из-за границы горячий восторг к парижской опере и нежные воспоминания о парижских загородных балах.

Итак, Иван Васильевич шел по Тверскому бульвару, поглядывал с удивлением на яркие наряды московских щеголих, на фантастические ливреи их небритых лакеев и напевая про себя «*Nel furor della tempesta*»¹, арию чудесную из беллиниевской оперы «*Il Pirata*»². «Господи боже мой, — думал он, — как жаль, что так мало здесь

¹ «В ярости бури» (ит.).

² «Пират» (ит.).

движения и жизни... Nel furor!.. То ли дело — Париж... della tempesta. Ах, Париж! Париж! Где твои гризетки, твои театры и балы Мюзара?.. Nel furor. Как вспомнишь: Лаблаш, Гризи, Фанни Эльслер, а здесь только что спрашивают, какой у тебя чин. Скажешь: губернский секретарь — никто на тебя и смотреть не хочет... della tempesta!»

В эту минуту загляделся он на странную громаду в белой фуражке, в гороховых занавесках около ног, которая катилась к нему навстречу. Красный улыбающийся лик показался ему знакомым. «Ба! да это Василий Иванович, — подумал он, — сосед наш по казанской деревне. Деревня у него Мордасы. Триста душ! Хороший хозяин. Боится жены. На именинных обедах бывает навеселе и поет тогда русские песни, а иногда и приплясывает. Он, верно, видел батюшку».

— Здравствуйте, Василий Иванович, — учтиво сказал, кивая головой, молодой человек.

Василий Иванович остановился и с недоверчивостью на него поглядел.

— Ба-ба-ба! — заревел он наконец громовым голосом. — Ба-ба-ба, Ваня, Ванюша, Ванечка!.. Какими судьбами? — и, схватив испуганного щеголя огромными ладонями, Василий Иванович начал душить его увесистыми поцелуями, не обращая внимания на толпу гуляющих зевак. — Ну, брат, каким же ты чучелом выглядишь! Повернись-ка, пожалуйста... и еще... Вот эндак. Что это, мода у вас, что ли! Ни дать ни взять, куль, куда муку ссыпают. Хорош, брат! Очень хорош! Откуда ты?

— Я был за границей.

— Вот-с! А где, коль смею спросить?

— В Париже шесть месяцев.

— Так-с.

— В Германии, в Италии...

— Да, да, да, да... Хорошо... а коли смею спросить, много деньжонок изволили порастрасти?

— Как-с?

— Много ли, брат, промотыжничал?..

— Довольно-с.

— То-то... А батюшка-то твой, мой сосед, что скажет на это? Ведь старики-то не очень сговорчивы на детское мотовство... Да и года-то плохие. Ты, чай, слышал, что у батюшки всю гречиху градом побило?

— Батюшка писал-с. Я сам к нему теперь собираюсь.

— Хорошее дело старика утешить. А... смею спросить, какого чина?

«Так и есть!» — подумал молодой человек.

— Двенадцатого класса, — отвечал он, запинаясь...

— Гм... не важно... А уж в отставке, чай?

— В отставке.

— То-то же! Вы, молодые люди, вбили себе в голову, что надо пренебрегать службой. Умны слишком, изволите видеть, стали! А теперь, коли смею спросить, что вы намерены делать-с? Ась?..

— Да я бы хотел, Василий Иванович, посмотреть на Россию, познакомиться с ней.

— Как-с?

— Я хотел бы изучить свою родину...

— Что? что? что?..

— Я намерен изучить свою родину.

— Позвольте, я не понимаю... Вы хотите изучать?..

— Изучать мою родину... изучать Россию.

— А как это вы, батюшка, будете изучать Россию?..

— Да в двух видах... в отношении ее древности и в отношении ее народности, что, впрочем, тесно связано между собой. Разбирая наши памятники, наши поверья и преданья, прислушиваясь ко всем отголоскам нашей старины, мне удастся... виноват, нам удастся... мы, товарищи и я... мы дойдем до познания народного духа, права и требования и будем знать, из какого источника должно возникать наше народное просвещение, пользуясь примером Европы, но не принимая его за образец.

— По-моему, — сказал Василий Иванович, — я нашел тебе самое лучшее средство изучать Россию — жениться. Брось пустые слова да поедем-ка, брат, в Казань. Чин у тебя небольшой, однако ж офицерский, имение у вас дворянское: партию ты легко найдешь. На невест у нас, слава богу, урожай... Женись-ка, право, да ступай жить с стариком. Пора и о нем подумать. Эх, брат, право-ну! Ты ведь думаешь, в деревне скучно? Ничуть. Поутру в поле, а там закусить, да победать, да выспаться, а там к соседям... А именины-то, а псовая охота, а своя музыка, а ярмарка... А?.. Житье, брат... что твой Париж. Да главное, как заведутся у тебя ребятишки, да родится у тебя рожь сам-восемь, да на гумне столько хлеба наберется, что не успеешь молотить, а в кармане столько целковых, что не сочтешь, — так, по-моему, ты славно будешь знать Россию — а?..

— Конечно,— сказал Иван Васильевич.— Оно бы недурно.

— Знаешь что? Ты в Казань едешь?

— В Казань.

— Когда?

— Да чем скорее, тем лучше.

— Прекрасно! А в чем, коли смею спросить?

— Я еще сам не знаю.

— У тебя ведь нет экипажа?

— Никак нет-с.

— Бесподобно! Мы поедем вместе.

— Как-с?

— Мы вместе поедем. Я отвезу тебя к старику...

У тебя ведь, чай, лишних деньжонок нет?

— Помилуйте... я не понимаю...

— Полно важничать! Говори правду...

— Я точно немного стеснен теперь.

— Ну, ну, ну... вот видишь. Давно бы так. Я отвезу тебя, а с отцом мы сочтемся...

— Позвольте...

— Что еще?

— Мне совестно-с.

— Вот вздор какой! Мы, батюшка, люди русские. Перестань, брат, франтить. Со мной без церемонии. По рукам, что ли?..

— Я очень буду вам обязан.

— Ну и хорошо, и прекрасно! А послушай-ка, знаешь ли, в чем мы поедем — а?

— В карете?

— Нет.

— В коляске?

— Нет.

— В бричке?

— И нет.

— В кибитке?

— Вовсе нет.

— Так в чем же?

Тут Василий Иванович лукаво улыбнулся и провозгласил торжественно:

— В тарантасе!

Несколько дней спустя на Собачьей площадке в маленьком деревянном домике происходила необыкновенная суматоха. На дворе ямщик хлопотал около почтовых лошадей; по лестнице бегали и суетились служанки; в комнатах на полу валялись чемоданы, ящики, веревки, сено и всякая дрянь. В мезонине Василий Иванович стоял перед зеркалом и приготавлился к дороге.

Огромный вязаный шарф с радужными отливами — драгоценный признак супружеского долготерпения — обвязывал его мощную шею. На ногах натянуты были белые кенги, а на туловище мохнатый ергак с шерстью снаружи придавал Василию Ивановичу красоту гомерическую. По обеим сторонам его почтительно стояли хозяин дома с рукой за пазухой и хозяйка, толстая купчиха, с пирогом, испеченным для дороги, и оба кланялись тучному помещику, приговаривая с разными ужимками:

— Позвольте проводить вашу милость... и пожелать вам всякого благополучия. Просим покорнейше... покорнейше просим принять хлеб-соль нашу на дорогу — чем бог послал. Просим не побрезгать, а кушать на здоровье. Путем может пригодиться. Коли бог приведет вашу милость в Москву обратно, нижайше просим нас не обидеть, не проезжать мимо нашей фатеры. Мы, признательно сказать, таким особам очень, по-искренности рады. Покорнейше просим.

— Спасибо, хозяин, — отвечал благосклонно Василий Иванович; — спасибо, хозяйюшка. Буду вас помнить и добром поминать. Эй, Сенька! Возьми пирог да уложи хорошенько в ноги, слышишь ли? Авось бог опять приведет свидеться... Смотри, чтоб не искрошился... Мы жили с вами дружно... Тебе, каналья, все равно.

Василий Иванович положил книжник в боковой карман вместе с подорожной, кошелек в шаровары, подвязал ергак кушаком и, перекрестившись перед образом, немного посидев и трижды обнявшись и с хозяином и с хозяйкой, вышел на двор для последних приготовлений.

На дворе во всей степной красоте своей рисовался тарантас.

Но что за тарантас, что за удивительное изобретение ума человеческого!..

Вообразите два длинные шеста, две параллельные дубины, неизмеримые и бесконечные; посреди них как будто брошена нечаянно огромная корзина, округленная по бокам, как исполинский кубок, как чаша преждепотопных обедов; на концах дубин приделаны колеса, и все это странное создание кажется издали каким-то диким порождением фантастического мира, чем-то средним между стрекозой и кибиткой. Но что сказать об искусстве, благодаря коему тарантас в несколько минут вдруг исчез под сундучками, чемоданчиками, ящичками, коробами, коробочками, корзинками, бочонками и всякой всячиной всех родов и видов? Во-первых, в выдолбленном сосуде не было сиденья: огромная перина ввалилась в пропасть и сровняла свои верхние затрапезные полосы с краями отвислых боков. Потом семь пуховых подушек в ситцевых наволочках, нарочно темного цвета для дорожной грязи, возвысились пирамидой на мягком своем основании. В ногах поставлен в рогожном куле дорожный пирог, фляжка с анисовой водкой, разные жареные птицы, завернутые в серой бумаге, ватрушки, ветчина, белые хлеба, калачи и так называемый погребец, неизбежный спутник всякого степного помещика. Этот погребец, обитый снаружи тюленьей шкурой щетиной вверх, перетянутый жестяными обручами, заключает в себе целый чайный прибор — изобретение, без сомнения, полезное, но вовсе не замысловатой отделки. Откройте его: под крышкой поднос, а на подносе перед вами красуется спящая под деревом невинная пастушка, борзо очерченная в трех розовых пятнах решительным взмахом кисти базарного живописца. В ларце, внутри обклеенном обойной бумагой, чинно стоит чайник грязно-белого цвета с золотым ободочком; к нему соседятся стеклянный графин с чаем, другой, подобный ему, с ромом, два стакана, молочник и мелкие принадлежности чайного удовольствия. Впрочем, русский погребец вполне заслуживает наше уважение. Он один у нас, среди общих перемен и усовершенствований, не изменил своего первообразного типа, не увлекся приманками обманчивой красоты, а равнодушно и неприкосновенно прошел через все перевороты времени... Вот каков русский погребец! Кругом всего тарантаса нанизаны кульки и картоны. В одном из них чепчик и пунцовый тюрбан с Кузнецкого моста от мадам Лебур для супруги Василия Ивановича; в других детские книги, куклы и игрушки для детей Василия Ивановича и сверх того две лампы для дома, несколько посуды для кухни и даже не-

сколько колониальных провизий для стола Василия Ивановича: все купленное по данному из деревни реестру. Наконец, сзади три чудовищных чемодана, набитые всяким хламом и перетянутые веревками, возвышаются луксорским обелиском на задней части нашей путевой колесницы.

Рыжий ямщик начал с недовольным видом впрягать в тарантас трех чахлых лошадей.

В эту минуту въехал на двор на извозчике Иван Васильевич. Воротник макинтоша его был поднят выше ушей; под мышкой был у него небольшой чемоданчик, а в руках держал он шелковый зонтик, дорожный мешок с стальным замочком и прекрасно переплетенную в коричневый сафьян книгу со стальными стежками и тонко очиненным карандашом.

— А, Иван Васильевич! — сказал Василий Иванович. — Пора, батюшка. Да где же кладь твоя?

— У меня ничего нет больше с собой.

— Эва! Да ты, брат, этак в мешке-то своем замерзнешь. Хорошо, что у меня есть лишний тулупчик на заячем меху... Да бишь, скажи, что под тебя подложить, перину или тюфяк?

— Как? — с ужасом спросил Иван Васильевич.

— Я у тебя спрашиваю, что ты больше любишь, тюфяк или перину?

Иван Васильевич готов был бежать и с отчаянием поглядывал со стороны на сторону. Ему казалось, что вся Европа увидит его в тулупе, в перине и в тарантасе.

— Ну, что же? — спросил Василий Иванович.

Иван Васильевич собрался с духом.

— Тюфяк! — сказал он едва внятно.

— Ну, хорошо. Сенька, подложи ему тюфячок да пошевеливайся, олух!

Сенька в нагольном тулупе принялся снова за свою циклопическую работу.

Василий Иванович продолжал с довольной улыбкой:

— А каков тарантасик-то? Ась?.. Суцая колыбель! Не опрокинетесь никогда, и чинить нигде не надо, не то что ваши рессорные экипажи: что шаг, то починка. А мягко-то, как словно в кровати. Знай только переваливайся себе с боку на бок, завернись потеплее, да и спи себе хоть всю дорогу.

Иван Васильевич глядел довольно грустно на своего спутника, нимало не убеждаясь в возможности предстоя-

щих наслаждений. Но делать было ему нечего. Попромо-тавшись, как следует русскому человеку, за границей, он, если говорить правду, точно не знал, как добраться до отцовской деревни.

И вот открывался ему прекрасный случай. Василий Иванович, приятель отца его, отвозил его в долг.

Дорогой же он может изучать свою родину. Все бы хорошо. Но эта неблагородная перина, но эти ситцевые подушки, но этот ужасный тарантас!..

Иван Васильевич тяжело вздохнул и глухо примолвил в припев:

— *Nel furor della tempesta...* Пора бы ехать.

И точно, пора. Лошади готовы. Кругом тарантаса суетятся хозяева, сидельцы и служанки. Все и помогают, и кланяются, и желают счастливой дороги. Василий Иванович, при общем пособии, подталкивании и подпихивании, вскарабкался наконец на свое место и опустился на перину; за ним влез Иван Васильевич и утонул в подушках. Сенька сел подле кучера.

— Ну готово?

— Готово.

— Ну, смотри же, разбирать дорогу. Под гору сдерживать лошадей. Не скакать и не останавливаться, а ехать рысью... шаг, шаг, шаг... Сенька! не дремать на козлах. Слышишь ли, чучело!.. Как раз свалишься. Ну, с богом, в добрый час, в архангельский... Пошел!..

Тарантас пошатнулся и поплелся себе, переваливаясь с бока на бок...

— Прощайте, хозяева.

— Прощайте, батюшка Василий Иванович... Просим не забывать. Покорнейше просим.

И хозяева, и сидельцы, и служанки — все высыпали за ворота поглазеть вослед тарантасу до того времени, пока он не скрылся наконец из вида. И покатился тарантас по Москве белокаменной и ни в ком не возбудил удивления. А было чему подивиться, глядя на уродливую колымагу с подушками, на которой лежал мохнатый помещик, подобно изнеженному медведю; немалого удивления заслуживал и торчащий подле него франтик в макинтоше и с недовольной физиономией, да в своем роде не менее замечателен был на козлах и Сенька в бараньей шкуре, словно дикарь ледовитых пустынь. Все это в других краях возбудило бы непременно общее любопытство, но в Москве проходящие, привыкнув к подобным картинам, не обращали на тарантас ни малейшего внимания.

Одни лишь уличные мальчишки, дергая друг друга за кафтаны, говорили между собой мимоходом:

— Вишь, какой-то едет помещик. Эк его раздуло!

III

НАЧАЛО ПУТЕВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Когда путешественники выехали за заставу, между ними завязался разговор.

— Василий Иванович!

— Что, батюшка?

— Знаете ли, о чем я думаю?

— Нет, батюшка, не знаю.

— Я думаю, что так как мы собираемся теперь путешествовать...

— Что, что, батюшка... Какое путешествие?

— Да ведь мы теперь путешествуем.

— Нет, Иван Васильевич, совсем нет. Мы просто едем из Москвы в Мордасы, через Казань.

— Ну, да ведь это тоже путешествие.

— Какое, батюшка, путешествие. Путешествуют там, за границей, в неметчине; а мы что за путешественники? Просто — дворяне, едем себе в деревню.

— Ну, да все равно. Так как мы отправляемся теперь в дорогу...

— А, вот это, пожалуй.

— То мне кажется, что я могу употребить время... нашего, как бы сказать... поезда с пользой.

— А с какой же, батюшка, пользой? Ума не приложу.

— Извольте видеть: за границей теперь мода издавать свои путевые впечатления. Тут помещается всякая всячина: где ночевал, кого видел, что понял и что угадал, наблюдения о нравах, о просвещении, о степени искусства, о движении торговли, о древности и о современности — одним словом, о целом быте народном. Потом все это собирается и печатается под названием путевых впечатлений.

— Вот-с!

— К сожалению, эти впечатления не всегда носят отпечаток истины и оттого теряют свое достоинство. К тому же все, что можно было сказать о западных государствах, пересказано и перепечатано. Заключение сделано, мнения определены: наблюдателю негде разгуляться.

— К чему же вы, батюшка мой, речь эту ведете?

— Вот к чему. Путевые впечатления за границей никому не нужны, потому что нового в них ничего быть не может. Но путевые впечатления в России могут много явить любопытного, в особенности если они будут руководствоваться одной истиной. Подумайте, какое обильное поле для изысканий: изучение древних памятников, изучение нашей прекрасной, нашей великой и святой родины. Вы меня понимаете?

— Нет, брат. Ты все такое мелешь странное.

— Моя надежда, мое желание, моя цель, — продолжал, воспламеняясь, Иван Васильевич, — сделаться хоть чем-нибудь полезным для моих соотечественников. Вот для чего, Василий Иванович, я хочу записывать все, что буду видеть; буду записывать не мудрствуя лукаво, а придерживаясь только правды, одной правды. Со мной дорожная чернильница и толстая тетрадь бумаги, — прибавил он торжественно, указывая на величественную книгу, которая покоилась у него на коленях. — Эта книга должна прославить меня в целой России. Это книга моих путевых впечатлений. Друзья мои будут читать ее, и дай бог, чтоб она внушила им желание вникнуть глубже в те предметы, которые я могу обозначать только мимоходом.

— А что же вы думаете писать в ней? — спросил Василий Иванович.

— Все, что встретится нам дорогой истинно любопытного, истинно достойного внимания. Все, что я могу почерпнуть о русском народе и о его преданиях, о русском мужике и о русском боярине, которых я люблю душевно, точно так, как я душевно ненавижу чиновника и то уродливое безыменное сословие, которое возникло у нас от грязного притязания на какое-то жалкое, непонятное просвещение.

— А отчего же это, батюшка, ненавидите вы чиновников? — спросил Василий Иванович.

— Это не значит, что я ненавижу людей, служащих совестливо и благородно. Напротив, я их уважаю от души. Но я ненавижу тот жалкий тип грубой необразованности, который встречается и между дворянами, и между мещанами, и между купцами и который я называю потому вовсе неточным именем чиновника.

— Отчего же, батюшка?

— Потому что те, которых я так называю, за неимением прочного основания придают себе только наруж-

ность просвещения, а в самом деле гораздо невежественнее самого простого мужика, которого природа еще не испорчена. Потому что в них нет ничего русского: ни права, ни обычая; потому что они своей трактирной образованностью, своим самодовольным невежеством, своим грязным щегольством не только останавливают развитие истинного просвещения, но нередко направляют его во вредную сторону. Это создание уродливое, проросшее к народной почве, но совершенно чуждое народной жизни. Взгляните на него: куда девались благородные черты нашего народа? Он дурен собой, он грязен, он пьет запоем, а не в праздники, как мужик; он-то берет взятки, он-то старается всех притеснять и в то же время дуется и гордится пред простым народом тем, что он играет в бильярд и ходит во фраке. Подобное племя — племя испорченное, переродившееся от прекрасного начала. Посмотрите-ка на русского мужика: что может быть его красивее и живописнее? Но по предосудительному равнодушию у нас в высшем кругу мало о нем заботятся или смотрят на него как на дикаря Алеутских островов, а в нем-то и таится зародыш русского богатырского духа, начало нашего отечественного величия.

— Хитрые бывают бестии! — заметил Василий Иванович.

— Хитрые, но потому-то и умные, способные к подражательству, к усвоению нового и, следовательно, к образованию. В других краях крестьянин, что ему ни показывай, все себе будет землю пахать; а у нас: вам только приказать стоит — и он делается музыкантом, мастеровым, механиком, живописцем, управителем — чем угодно.

— Что правда, то правда, — сказал Василий Иванович.

— И к тому ж, — продолжал Иван Васильевич, — в каком народе найдете вы такое инстинктивное понятие о своих обязанностях, такую готовность помочь ближнему, такую веселость, такое радушие, такое смирение и такую силу?

— Лихой народ, нечего сказать! — заметил Василий Иванович.

— А мы гнушаемся его, мы смотрим на него с пренебрежением, как на оброчную статью; и не только мы ничего не делаем для его умственного усовершенствования, но мы всячески стараемся его портить.

— Как это? — спросил Василий Иванович.

— Вот как. Гнусным устройством двора. Дворовый не что иное, как первый шаг к чиновнику. Дворовый обрывает, ходит в длиннополом сюртуке домашнего сукна. Дворовый служит потехой праздной лени и привыкает к тунеядству и разврату; дворовый же пьянствует, и ворует, и важничает, и презирает мужика, который за него трудится и платит за него подушные. Потом, при благополучных обстоятельствах, дворовый вступает в конторщики, в вольноотпущенные, в приказные; приказный презирает и дворового, и мужика, и учится уже крючкотворству, и потихоньку от исправника подбирает себе кур да гривенники. У него сюртук нанковый, волосы примазанные. Он обучается уже воровству систематическому. Потом приказный спускается на ступень ниже, делается писцом, повытчиком, секретарем и, наконец, настоящим чиновником. Тогда сфера его увеличивается; тогда получает он другое бытие: презирает и мужика, и дворового, и приказного, потому что они, извольте видеть, люди необразованные. Он имеет уже высшие потребности и потому крадет уже ассигнациями. Ему ведь надо пить донское, курить табак Жукова, играть в банчик, ездить в тарантасе, выписывать для жены чепцы с серебряными колосьями и шелковые платья. Для этого он без малейшего зазрения совести вступает на свое место, как купец вступает в лавку, и торгует своим влиянием, как товаром. Попадается иной, другой... Ничто ему, говорят собратья. Бери, да умей.

— Не все же таковы,— заметил Василий Иванович.

— Разумеется, не все, но исключения не изменяют правила.

— И к тому ж,— прибавил Василий Иванович,— губернские чиновники избираются у нас большею частью дворянством.

— То-то и грустно! — сказал Иван Васильевич. — То, что в других краях предмет домогательства народного, у нас представляется само собой. Мы не должны, мы не можем сметь жаловаться на правительство, которое предоставило нам самим выбор своих уполномоченных для внутреннего распоряжения нашими делами. Греха таить нечего. Во всем виноваты мы, мы, дворяне, мы, помещики, которые шутим и смеемся над тем, что должно было быть предметом глубоких размышлений. В каждой губернии есть и теперь люди образованные, которые при содействии законов могли бы дать благодетельное направление целой области, но все они почти бегают от

выборов, как от чумы, предоставляя их козням и расчетам мелких сплетников и губернских крикунов. Большие же владетели, гуляя на Невском проспекте или загулявшись за границей, почти никогда не заглядывают в свои поместья. Выборы для них — карикатура. Исправник, заседатель — карикатуры, прекрасно выставленные в «Ревизоре». И они тешатся над их лысынями, над их брюхами, не думая, что они вверяют им не только свое настоящее благоденствие и благоденствие своих крестьян, но — что страшно вымолвить — и будущую свою судьбу. Да! Если б мы не приняли этого жалкого направления, если б мы не были так непростительно легкомысленны, как хорошо было бы призвание русского дворянства, которому предназначено было идти впереди и указывать целому народу на путь истинного просвещения. Повторяю: виноваты мы сами, мы, помещики, мы, дворяне. Русские бояре могли бы много принести пользы отечеству; а что они сделали?..

— Попромotalись, голубчики, — заметил основательно Василий Иванович.

— Да, — продолжал Иван Васильевич. — Попромotalись на праздники, на театры, на любовниц, на всякую дрянь. Все старинные имена наши исчезают; гербы наших княжеских домов развалились в прах, потому что не на что их восстановить, и русское дворянство, зажиточное, радушное, хлебосольное, отдало родовые свои вотчины оборотливым купцам, которые в роскошных палатах поделали фабрики. Где же наша аристократия?.. Василий Иванович, что думаете вы о наших аристократах?

— Я думаю, — сказал Василий Иванович, — что нам на станции не будет лошадей.

IV

станция

К несчастью, предвещание Василия Ивановича действительно оправдалось.

Тарантас остановился у низенькой избушки, перед которой четырехугольный пестрый столб означал жилище станционного смотрителя. На дворе было уж темно. Тусклый фонарь едва-едва освещал наружную лестницу, дрожащую под навесом. За избушку тянулся трехсторонний сарай, крытый соломой, из которого выглядывали лошади, коровы, свиньи и цыплята. Посреди мягкого и влажного двора стоял полуразвалившийся че-

тырехугольный бревенчатый колодезь. У самого подъезда толпились, прибежав с разных сторон, безобразные нищие, безногие, немые, слепые, с высохшими руками, с отвратительными ранами, в лохмотьях, с всклокоченными бородами. Тут были и пьяные старухи, и бледные женщины, и дети в одних рубашонках, вынудившие руки из рукавов и скрестившие их на груди от холода. Грустно было слышать их притворный, выученный голос среди мычанья, моления и взаимной брани уродливой толпы, которая, толкая друг друга, с жадностью бросилась к тарантасу, выказывая раны и протягивая руки.

Между тем, пока наши путники, утомленные от первого перевала, выпутывались из перин и подушек, смотритель в изношенном зеленом мундирном сюртуке вышел на крыльцо и посмотрел на приезжих под руку.

— Тарантас, — сказал он довольно презрительно. — Тройка — подождать могут... Да отвяжитесь вы, анафемы! — закричал он нищим.

Как стая испуганных собак, безобразная толпа разбежалась во все стороны, и приезжие вошли в избу на станцию. Смотритель приветствовал их весьма хладнокровно.

— Как вам угодно, а лошадей у меня нет. Такой разгон, что не дай бог!

— Как лошадей нет! — закричал Иван Васильевич.

— Извольте сами в книге посмотреть. По штату всего девять троек. Утром проехала надворная советница, взяла шесть лошадей, да тяжелая почти три тройки, да полковник один по казенной надобности — четыре лошади.

— Так все-таки у вас остается восемь лошадей, — сказал Иван Васильевич.

— Никак нет-с, извольте в книге посмотреть.

— Да куда ж девались восемь-то лошадей?

— Курьерские лошади точно есть, да дать-то их я не смею: неравно курьер поедет — сами подумайте.

— Да мы будем жаловаться.

— Извольте, батюшка, жаловаться. Вот вам и книга: извольте записаться, а лошадей у меня нет.

— Между Москвой и Владимиром, — заметил Василий Иванович, — никогда ни на одной станции нет лошадей¹, когда бы ни приехал: видно, разгон такой большой.

¹ В настоящее время это обвинение вовсе несправедливо. (Примеч. автора.)

Никак я здесь тринадцатый раз проезжаю, а все та же история. Что ты станешь делать?

— Можно вольных нанять,— сказал более благосклонным голосом смотритель.

— Вольных! — заревел Василий Иванович.— Знаю я этих архибестий. Иуды, каналы, по полтине с лошади за версту дерут. Три дня здесь проживу, а не найму вольных.

— Известное дело-с,— заметил смотритель,— дешево не свезут. Воля ихняя, впрочем, и кормы теперь дорогие.

— Мошенники! — сказал Василий Иванович.

— Намедни,— продолжал, улыбнувшись, смотритель,— один генерал сыграл с ними славную штуку. У меня, как нарочно, два фельдъегеря проехало, да почта, да проезжающие все такие знатные. Словом, ни одной лошади на конюшне. Вот вдруг вбегает ко мне денщик, высокий такой, с усищами... «Пожалуйте-де к генералу». Я только что успел застегнуть сюртук, выбежал в сени, слышу, генерал кричит: «Лошадей!» Беда такая. Нечего делать. Подошел к коляске. Извините, мол, ваше превосходительство, все лошади в разгоне. «Врешь ты, каналы! — закричал он.— Я тебя в солдаты отдам. Знаешь ли ты, с кем ты говоришь? А? Разве ты не видишь, кто едет? А?» Вижу, мол, ваше превосходительство, рад бы, ей-богу, стараться, да чем же я виноват?.. Долго ли бедного человека погубить. Я туда, сюда... Нет лошадей... К счастью, тут Еремка косой, да Андрюха лысый — народ, знаете, такой азартный, им все нипочем — подошли себе к коляске и спрашивают: «Не прикажете ли вольных запрячь?» — «Что возьмете?» — спрашивает генерал. Андрюха-то и говорит: «Две беленьких, пятьдесят рублей на ассигнации»,— а станция-то всего шестнадцать верст. «Ну, закладывайте! — закричал генерал,— да живет только, растакие-то каналы!» Обрадовались мои ямщики; лихая, знаешь, работа, по первому, вишь, запросу, духом впрягли коней, да и покатали на славу. Пыль столбом. А народ-то завидует: экое людям счастье!.. Вот-с поутру, как вернулись они на станцию, я и поздравляю их с деньгами. Вижу, что-то они почесываются. «Какие деньги»,— бает Андрюха. Вишь, генерал-то рассчитал их по пяти копеек за версту, да еще на водку ничего не дал. Каков проказник!..

— Ха-ха-ха! — заревел Василий Иванович.— Вот молодец! Вот люблю! Пора их, воров, проучить.

Иван Васильевич грустно занялся рассматриванием жилья станционного смотрителя.

На стенах комнаты, в особенности на печке, заметны еще кое-где сомнительные следы белой краски, стыдливо скрывавшейся под тройным слоем копоти и грязи. У дверей привешена белая расписанная кукушка с гириями и ходячим маятником. В левом углу кювет с образами, а под ним длинная лавка около продолговатого стола. На стене расписание почтового начальства и несколько лубочных картин, изображающих нравственно-аллегорические предметы. Между окон красуются изображения Малек-Аделя на разъяренном коне, возвращение блудного сына, портрет графа Платова и жалостный лик Женеьевы Брабантской, немного загаженный мухами. Собственное отделение смотрителя находится на правой стороне. Тут сосредоточиваются все его наклонности и привычки. Подле кровати, покрытой заслуженной байкой, горделиво возвышается на трех ножках, без замков и ручек, лучшее украшение комнаты — комод настоящего красного дерева, покрытый пылью и разными безделками; но что за безделки? Тут и половина очков, и щипцы, и сальные огарки, и баночки без помады, и гребеночка, и стеклянный лебедь с духами и странной пробкой, и модные испачканные картинки, и бутылки с дрей-мадерой, и сигарочный ящик без сигар, и гвозди, и тавлинка, и счеты, и целое собрание разных головных уборов. Во-первых, зеленая фуражка, присвоенная казенному значению смотрителя; потом шляпа черная с белыми пятнами, которую смотритель надевает, когда он делается светским человеком и отправляется с визитом к целовальнику или к просвирне; потом шляпа белая с черными пятнами, которая придает ему особую обворожительность, когда он повесничает и волочится за сельскими красавицами; потом два истертые зимние картуза и, наконец, ермолка первобытно бархатная с висящей полукистью. К комоду придвинута пирамидочка, украшенная тремя чубуками с перышками и кисетом, некогда вышитым по канве.

Иван Васильевич все осмотрел внимательно, и ему стало еще грустнее. О чем он думал — бог его знает.

Между тем комната наполнилась проезжающими. Вошел учитель тобольской гимназии с женой своей, хорошенькой англичанкой, на которой он только что женился и которую он вез на паре из Москвы в Тобольск. Вошел студент в шинели, перевязанный шарфом, с трубкой и собакой. Ввалил-

ся веселый майор, который, сбросив медвежью шубу, раскланялся со всеми поочередно, спросил у каждого, с кем он имеет честь говорить, откуда он, куда и зачем, острил над смотрителем, любезничал с ямщиком, просящим у порога на водку, и очень понравился Василию Ивановичу.

От смотрителя был всем один ответ: «Лошади теперь в разгоне; как с станции вернутся, задержки от меня не будет».

Делать было нечего. Василий Иванович, как человек бывалый и распорядительный, не терял времени. Уж кипящий самовар бурлил в кругу стаканов и чайных орудий. По сделанному приглашению беседа столпилась около стола, лица оживились, распахнулись, и чай — благовонный чай, отрада русского человека во всех случаях его жизни. — начал переходить из рук в руки в чашечках, блюдечках и стаканах. Знакомство мало-помалу устроилось. Бранили сперва дорогу, потом жаловались наедине на недостаток в лошадях, потом перешли к посторонним предметам. Студент рассказывал о дупелях и заячьей травле: майор говорил уже всем «ты», сообщил всему обществу, что он выходит в отставку, что у него столько-то денег, что он хотел жениться, но что ему отказали, что он недоволен своею жизнью, словом, без всякого на то вопроса со стороны слушателей он поведал всю историю свою от колыбели до настоящей минуты, с примесью шуточек и прибауток. Василий Иванович смеялся и трепал майора по плечу, приговаривая: «военная косточка». Иван Васильевич расспрашивал тобольского учителя про Сибирь. Одна только англичанка молчала и выразительно поглядывала на мужа. Вдруг на дворе послышался шум. Чайное общество стало прислушиваться. Сперва подъехал к станции какой-то грузовой экипаж; на дворе сделалась суматоха, послышался колокольчик, топот лошадей, и через несколько минут стук колес возвестил отъезд проезжающего.

— Что это такое? — спросил Василий Иванович ушедшего смотрителя.

— Проехал-с тайный советник.

Все присутствующие взглянули друг на друга с грустным негодованием.

— Где же взяли лошадей?

— Вам, господа, — отвечал, пожимая плечами и несколько смутившись, смотритель, — угодно было чай кушать, а тайный советник, господа... тайный советник... ну, уж сами изволите знать.

Между Москвой и Владимиром, как известно опытным путешественникам, нет ни единой гостиницы, в которой можно было бы покойно оплакивать недостаток в лошадях. Одни только каморки смотрителей, ограждающих себя от побоев лестными правами 14-го класса, предлагают свои скамьи для грустных размышлений обманутого ожидания. Василий Иванович успел по нескольку раз в день вынимать погребец свой из тарантаса и упиваться чаем. Иван Васильевич успел вдоволь надуматься о судьбах России и наглядеться на красоту мужиков, которые, сказать правду, уже начали ему надоедать. В книгу записывать было нечего. Везде тот же досадный, прозаический припев: «Лошади все в разгоне». Иван Васильевич взглядывал на Василия Ивановича. Василий Иванович взглядывал на Ивана Васильевича, и оба сидели дремать друг перед другом по нескольку часов сряду.

К тому же между двумя станциями с ними случилось поразительное несчастье. В минуту сладкого усыпления, когда, утомившись от толчков тарантаса об деревянную мостовую, Василий Иванович звучно отдыхал от житейской суеты, Иван Васильевич воображал себя в Итальянской опере, а Сенька качался, как маятник, на козлах, два чемодана и несколько коробов отрезаны от тарантаса искусными мошенниками. Горе Василия Ивановича было истинное. Между прочими вещами пропали чепчик и пунцовый тюрбан от мадам Лебур с Кузнецкого моста, а чепчик и тюрбан, как известно, были назначены для самой барыни, для Авдотьи Петровны.

Приехав на станцию, он бросился к смотрителю с жалобой и просьбой о помощи. Смотритель отвечал ему в утешение:

— Будьте совершенно спокойны: ваши вещи пропали. Это уже не в первый раз, вы тут в двенадцати верстах проезжали через деревню, которая тем известна: все шалуны живут.

— Какие шалуны? — спросил Иван Васильевич.

— Известно-с. На большой дороге шалят ночью. Коли заснете, как раз задний чемодан отрежут.

— Да это разбой!

— Нет, не разбой, а шалости.

— Хороши шалости! — уныло говорил Василий Ива-

нович, отправляясь снова в путь.— А что скажет Авдотья Петровна?

— Хоть бы отдохнуть где-нибудь в порядочном трактире,— продолжал не менее плачевно Иван Васильевич,— меня так растрясло, что все кости так и ломит. Ведь мы уже третий день как выехали, Василий Иванович.

— Четвертый день.

— В самом деле?

— Да; зато, брат, на почтовых едем. Вольным мошенникам поживы от нас не было.

— Поскорее бы приехать нам во Владимир: Владимир я могу прекрасно начать свои путевые впечатления. Владимир — древний город; в нем должно все дышать древней Русью. В нем-то отыскать, верно, всего лучше источник нашего народного православного быта. Я вам уже говорил, Василий Иванович, что я... и не я один, а нас много, мы хотим выпутаться из гнусного просвещения Запада и выдумать своеобытное просвещение Востока.

— Это у вас в книге? — спросил Василий Иванович.

— Нет, в книге у меня еще ничего нет. Посудите сами: можно ли было что писать? Дорога, избы, смотрители — все это так неинтересно, так прозаически скучно. Право, записывать было нечего, даже если б и всю спину не домало. Да вот мы доедем до Владимира...

— И пообедаем,— заметил Василий Иванович.

— Столица древней Руси.

— Порядочный трактир.

— Золотые ворота.

— Только дорого дерут.

— Ну, дошел же, кучер.

— Э, барин: видишь, как стараюсь. Вишь, дорогу как исковеркало. Ну, сивенькая... Ну, ну... вывези, матушка... Уважь господ... ну!.. ну!..

Наконец вдали показался Владимир с куполами и колокольнями, верным признаком русского города.

Сердце Ивана Васильевича забилося. Василий Иванович улыбнулся.

— В гостиницу! — закричал он.

Ямщик приосанился.

— Ну, сивенькая... теперь недалечко, эхма!

И ямщик ударил по чахлым клячам, которые по необъяснимому вдохновению, свойственному только русским почтовым лошадям, вдруг вздернули морды и по-

неслись, как вихрь. Тарантас прыгал по кочкам и рытвинам, подбрасывая улыбавшихся седоков. Ямщик, подбрав вожжи в левую руку и махая кнутом правой, покрякивал только, стоя на своем месте; казалось, что он весь забылся на быстром скаку и летел себе напропалую, не слушая ни Василия Ивановича, ни собственного опасения испортить лошадей. Такова уж езда русского народа.

Наконец показались ветряные мельницы, потянулись заборы, появились сперва избы, потом небольшие деревянные домики, потом каменные дома. Путники въехали во Владимир. Тарантас остановился у большого дома на главной улице.

— Гостиница, — сказал ямщик и бросил вожжи.

Бледный половой в запачканной белой рубашке и запачканном переднике встретил приезжих с разными поклонами и трактирными приветствиями и потом проводил их по грязной деревянной лестнице в большую комнату, тоже довольно нечистую, но с большими зеркалами в рамах красного дерева и с расписным потолком. Кругом стен стояли чинно стулья, и перед оборванным диваном возвышался стол, покрытый пожелтевшею скатертью.

— Что есть у вас? — спросил Иван Васильевич у пологого.

— Все есть, — отвечал надменно полойой.

— Постели есть?

— Никак нет-с.

— Иван Васильевич нахмурился.

— А что есть обедать?

— Все есть.

— Как все?

— Ши-с, суп-с. Бифштекс можно сделать. Да вот на столе записочка, — прибавил полойой, гордо подавая серый лоскут бумаги.

Иван Васильевич принялся читать:

Об ет!

1. Суп. — Липотаж.
2. Говядина. — Телятина с циндроном.
3. Рыба — раки.
4. Соус — Патиша.
5. Жаркое. Курица с рысью.
6. Хлебное. Желе сапельспнов.

— Ну, давай скорее! — закричал Василий Иванович.

Тут полойой принялся за разные распоряжения. Сперва снял он со стола скатерть, а на место ее принес другую, точно так же нечистую; потом он принес два

прибора; потом принес он солонку; потом, через полчаса, когда проголодавшиеся путники уже брались за ложки, явился с графином с уксусом.

На все нетерпеливые требования Василия Ивановича отвечал он хладнокровно: «сейчас...», и сей час продолжался ровно полтора часа. «Сейчас» — великое слово на Руси. Наконец явилась вождеденная миска со щами. Василий Иванович открыл огромную пасть и начал упитываться. Иван Васильевич вытащил из тарелки разные несвойственные щам вещества, как-то: волосы, щепки и тому подобное, и принялся со вздохом за свой обед. Василий Иванович казался доволен и молча ел за троих.

Но Иван Васильевич, несмотря на свой голод, едва мог прикоснуться к предлагаемым яствам.

На соус патиша и курицу с рысью взглянул он с истинным ужасом.

— Есть у вас вино? — спросил он у полового.

— Как не быть-с? Все вина есть: шампанское, полушампанское, дри-мадера, лафиты есть. Первейшие вина.

— Дай лафиту, — сказал Иван Васильевич.

Половой пропал на полчаса и наконец возвратился с бутылкой красного уксуса, который он торжественно поставил перед молодым человеком.

— Теперь, — сказал Василий Иванович, — пора на боковую. Сенька! — закричал он.

Вошел Сенька.

— Ты обедал, Сенька?

— Похлебал, сударь, селянки.

— Ну, приготовь-ка мне спать. Расставь стулья да принеси перину мне, да подушки, да халат. Видишь, Иван Васильевич, что хорошо все с собой иметь. А ты как ляжешь?

— Да я попрошу, чтоб мне принесли сена, — сказал Иван Васильевич. — Сено есть у вас? — спросил он у полового.

— Никак нет-с.

— Ну достань, братец, я тебе дам на водку.

— Извольте-с, достать можно.

Началось приготовление походной спальни Василия Ивановича. Половина тарантаса перешла в трактирную комнату. Перина уложилась среди сдвинутых стульев. Василий Иванович разоблачился до самой легкой одежды и тихо склонился на свое пуховое ложе.

Через несколько времени половой возвратился, задыхаясь, с целым возом сена, который он поверг в углу ком-

наты. Иван Васильевич начал грустно готовиться к ночлегу. Сперва положил он бережно на окно девственную книгу путевых впечатлений вместе с часами и бумажником; потом растянул он свой макинтош на сено и бросился на него с отчаянием. О ужас! Под ним раздался писк, и из клочков сухой травы вдруг выпрыгнула разъяренная кошка, вероятно, заспавшаяся в сенном сарае. С сердитым фырканьем царапнула она раза два испуганного юношу, потом вдруг отскочила в сторону и, перепрыгнув через стулья и через Василия Ивановича, проскользнула в полуотворенную дверь.

— Батюшки светы!.. Что там такое? — кричал Василий Иванович.

— Я лег на кошку, — отвечал жалобно Иван Васильевич.

Василий Иванович засмеялся.

— Зато у тебя, брат, в кровати, не будет мышей. Желаю покойной ночи.

Мышей точно не было, но появились животные другого рода, которые заставили наших путников с беспокойством ворочаться со стороны на сторону.

Оба молчали и старались заснуть.

В комнате было темно, и маятник настенных часов уныло стучал среди ночного безмолвия. Прошло полчаса.

— Василий Иванович!

— Что, батюшка?

— Вы спите?

— Нет, не спится что-то с дороги.

— Василий Иванович!

— Что, батюшка?

— Знаете ли, о чем я думаю?

— Нет, батюшка, не знаю.

— Я думаю, какая для меня в том польза, что здесь потолок исписан разными цветочками, персиками и амурами, а на стенах большие уродливые зеркала, в которых никогда никому глядеться не хотелось. Гостиница, кажется, для приезжающих, а о приезжающих никто не заботится. Не лучше ли бы, например, иметь просто чистую комнату без малейшей претензии на грязное щегольство, но где была бы теплая кровать с хорошим бельем и без тараканов; не лучше ли бы было иметь здоровый, чистый, хотя нехитрый русский стол, чем подавать соусы патиша, потчевать полушампанским и укладывать людей на сено, да еще с кошками?

— Правда ваша, — сказал Василий Иванович. — По-

моему, хороший постоянный двор лучше всех этих трактиров на немецкий мапер.

Иван Васильевич продолжал:

— Я говорил и вечно говорить буду одно: я ничего не ненавижу более полуобразованности. Все жалкие и грязные карикатуры несвойственного нам быта не только противны для меня, но даже отвратительны, как уродливая смесь мишуры с грязью.

— Эва! — заметил Василий Иванович.

— Гостиницы, — продолжал Иван Васильевич, — больше значат в народном быту, чем вы думаете: они выражают общие требования, общие привычки; они способствуют движению и взаимным сношениям различных сословий. Вот этому можно поучиться на Западе. Там сперва думают об удобстве, о чистоте, а украшение и толки — последнее дело... Василий Иванович!

— Что, батюшка?

— Знаете ли, о чем я думаю?

— Нет, батюшка, не знаю.

— Я хотел бы устроить русскую гостиницу по своему вкусу.

— Что же, батюшка, за чем дело стало?

— Это так... предположение, Василий Иванович... но я уверен, что гостиница моя была бы хороша, потому что я старался бы соединить с первобытным характером русского жилья все потребности уюта и мелочной опрятности, без которых просвещенный человек теперь жить не может. Во-первых, все эти испитые, ободранные, пьяные половые — жалкое отродие дворовых, будут изгнаны без милосердия и заменятся услужливыми парнями на хорошем жалованье и под строгим надзором. Внутри комнат стены будут у меня дубовые, лакированные, с разными украшениями. На полу будут персидские ковры, а кругом стен мягкие диваны... Да, очень не худо, знаете, вот этак против кровати устроить большой восточный диван, — продолжал Иван Васильевич, переваливаясь с беспокойством на колючем сене. — Я очень люблю мягкие диваны. Вообще я думаю, что устройство комнат наших предков имело много сходства с устройством комнат на Востоке... Как вы об этом думаете?..

Василий Иванович! Василий Иванович! А?.. Что?.. Как?.. Спит, — заключил с досадой Иван Васильевич, — ему хорошо на перине, а мне, пока моя гостиница не будет готова, все-таки должно проваляться всю ночь на сене!

Рано утром, когда Василий Иванович потрясал еще стены своим богатырским храпом, Иван Васильевич отправился отыскивать древнюю Русь. Ревностный отчизнолюбец, он желал, как читатель уже знает, отодвинуть снова свою родину в допетровскую старину и начертать ей новый путь для народного преобразования. Ему это казалось совершенно возможным, во-первых, потому, что несколько приятелей его были одинакового с ним мнения; во-вторых, потому, что он России не знал вовсе. Итак, рано утром, с любимой мыслию в голове, отправился он бродить по Владимиру. Прежде всего он отправился в книжную лавку и, полагая, что у нас, как за границей, ученость продается задешево, потребовал «указателя городских древностей и достопримечательностей». На такое требование книгопродавец предложил ему новый перевод «Монфермельской молочницы», сочинение Поль де Кока, важнейшую, по его словам, книгу, а если не угодно, так «Пещеру разбойников», «Кровавое привидение» и прочие ужасы новейшей русской словесности.

Не удовлетворенный таким заменом, Иван Васильевич потребовал по крайней мере «Виды губернского города». На это книгопродавец отвечал, что виды у него точно есть, и что он их дешево уступит, и что ими останутся довольны, но только они изображают не Владимир, а Царьград. Иван Васильевич пожал плечами и вышел из лавки. Книжный торговец преследовал его до улицы, предлагая попеременно новые парижские карикатуры с русским переводом, «Правила в игру преферанс», «Новейший лечебник» и «Ключ к тайнам природы».

Бедный Иван Васильевич пошел осматривать город без руководства и невольно изумился своему глубокому невежеству. Даром что он читал некогда историю, но он ничего твердого и определительного удержать из нее не мог. В голове его был какой-то туманный хаос: имена без образов, образы без цвета. Он припомнил и Мономаха, и Всеволода, и Боголюбского, и Александра Невского, и удельное время, и набеги татар, но припомнил, как школьник твердит свой урок. Как они тут жили? что тут делалось? — кто может это теперь рассказать? Иван Васильевич осмотрел Золотые ворота с белыми стенами

и зеленой крышкой, постоял у них, поглядел на них, потом опять постоял да поглядел и пошел далее. Золотые ворота ему ничего не сказали. Потом он пошел в церкви, сперва к Дмитриевской, где подивился необъяснимым иероглифам, потом в собор, помолился усердно, поклонился праху князей... но могилы остались для него закрыты и немые. Он вышел из собора с тяжелою думою, с тяжким сомнением... На площади толпился народ, расхаживали господа в круглых шляпах, дамы с зонтиками; в гостинном дворе, набитом галантерейной дрянью, крикливые сидельцы вцеплялись в проходящих; из огромного здания присутственных мест выглядывали чиновники с перьями за ушами; в каждом окне было по два, по три чиновника, и Ивану Васильевичу показалось, что все они его дразнят... Он понял тогда или начал понимать, что сделанное сделано, что его никакой силой переделать нельзя; он понял, что старина наша не помещается в книжонке, не продается за двугривенный, а должна приобретаться неуспынным изучением целой жизни. И иначе быть не может. Там, где так мало следов и памятников, там в особенности, где нравы изменяются и отрезают историю на две половины, прошедшее не составляет народных воспоминаний, а служит лишь загадкой для ученых. Такая грустная истина останавливала Ивана Васильевича в самом начале великого подвига. Он решил выкинуть из книги путевых впечатлений статью о древностях и пошел рассеяться на городской бульвар. Местоположение этого бульвара прекрасно: на высокой горе, над самой Клязьмой; вдаль расстилается равнина, сливаясь с небосклоном. Иван Васильевич сел на скамейку и начал задумчиво глядеть в даль, неопределенную и туманную, как судьба народов. Он долго думал и не замечал, что какой-то господин, отвернувшись к нему спиной, сидел с ним на одной скамейке и тоже размышлял, насвистывая какой-то итальянский мотив.

«Ба! Да это из «Нормы», — подумал Иван Васильевич и обернулся.

Оба вскрикнули в одно время:

— Федя!

— Ваня!

— Каким образом!

— Какими судьбами!

— Сколько лет, сколько зим!

— Да, кажется, с самого пансиона.

— Да, да... лет шесть.

— Нет, брат, восемь лет. Время-то как идет! Ты как здесь?..

— Проездом; а ты?..

— А я живу...

— В губернском городе!

— Да; что делать!

— Эх! Да как ты постарел!

— А ты, брат, так переменялся, что если бы не голос, так просто узнать нельзя. Откуда взялись бакенбарды?

— А право, мы хорошо жилали в пансионе.

— Веселое было время.

— Помнишь ли Ивана Лукича, инспектора, и Сидорку-разносчика, и углового кондитера?

— А помнишь, как мы впотьмах забросали Ивана Лукича картофелем и как мы у учителя арифметики парик сожгли?.. Правду сказать, ты лениво учился.

— А ты никогда урока не знал.

— Что, ты играешь на флейте?

— Бросил. А ты все еще пишешь стихи?

— Давно перестал... Скажи-ка... что же ты теперь поделываешь?

— Я был четыре года за границей.

— Счастливый человек! Я чай, скучно было возвращаться?

— Совсем нет, я с нетерпением ожидал возвращения.

— Право?

— Мне совестно было шататься по белому свету, не зная собственного отечества.

— Как! Неужели ты своего отечества не знаешь?

— Не знаю, а хочу знать, хочу учиться.

— Ах, братец, возьми меня в учителя, я это только и знаю.

— Без шуток; я хочу поездить да посмотреть...

— На что же?

— Да на все: на людей и на предметы... Во-первых, я хочу видеть все губернские города.

— Зачем?

— Как зачем? Чтоб видеть их жизнь, их различие.

— Да между ними нет различия.

— Как?

— У нас все губернские города похожи друг на друга. Посмотри на одни — все будешь знать.

— Быть не может!

— Могу тебя уверить. Везде одна большая улица,

один главный магазин, где собираются помещики и покупают шелковые материи для жен и шампанское для себя; потом присутственные места, дворянское собрание, аптека, река, площадь, гостинный двор, два или три фонаря, будки и губернаторский дом.

— Однако ж общества не похожи друг на друга.

— Напротив, общества еще более похожи, чем здания.

— Как это?

— А вот как. В каждом губернском городе есть губернатор. Не все губернаторы одинаковы: перед иным бегают квартальные, суетятся секретари, кланяются купцы и мещане, а дворяне дуются с некоторым страхом. Куда он ни явится, является шампанское, вино, любимое в губерниях, и все пьют с поклонами за многолетие отца губернии... Губернаторы вообще люди образованные и иногда несколько надменные. Они любят давать обеды и благосклонно играют в вист с откупщиками и богатыми помещиками.

— Это дело обыкновенное, — заметил Иван Васильевич.

— Постой! Кроме губернатора, почти в каждом губернском городе есть и губернаторша. Губернаторша — лицо довольно странное. Она обыкновенно образована столичной жизнью и избалована губернским низкопоклонством. В первое время она приветлива и учтива; потом ей надоедают непрерывные сплетни; она привыкает к угождениям и начинает их требовать. Тогда она окружает себя голодными дворянками, ссорится с вице-губернаторшей, хвастает Петербургом, презрительно относится о своем губернском круге и, наконец, навлекает на себя общее негодование до самого дня ее отъезда, в каковой день все забывается, все прощается, и ее провожают со слезами.

— Да два лица не составляют города, — прервал Иван Васильевич.

— Постой, постой! В каждом губернском городе есть еще много лиц: вице-губернатор с супругой, разные председатели с супругами и несчетное число служащих по разным ведомствам. Жены ссорятся между собой на словах, а мужья на бумаге. Председатели, большею частью люди старые и занятые, с большими крестами на шее, высовываются из присутствия только в табельные дни для поздравления начальства. Прокурор почти всегда человек холостой и завидный жених. Жандармский штаб-офицер — добрый малый. Дворянский пред-

водитель — охотник до собак. Кроме служащих, в каждом городе живут и помещики, обыкновенно скупые или промотавшиеся. Они постигли великую тайну, что как карты созданы для человека, так и человек создан для карт. А потому с утра до вечера, а иногда и с вечера до утра козыряют они себе в пички да в бубандрысы без малейшей усталости. Разумеется, что и служащие от них не отстают. Ты играешь в вист?

— Нет.

— В преферанс?

— Нет.

— Ну, так тебе и беспокоиться не нужно; ты в губернии пропадешь. Да, может быть, ты жениться хочешь?

— Сохрани бог!

— Так и не заглядывай к нам. Тебя насильно женят. У нас барышень вдоволь. Все они, по природному внушению, поют варламовские романсы и целой перенгой расхаживают по столовым, где толкуют о московском Дворянском собрании. Почти в каждом губернском городе есть вдова с двумя дочерьми, принужденная прозябать в провинции после мнимой блистательной жизни в Петербурге. Прочие дамы обыкновенно над ней смеются, но не менее того стараются попасть в ее партию, потому что в губерниях одни барышни не играют в карты, да и те, правду сказать, играют в дурачки на орехи. Несколько офицеров в отпуску, несколько тунеядцев без состояния и цели, губернский остряк, сочиняющий на всех стишки да прозвания, один старый доктор, двое молодых, архитектор, землемер и иностранский купец заключают городское общество.

— Ну, а образ жизни? — спросил Иван Васильевич.

— Образ жизни довольно скучный. Размен церемонных визитов. Сплетни, карты, карты, сплетни... Иногда встречаешь доброе, радушное семейство, но чаще наталкиваешься на карикатурные ужимки, будто бы подражающие какому-то небывалому большому свету. Общих удовольствий почти нет. Зимой назначаются балы в собрании, но по какому-то странному жеманству на эти балы мало ездят, потому что никто не хочет приехать первым. *Von genre*¹ сидит дома и играет в карты. Вообще я заметил, что когда приедешь нечаянно в губернский город, то это всегда как-то случается накануне, а еще чаще на другой день после какого-нибудь замечательно-

¹ Люди хорошего тона (фр.).

го события. Тебя всегда встречают восклицаниями: «Как жаль, что вас тогда-то не было или что вас тогда-то не будет!» Теперь губернатор поехал ревизовать уезды: помещики разъехались по деревням, и в городе никого нет. Не всякому дано попасть в благополучные минуты шумного съезда. Такие памятные эпохи бывают только во время выборов и сдачи рекрут, во время сбора полков, а иногда — в урожайные годы и во время святок. Самые приятные губернские города, в особенности по мнению барышень, те, в которых военный постой. Где офицеры, там музыка, ученья, танцы, свадьбы, любовные интриги — словом, такое раздолье, что чудо!

— Все это хорошо; только одного я не понимаю, — сказал Иван Васильевич, — зачем же ты здесь живешь?

— Зачем?.. Ах, братец, моя история — простая и глупая история.

— Расскажи, пожалуйста.

— Тебе почти все наши дворяне расскажут почти то же, что и я... Сперва богатство, потом бедность; сперва столичная жизнь, потом хорошо, когда и в губернском городе жить можешь.

— Да отчего же это?

— Оттого, что мы почти все легкомысленные до сумасбродства; оттого, что мы с самого детства все заражены одною болезнью...

— Право? Да как же называется эта болезнь?

— Она называется просто: «Жизнь сверх состояния».

VII

ПРОСТАЯ И ГЛУПАЯ ИСТОРИЯ

Когда мы с тобой расстались в пансионе, где, между прочим, мы учились оба довольно дурно, я поехал в Петербург, разумеется, с тем, чтобы служить. Жить в Петербурге и не служить — все равно что быть в воде и не плавать. Весь Петербург кажется огромным департаментом, и даже строения его глядят министрами, директорами, столоначальниками, с форменными стенами, с вицмундирными окнами. Кажется, что самые петербургские улицы разделяются, по табели о рангах, на благородные, высокоблагородные и превосходительные, — право, так. Когда я приехал, я был убежден, что, только я покажусь, все обратят на меня внимание и что в короткое время я сделаю блистательную карьеру. Ты помнишь,

что в пансионе я писал плохие стихи, следовательно, думал, что отлично буду составлять деловые бумаги. Но вообрази мое удивление: при первом моем опыте я написал такой вздор, что столоначальник мой рассмеялся и приказал мне лишь перебеливать отношения... И не только министр, не только директор не поощряли моей неопытности, но даже начальник отделения не говорил со мной никогда ни слова, и блистательные мои дарования остались решительно в тени. Я утешался мыслию, что зависть сослуживцев заграждает мое повышение, а с другой стороны, убедился, что на службе каждый думает только о себе. Служба, братец, — лестница. По этой лестнице ползают и шагают, карабкаются и прыгают люди зеленого цвета, то толкая друг друга, то срываясь от неосторожности, то зацепясь за фалды надежного эквилибриста; немногие идут твердо и без помощи. Немногие думают об общей пользе, но каждый думает о своей. Каждый помышляет, как бы схватить крестик, чтоб поважничать перед собратьями, да как бы набить карман потуже. Не думай, впрочем, чтоб петербургские чиновники брали взятки, — сохрани бог! Не смешивай петербургских чиновников с губернскими. Взятки, братец, дело подлое, опасное и притом не совсем прибыльное. Но мало ли есть проселочных дорог к той же цели. Займы, аферы, акции, облигации, спекуляции... Этим способом при некотором служебном влиянии, при удачной сметливости в делах состояния точно так же наживаются. Честь спасена, а деньги в кармане.

— Что же дальше?

— Обманувшись в моем честолюбии, я решился блеснуть в свете. Но и в свете со мной было то же. Я думал, что я богат, а вышло, что я беден. Я думал, что я всех удивлю своим экипажем, своим родом жизни, а вышло, что все мое достойное было почти нищенское в сравнении с другими. Я принужден был, по глупому самолюбию, подражать чужой роскоши, а вовсе не соображаться с моими средствами. Это общий петербургский порок. Жизнь в Петербурге как фейерверк. Много блеска, много дыма, а потом ничего. Каждый лезет в петлю, чтоб перещегоолять соседа перед людьми; все тянутся один за другим; сословия за сословиями, бедные за богатыми. Кто небогат, тот придает себе наружность богатства и тем разоряется вконец; кто богат, тот уже пускается в такую роскошь, строит такие дворцы, что поневоле разоряется тоже. В самом деле, кажется, что наши дво-

ряне ищут нищеты. У нас дворянская роскошь придумала множество таких требований, которые сделались необходимыми, как хлеб и вода; например, толпу слуг, лакеев в ливреях, толстого дворецкого, буфетчиков и прочей сволочи от двадцати до сорока человек, большие квартиры с гостиними, столовыми, кабинетами, экипажами в четыре лошади, ложи, наряды, карты, — словом, можно сказать, что в Петербурге роскошь составляет первую жизненную потребность. Там сперва думают о ненужном, а уж потом о необходимом. Зато и каждый день дворянские имения продаются с молотка. А если бы ты знал, какие страсти возбуждаются от несоразмерности состояния с издержками, какие от того ужасные сцены разыгрываются каждый день в семействах, какие гибельные бывают от того последствия, сколько людей потеряли от безумного угара и спокойствие своей совести, и собственное уважение и помрачили честь свою навсегда! Столичная жизнь, как поток, все уносит, все увлекает с собой, не дав и опомниться. Но мы уж так созданы. Прежде всего мы ищем рассеяния и удовольствия, и нет у нас, братец, ни твердых правил, ни высокой цели в жизни. Во-первых, мы дурно воспитаны; во-вторых, мы слабы перед искушением; и хотя мы видим перед собой страшные примеры, но сами не исправляемся. Тут есть о чем призадуматься... Да, впрочем, ты сам русский дворянин, следовательно, не рассказывать же мне тебе, как люди проматываются. Может быть, в совершенном нашем незнании расчета есть какая-то славянская удаля, какое-то отдаленное условие нашей широкой, размашистой природы. Как бы то ни было, петербургская роскошь дошла до пошлой глупости, и никто не смеет подать пример рассудка и ума. Ростовщики обогащаются, мода владычествует, изменяя каждый день свои прихоти, и все покоряются безусловно моде и приносят ей в дань все до последней копейки. Зато нет ни у кого семейных воспоминаний. Ни в одном доме не найдешь ты дедовских следов: ни фамильной утвари, ни признаков уважения к предкам — все поглощается на удовлетворение модных затей... И поверишь ли, прекрасный Петербург кажется городом, взятым напрокат. Что касается до меня, я делал, как товарищи, то есть делал долги и проживал вдвое против получаемых доходов. Впрочем, это еще не удивительно: у меня были приятели, которые ровно ничего не получали, а проживали втрое больше меня. Как они делали — до сих пор не понимаю. Я был везде при-

нят, волочился за модными дамами, слушал их вздор, отвечал тем же и всюду и всячески старался веселиться. Но, сказать тебе правду, среди насильственного вечного рассеяния я был совершенно несчастлив. Подобно многим нашим молодым людям, я чего-то хотел, чем-то был недоволен; я жаждал какой-то невозможной деятельности; словом, чувствовал себя бесполезным, лишним и укорял других в своем ничтожестве. Такою черной немощью страдают у нас многие. Тогда я вздумал жениться.

— Как? Ты жёнат? — спросил Иван Васильевич.

— Жёнат! — отвечал, вздохнув, его собеседник. — Но все равно что холостой. Опять простая и глупая история.

В Петербурге прекрасные девушки. Взглянуть на них — загляденье. Волосы их так гладко причесаны, талии у них такие пышные, а танцуют они так мило и так много, что нельзя в них не влюбиться. Я и влюбился. Вальсом началась моя любовь, мазуркой решилась моя судьба. Невеста моя была дочь богатого человека, который давал удивительные обеды и каждый вечер играл в вист, в так называемую большую партию. Я готовился быть счастливым. Но в Петербурге, братец, свадьба — половина банкротства. Нигде в мире нет, я думаю, обыкновения, приступая к счастью, заблаговременно его испортить и, готовясь к покою, заранее уничтожить возможность быть спокойным. В Петербурге же — такой обычай, такой закон. Как бы ни глуп был общий пример, надо следовать общему примеру. У нас для всего созданы условные правила, необходимые, как визиты и шляпочные поклоны. Таким образом, и жених обязывается к самому смешному мотовству, какое бы ни было его состояние, и тут-то пожива славянскому размаху. Во-первых, жениху предостоят непременно подарки. Портрет, писанный Соколовым, браслет пышный, браслет чувствительный, турецкая шаль, брильянтовые украшения и несметное число всякой блестящей дряни из английского магазина. Потом жених обязан отделать заново чужой дом, обставить комнаты растениями, взятыми напрокат, завести щегольские экипажи с красивыми лошадьми и сверкающими сбруями. Он одевает двух огромных лакеев в ливреи с гербовыми позументами, заготавливает сервизы, бронзы, фарфоры, готовится давать обеды и, только женившись, замечает, что именно-то обедать и нечем. Отец невесты, с своей стороны, отделывает на славу

спальню, как бы давая пример жениху в сумасбродстве; как бы заботясь гораздо более о пышном убранстве напнятых стен, чем о счастии и спокойствии своей дочери. Сверх того, он наполняет множество шкафов и сундуков разным тряпьем и хламом, которое под названием приданого истребляет целый капитал, и, наконец, на другой день после свадьбы дарит новобрачному своим полным доверием. Он признается с полной откровенностью, что петербургская жизнь дорога до чрезвычайности, что повар его разоряет, что в вист играет он несчастливо, и в заключение объявляет, что надо ожидать его смерти для получения обещанных доходов. Немного сконфуженный таким странным ожиданием и такой приятной новостью, зять, с своей стороны, сознается в плачевном положении своих дел и потом, через несколько дней, ссорится навек с новым своим семейством...

Так и со мной было. Я хотел уехать в деревню; жена не захотела: она не так была воспитана. Она привыкла и по Невскому гулять, и на балы и в театр ездить. Нечего было делать. Тут, братец, началась для меня настоящая каторга. В жизни сверх состояния бывают ужасные минуты. Иногда жена, разряженная, любезничает в ложе с франтами, а дома дров нет; иногда гости назвались к обеду, а повар не ставит более в долг провизии и грубит тебе еще вдобавок, и ты не смеешь его выгнать, потому что ему кругом задолжал. Страшно сказать, братец, а в настоящем модном петербургском образе жизни не только нельзя сохранить свое достоинство, но едва ли можно остаться в строгом смысле слова честным человеком. Прежде всего и во что бы то ни стало нужны деньги, а деньги употребляются на вздор. Вечером ты танцуешь, а утром у тебя толпятся так называемые гости кабинетные, лихоимцы, аферисты, заимодавцы. Ты закладываешь, продаешь, занимаешь; ты даешь векселя и расписки; ты отдаешь и брильянты, и серебро, и турецкую шаль, и лошадей своих; ты проклинаешь жизнь, ты близок к отчаянию. Есть минуты, где ты готов застрелиться. И со всем тем ты затают, раздушен, завит; ты кланяешься, и шаркаешь, и отдаешь визиты, и к тому же можешь быть уверен, что никто решительно тебя не любит и все над тобой смеются.

Так пробился я два года. Но тогда заметил я, что в свете на меня начали глядеть с каким-то презрительным и обидным сожалением. Мне меньше кланялись; меня забывали в приглашениях; меня в мазурке пере-

стали выбирать, и мало-помалу все мои друзья начали отдаляться от меня, передавая друг другу не совсем им неприятную весть о моем разорении. «Сам виноват, — говорили они: — Зачем лезет он за другими? Зачем живет он с нами?» И даже люди, которых я любил от души, как братьев, отворотились ко мне спиной, когда узнали, что не могут ни обыграть меня, ни пообедать хорошенько на мой счет, и не только не видал я от них ни одного знака участия, но узнал еще, что они разглашают мое бедствие с какой-то странной жадностью и нахально острят над моим злополучием. Это было всего для меня досаднее. Я возненавидел Петербург и решил уехать. Я продал все, что имел, расплатился, с кем мог, привел дела свои в возможный порядок и в одно прекрасное утро отправился с женою в Москву на жительство.

— Ты жил в Москве? — спросил Иван Васильевич.

— Жил, братец. Опять то же самое; опять продолжение простой и глупой истории! Жена моя хотела жить если не в Петербурге, то в Москве. О деревне мне и думать не позволялось. Вот и поселился я в Москве. Я люблю Москву белокаменную, с вековым Кремлем, с славным и родным воспоминанием на каждом шагу. Москва — сердце России, и это сердце бьется благородным чувством ко всему отечественному. В низшем слое московского населения господствует прямотушие; в высшем — блестят несколько даровитых благонамеренных умов, одушевленных любовью к полезным занятиям, стремлением к прекрасной народной цели. Но это узнал я после. Я попал в какой-то особый круг, составляющий в огромном городе нечто вроде маленького досадного городка. Этот городок, братец, — городок отставной, отечество усов и венгерок, приют недовольных всякого рода, вертеп самых странных разбоев, горнило самых странных рассказов. В нем живут отставленные и отставные, сердитые, обманутые честолюбием, вообще все люди ленивые и недоброжелательные. Оттого и господствует между ними дух праздности и празднословия, и недаром называют этот городок старухой. Ему прежде всего надо болтать, болтать во что бы то ни стало. Он расскажет вам, что серый волк гуляет по Кузнецкому мосту и заглядывает во все лавки; он поведает вам на ухо, что турецкий султан усыновил французского короля; он выдумает особую политику, особую Европу — было бы о чем поболтать. Но это зло еще небольшое: праздность

породила гнуснейшие дела. Расскажу тебе свой дебют в Белокаменной. Меня тотчас же по приезде повезли в одно приятное общество. Это общество нечто вроде министерства празднующихся, камеры тунеядцев. При моем появлении все присутствующие начали искоса на меня поглядывать, как бы на дикого зверя, и начали между собой шептаться. Потом какой-то господин с большим белокурым хохлом подошел ко мне и начал со мною знакомиться, говоря, что он очень знавал батюшку, служил с дядюшкой и даже немного помнит самого дедушку. «По этому праву,— продолжал он,— позвольте дать мне вам совет. Видите ли вы там господина с большими черными усами? Берегитесь его... он предложит вам играть с собой и обыграет вас наверное...» Я поблагодарил приятеля моего семейства и пошел в другие комнаты. Восбрази мое удивление! за мной бежит господин с черными усами и начинает со мною разговор. «Вы давно знакомы с этим белокурым хохлом?» — «Нет, сейчас познакомился». — «Ну так берегитесь его: он хочет вас обыграть. Я почел долгом вас предупредить, потому что ваша тетушка была всегда ко мне очень милостива, да и к тому же мы, кажется, несколько сродни».

«Что же это такое?» — подумал я и с любопытством начал прислушиваться к разговорам. Но тут я наслушался таких слов, таких откровенных признаний, таких странных наклонностей, что волосы у меня стали дыбом. Иные вольнодумничали вполголоса и низко кланялись полицеймейстеру; другие рассказывали с чувством и восторгом о рубцах и кулебяках; третьи хвастали сильным пьянством; один господин рассказал даже весьма забавно, как его однажды побили; наконец, некоторые разговаривали вслух о таких удивительных московских тайнах, которых и сам Сю не решился бы напечатать. Говорили тоже о собаках и о женщинах, с тем только различием, что о собаках относились с уважением. Старики играли в вист и громко бранились между собой, после чего, по окончании партии, ходили они обнюхивать ужин и потом уезжали домой. Наконец, в адской комнате отчаянные игроки с бледными лицами и впалыми щеками играли в тысячную игру. Кругом столов толпились любопытные с бессмысленной жадностью на лице и подлым восторгом к слепому счастью. Кипы ассигнаций валялись по зеленому полю, и страшная тишина прерывалась только роковым приговором проигрыша. И что тут проигрывалось, не говоря уж о деньгах! Были тут и молчаливые

люди, которые сидели в углу и пожимали плечами; были многие другие, которые, привыкнув к подобному образу жизни и прислушавшись к странным речам, по силе привычки уже ничего не находили в них предосудительного, а скорее нечто удалое и молодецкое. Таким образом, они братствуют с людьми, которых бы при настоящей оценке совести они не велели бы пускать и в лакейскую. Это объясняется просто. Пороки петербургские происходят от напряженной деятельности, от желания выказаться, от тщеславия и честолюбия. Пороки московские происходят от отсутствия деятельности, от недостатка живой цели в жизни, от скуки и тяжелой барской лени. Впрочем, это относится, разумеется, не ко всему обществу, а к малой части того общества, которое наиболее заставляет говорить о себе. Везде есть хорошие и умные люди... только они обыкновенно удаляются от шума и с трудом заводят новые знакомства, тогда как городская сволочь тотчас бросается в глаза и завлекает в разные глупости таких бесхарактерных простаков, каков я, например. Мало-помалу я начал привыкать к странностям круга, в который я попал, познакомился со всеми и оттого стал ко всем благосклоннее. Греха таить нечего, я перестал ужасаться откровенных рассказов, постиг философию стерляжьей ухи и расстегаев, отклонился от людей образованных и радушных, которых так много в Москве, но остался в кругу известной шайки, так что наконец в один прекрасный вечер сел я играть по маленькой с белокурым хохлом и с черными усами. Само собой разумеется, что они обыграли меня начистоту и сделались тотчас со мной весьма фамильярны, трепали меня по плечу, называли меня братцем; скотиной, фефелой, словом, оказывали мне самые милые знаки дружбы. Это было досадно... Когда я вздумал их остановить, они рассердились и начали уж ругаться. Хохол назвал меня шпионом, а усы вздумали поносить поведение жены моей самым мерзким образом. Ты знаешь, я человек горячий. Правой рукой вцепился я в хохол, а левой в усы, и началась настоящая драка. Нас разняли; мы положили, как водится, стреляться на другой день в Марьиной роще, и я с отчаянием поехал домой. И что же, братец? Я вдруг понял, что люблю жену и что если б она и я были иначе воспитаны, то могли бы быть очень счастливы; души наши были неиспорченные, но испорчены были наши привычки; словом, недостаток твердых правил, необходимость светского развлечения ввергали нас

в ужасную пропасть. Жена моя недурна собой, петербургская дама. Ее приняли в Москве с восторгом и завистью, превозносили в глаза и терзали заочно. Впрочем, это везде так делается. Она не думала остерегаться. Как-то протанцевала она несколько мазурок сряду с одним офицером. Две-три барыни перемигнулись, дватри шалуна сострили на ее счет, и вот — пылинка раздулась горой. На другой день на Тверской рассказывали, что жена моя явно живет с любовником; на Дмитриевке — что у ней два любовника; на Арбате — что у ней три любовника. Через неделю весть эта дошла и до Замоскворечья и до Красных ворот, но там уже любовники моей жены расплодилось до числа баснословного. Московские барыни возили с собою поддельные письма, рассказывали с чувством и негодованием совершенно невозможные случаи, притом каждая придумывала какое-нибудь слово. Слово делалось при повторении анекдотом, анекдот — романом, и московская чудовищная сплетня принялась широко и размашисто разгуливать по матушке Белокаменной насчет жены моей. Когда прпехал я к себе после гадкой драки, мы объяснились с женой. Она плакала и жаловалась на гнусные сплетни; я также плакал, ибо чувствовал, что всему виноват, что промотал все до копейки и что мы остаемся нищими. Странно: в эту минуту мы с женой помирились, все друг другу простили, друг друга поняли и полюбили, но жить нам вместе не было никакой возможности. Вдруг стучатся в двери. Это что? Квартальный и жандармы. Меня велено взять сейчас и отправить во Владимир. У ворот стояла телега. Посадили меня, грешного, и повезли. Жена уехала к отцу в Петербург, а я живу здесь, братец, под присмотром полиции, гуляю на бульваре, смотрю на виды, и вот тебе конец моей простой и глупой истории. Да пойдем-ка ко мне выкурить трубочку.

— Нельзя, братец, меня дожидается старик мой; и то, я думаю, уж сердится.

— Зайди хоть на минутку. Дай с товарищем душу отвести.

— Нельзя, право... Проводи-ка лучше меня к трактиру. Старик, право, сердится.

И в самом деле, у трактира Василий Иванович сидел уже в экипаже и ворчал что-то про молодых людей. Иван Васильевич мигом вскочил на свое место, и тарантас медленно спустился по горе и отправился снова в туманную даль.

Иван Васильевич сидел в уголке комнаты постоялого двора и грустно о чем-то размышлял. Книга путевых впечатлений лежала перед ним в неприкосновенной близине.

«В самом деле,— думал он,— отчего в жизни ожидания наши, и желания, и надежды никогда не сбываются? Загадываешь одно, а выходит противное, и даже не противное, а что-то совершенно другое, неожиданное. В воображении все обрисовывается в ярких, приятных и резких красках, а на деле все сливается в какой-то мутный хаос скучной действительности. Вот, например, долго желал я погулять на Западе, подышать воздухом юга, поглядеть на мудрых людей нашего века, взглянуть поближе на европейское просвещение, на современную славу, на все, чем шумят и хвастают люди. И вот пошатался я по Европе, видел много трактиров, и пароходов, и железных дорог, осмотрел многие скучные коллекции и нигде не находил тех живых впечатлений, которых надеялся. В Германии удивила меня глупость ученых; в Италии страдал я от холода; во Франции опротивела мне безнравственность и нечистота. Везде нашел я подлую алчность к деньгам, грубое самодовольство, все признаки испорченности и смешные притязания на совершенство. И поневоле полюбил я тогда Россию и решил посвятить остаток дней на познание своей родины. И похвально бы, кажется, и нетрудно...

Только теперь вот вопрос: как ее узнаешь? Хватился я сперва за древности — древностей нет; думал изучить губернские общества — губернских обществ нет. Все они, как говорят, форменные. Столичная жизнь — жизнь не русская, а перенявшая у Европы и мелочное образование и крупные пороки. Где же искать Россию? Может быть, в простом народе, в простом вседневном быту русской жизни? Но вот я еду четвертый день, и слушаю и прислушиваюсь, и гляжу и вглядываюсь, и хоть что хочешь делай, ничего отменить и записать не могу. Окрестность мертвая; земли, земли, земли столько, что глаза устают смотреть; дорога скверная... по дороге идут обозы... мужики ругаются — вот и все... а там: то зритель пьян, то тараканы по стене ползают, то щип сальными свечами пахнут... Ну можно ли порядочному человеку заниматься подобною дрянью?.. И всего безотрад-

нее то, что на всем огромном пространстве господствует какое-то ужасное однообразие, которое утомляет до чрезвычайности и отдохнуть не дает... Нет ничего нового, ничего неожиданного. Все то же да то же... и завтра будет как нынче. Здесь станция, там опять та же станция, а там еще та же станция; здесь староста, который просит на водку, а там опять до бесконечности все старосты, которые просят на водку... Что же я стану писать? Теперь я понимаю Василия Ивановича: он в самом деле был прав, когда уверял, что мы не путешествуем и что в России путешествовать невозможно. Мы просто едем в Мордасы. Пропали мои впечатления!»

Тут Иван Васильевич остановился. В комнату вошел хозяин постоялого двора, красивый, высокий парень, обстриженный в кружок, с голубыми глазами, с русой бородкой, в синем армяке, перетянутый красным кушаком. Иван Васильевич невольно им залюбовался, порадовался в душе красоте русского народа и немедленно вступил в любознательный разговор.

— Скажи-ка мне, приятель... здесь уездный город?

— Так точно-с.

— А что здесь любопытного?

— Да чему, батюшка, быть любопытному! Кажись, ничего нет.

— Древних строений нет?

— Никак нет-с... Да бишь... был точно деревянный острог, печка сказать, никуда не годился... Да и тот в прошедшем году сгорел.

— Давно, видно, был построен.

— Нет-с, не так давно, а лесом мошеник подрядчик надул совсем. Хорошо, что и сгорел, право-с.

Иван Васильевич взглянул на хозяина с отчаяньем.

— А много здесь живущих?

— Нашей братьи мещан довольно-с, а то служащие только.

— Городничий?

— Да-с, известное дело: городничий, судья, исправник и прочие — весь комплект.

— А как они время проводят?

— В присутствии ходят, пунцты пьют, картишками тешатся... Да бишь, — спохватился, улыбнувшись, хозяин, — теперь у нас за городом цыганский табор, так вот они повадились в табор таскаться. Словно московские баре али купецкие сынки. Такой кураж, что чудо! Судья на скрипке играет, Артамон Иванович, заседа-

тель, отхватывает вприсядку; ну и хмельного-то тут не занимать стать... Гуляют себе, да и только. Эвтакая, знать, нация.

— Цыгане, цыгане!— воскликнул с радостью Иван Васильевич, вскочив со своего стула.— Цыгане, Василий Иванович, цыгане... Первая глава для моих впечатлений. Цыгане — народ дикий, необузданный, кочующий, которому душно в городе, который в лес хочет, в табор свой, в поле, в степь, на простор. Ему свобода первое благо, первая потребность. Свобода — вся жизнь его... Как они сюда попали?..

— Задержаны, батюшка, по приказанию начальства. Бают, будто секретарь просил с них по золотому с кибитки для пропуска. Видно, шататься не велено. Они, с дури, что ли, или точно денег у них не было, не дали; ну и сидят тешер голубчики, не прогневайся, шестой месяц никак под караулом.

Восторг Ивана Васильевича немножко утих. Однако он приготовил свою книгу и начал чинить карандаш.

В соседней комнате послышался тяжелый шорох, и улыбающийся лик Василия Ивановича показался в дверях.

— Цыгане,— сказал он,— га, га, цыганочки. Вишь какие проказники! Точно на ярмарке или в Москве... Цыган себе, изволите видеть, завели... Вот что!.. А есть ли хорошенькие? — прибавил он, прищуривая левый глаз и улыбаясь значительно.

— Всякие есть,— отвечал хозяин,— есть и хорошие. Стешка есть, такая лихая, чудо-баба, как выпьет... Стряпчий, что ни получит по месту, так к ней и несет. Совсем, говорят, издерживается. Ну, вот Матреша есть, исправничья, Наташка есть, голосистая и недотрога такая. Судья, бают, тысячи сулил. «Не надо,— говорит,— мне ваших тысяч». Вот какая-с! А голос как у соловья. Нечего сказать, знатно поют... Ну, да если хотите, сами услышать можете. Они всего в полверсте отсюда... Коль вашим милостям угодно, я проводить могу.

Иван Васильевич взглянул на Василия Ивановича.

Василий Иванович взглянул на Ивана Васильевича.

— Пойдем,— сказал Василий Иванович.

— Пойдем,— сказал Иван Васильевич.

Они отправились.

Посреди дороги Иван Васильевич остановился.

— Однако,— сказал он,— надеюсь, мы никого из этих чиповников там не застанем?

— Никого, — отвечал проводник. — Теперь присутствии.

— Ну, так пойдем.

У самой опушки леса, около большого поля, цыганский табор рисовался в живописном беспорядке. Телеги с протянутыми к деревьям холстами в виде шатров; привязанные лошади, смуглые ребятишки на перинах, дымящиеся костры, безобразные старухи в оборванных мантиях, коричневые лица, всклокоченные волосы — все резко обозначалось в этой странной и дикой картине. Иван Васильевич был очень доволен, и хотя он и должен был зажать нос от цыганского запаха, однако заманчивость неожиданного приключения и надежда наконец начать книгу свою располагали дух его к самой приятной снисходительности.

Василий Иванович пыхтел и торопился.

— Эй вы, черномазые! — закричал проводник. — Вылезайте-ка, черти, живей! Вишь, господа к вам пожаловали.

Весь табор зашевелился. Старухи бегали между телегами и сзывали молодых. Молодые поспешно наряжались за холстами, ребятишки прыгали, мужчины низко кланялись и настраивали гитары. «Живее, живее, бабы, господа дожидаются!» — кричал атаман. И вот из-под навесов хлынула толпа цыганок, запачканных, растрепанных, в ситцевых грязных платьях, в оборванных розовых передниках.

Иван Васильевич остолбенел. Как, и у цыган водворились жалкие европейские моды! Как, и они не сумели удержать своей первобытной физиономии? Погибли Хитаны, Эсмеральды, Прециозы; Прециоза одета щеголихой Смоленского рынка; Эсмеральда в пегом газовом платье, украденном на Басманной. Но этого мало. Цыганки перемигнулись и вдруг с разными ужимками затянули в общем жалобном писке не кочевую цыганскую песню, а русский водевильный романс. Где же тут своебытность и народность? Где найдешь их в Европе, когда и цыгане даже их утратили?

Книга путевых впечатлений выпала из рук Ивана Васильевича.

Зато Василий Иванович был в восхищении. Он шевелил плечами, притопывал ногой, даже подтягивал довольно хриплым голосом и утопал в удовольствии. Цыганки окружали его со всех сторон. Те, которые не цели, называли его красавцем, солнышком, гадали ему на ла-

дони и сулили несметные богатства. Пьяная Сешка плясала, разводя руками. Матрена кричала, как будто ее режут, и вот все вдруг захлопали в ладоши и начали провозглашать многие лета Василию Ивановичу. И Василий Иванович улыбался и, забыв про Авдотью Петровну, сыпал двугривенными и четвертаками в жадную толпу.

— Вот так, вот так! — говорил он. — Лихо! Ну, теперь... «Эй вы, уланы...» или, знаешь, вот что: «Ты не поверишь, ты не поверишь». Хорошо!.. Ну-ка плясовую... Вот так! Хорошо! Славно!.. Молодцы!.. Лихо! Ну, потешили... Ай да спасибо!.. Иван Васильевич, а Иван Васильевич! что ты стоишь, как будто восемь в сюрсах проиграл... Взгляни-ка направо... Видишь ли в красном платке? Как бишь ее, Наташа, что ли?.. Какова? А?..

Ивану Васильевичу сделалось сперва досадно, а потом грустно. Он взглянул на Наташу.

Наташа, несмотря на свой уродливый наряд, была точно хороша собой. Большие черные глаза сверкали как молния; смуглые черты были нежны и правильны, и белые, как сахар, зубы резко отделялись на малиновых устах.

Иван Васильевич вынул из галстуха золотую булавочку и подошел к красавице.

— Наташа, — сказал он, — ты родилась цыганкой, оставайся цыганкой, не носи глупых передников, не презирай своего народа, не пой русских романсов. Пой свои родные песни и в память обо мне возьми мою булавку.

Цыганка живо приколотила булавку к платку, взглянула на молодого человека полувесело-полузадумчиво и сказала ему вполголоса:

— Я люблю наши песни, я стану носить твою булавку. Я тебя не забуду.

Иван Васильевич отошел в сторону, и, не знаю почему, ему стало еще грустнее. Так прошло несколько минут.

— А каково поют? — спросил за ним голос.

Иван Васильевич обернулся. За ним стоял их проводник и лукаво на него поглядывал.

— Не правда ли, что хорошо поют? Барину никак нравится, — продолжал он, указывая на Василия Ивановича, умильно стоящего среди цыганок, которые снова хлопали в ладоши, припевая многие лета Василию Ивановичу.

— Поют хорошо.

Ивану Васильевичу не хотелось ни говорить, ни оставаться. Он с трудом оттащил Василия Ивановича, который при диких восклицаниях насилу решился покинуть своих смуглых обольстительниц и в заключение бросил им с восторгом красную ассигнацию.

Наконец оба отправились молча к станционному двору.

— Недурно поют, — продолжал неугомонный проводник. — Жаль только, что бедняжки сидят под караулом. Ну да, впрочем, сидеть на чистом воздухе в лесу... не то что сидеть, как я, например, сидел, хоть бы сказать, в остроге...

IX

ПЕРСТЕНЬ

— Ты сидел в остроге? — с любопытством спросил Иван Васильевич.

— Сидел, барин, неча греха таить, безвинно сидел.

— А за что?

Рослый детина провел рукой по русой бородке, поправил ус и улыбнулся. Голубые глаза его оживились огнем понятливости и веселья.

— За частнику, — сказал он.

— Как за частнику? — подхватил Василий Иванович, смеясь всем туловищем. — За жену частного пристава? Статочное ли это дело? Да ты, брат, я вижу, балагур. Потешь-ка, брат, расскажи, как это у вас было. Дай послушать твои проказы.

— Изволь, барин, расскажу, пожалуй... Изволишь ты видеть: у меня свой постоянный двор для проезжающих, и сарай есть, и сено держим. Милости просим кому угодно: самовар всегда готов, а настойка такая, я вам доложу, что только облизывайся. Это, знаешь, уж так, для угощения, по разнице продавать не велено... Ну, да кто богу не грешен, царю не виноват? Добрые люди, дай бог им здоровья, меня не забывают: так ко мне на двор и заворачивают. А впризу, изволишь ты видеть, барин, у меня лавка со всякой всячиной для крестьянского обихода. Тут и крупа всякая, и рукавицы, и кушачки, и хомуты, и бечевье, и чернослив — словом, что надо.

Года два, что ли, тому прислали нам из города но-

вого частного. С собой такой маленький, круглый, словно бочка, не больно молодой, да и сказать-то надо правду, крепко испивал. «Что,—говорим мы,—ребята, ведь дрянного нам частного прислали. Ну а что же ты тут станешь делать? Даром, что дрянной, все-таки частный!» Делать нечего — пошли к нему на поклон; кто взял фунт чая, кто голову сахара, кто другого товара из лавки. Нельзя же и не поздравить с приездом. Вот пришли мы, купечество да мещанство, кто в мундирах, кто в новом платье, как водится, с хлебом с солью, и стоим себе у стенки. А частный-то павлином расхаживает себе в халате да только гостинцы подбирает. Как теперь помню, вот Федька Сидорин толкает меня в бок. «Смотри,—говорит,— в двери никак частника выглядывает. О, да какая быстроглазая!» А отчего бы не посмотреть, в самом деле? Ну уж, частника, сказать правду, маков цвет! С собой такая румяная, а глаза, что уголья, так и искрятся. Подстрекнул меня нелегкий, загляделся на красотку. Чай, она заметила, хлопнула дверью — и была такова.

Вот с того времени — греха таить нечего — нашла на меня дурь несказанная: не сплю, не ем, свет постыл... Только и думаешь, как бы забраться к частному. Бежишь, бывало: «ваше благородие, соседние свиньи покоя не дают, прикажите хозяину держать их на привязи»; то, мол: «десятские, ваше благородие, дерутся и требуют, чтоб их водкой поили даром, говорят, что они люди казенные... Что прикажете с ними делать?» То, мол: «ваше благородие, в пожарном струменте колесо сломано, на какие суммы прикажете починить?» Мало ли что передумал. Да еще так приноровишь, когда знаешь, что частный лежит замертво. Стучишь себе, стучишь, Марья Петровна и выйдет в кацавсечке. «Кого вам угодно?» — «А что, его благородие дома-с?» — «Нездоров-с, голова болит, прилег маленько». — «Гм, дело известное... Ничего-с. Ужотка зайду. Доложите, что Иван Петров Фадеев приходил по своему делу».

Вот-с, недолго спустя Марья Петровна начала уже прогуливаться мимо моей лавки и заговаривать. «Что это, Иван Петров, как холодно нынче?» — «Видно, сударыня, морозило ночью». Или: «Какое торгуется, Иван Петров?» — «Ничего-с, изрядно, не можем жаловаться».

Наконец и самый частный начал ко мне похаживать в лавку. Придет, бывало, и отдувается. «Что это, братец,

я озяб что-то? Нет ли водки, хоть бы согреться немного». — «Как не быть, ваше благородие! извольте кушать на здоровье». А водка точно знатная... Я ему рюмочку, другую, третью. Частный мой так нагреется, что еле до дома дойдет. Так по этакой-то-с оказии я и стал ему задушевым приятелем. Только и слышу, бывало: «Иван Петров, зайди закусить; Иван Петров, вечерком ко мне милости просим; пройдемся по пуншту». С утра до вечера все, бывало, зовет к себе. А мне то-то и надо. Частный за ворота... а я в дверь... словом...

Тут рассказчик улыбнулся и остановился опять.

— Словом... Ну да что тут много толковать! Прошел месяц, другой. Сижу я в своей лавке и торгую по обычаю. Вижу я, идет частный и отдувается. Я вскричал Сеньке: «Поддай анисовой, частный идет». Вошел частный. «Здравствуйте, Иван Петров». — «Здравия желаю, ваше благородие». — «Что это, братец, я озяб что-то? Нет ли чем погреться?» — «Как не быть!» Вот я взял было рюмку и подношу ему с поклоном: прошу, мол, кушать на здоровье. А он как надуется вдруг весь красный, и глаза сделались у него словно оловянные ложки. Господи боже, что это с ним? Смотрит мне на руку и стоит как вкопанный. Я сам взглянул на руку... Ахти, грех какой, кольцо-то я забыл снять.

А надо тебе, барин, сказать, что частника подарила мне колечко червонного золота с голубым цветочком и просила носить на память, только не показывать мужу.

Как только ушел он, я и смекнул, что дело-то плохо, да, давай бог ноги, задами, через заборы прямо к частнике. «Беда, Марья Петровна, беда, возьмите ваш перстень».

Не успел я вернуться, а меня уже схватили трое десятских за шиворот, да и тащат в острог. «Помилуйте, я купеческий племянник, не смейте меня трогать». Ничуть не бывало, связали руки, да и посадили в острог, в темную, и наручники надели. Вор, дескать.

Не больно весело, барин, сидеть в остроге. Духота такая, что не вытерпишь. На руках железы. Хочешь руки поднять — нельзя. Хочешь лечь — негде. Хочешь есть — вода тебе да хлеб. Не приведи бог попасть в острог!

Вот разнеслась молва по городу, что Иван Петров Фадеев украл у частного перстень червонного золота. Меня, дай бог здоровья, добрые люди любили. Пошли

просить городничего, чтоб он сам при себе сделал следствие. Городничий наш, добрый такой, служил в мушкетерском полку поручиком, сам отправился к частному и взял с собой секретаря правления и стряпчего. А с горя частный как назюбился, что лыка не вязал. Послали за мною. Привели меня с инвалидами, как преступника. Стыдно было перед народом, а делать нечего.

«На тебя показывает частный пристав,— говорит мне городничий,— что ты украл у него в доме женино кольцо червонного золота с голубыми камешками».

«Я не крал никогда ничего, ваше высокоблагородие,— говорю я.— Была ли когда молва в народе, что Иван Петров Фадеев мошенник и вор?»

А частный так и мычит: «Вор, вор! Я вам говорю — вор. Еще вчера видел я у Марьи Петровны на правой руке это кольцо. Да извольте сами спросить». Частный позвал жену и привел ее к городничему. «Вот, говорит, хоть убейте... убей меня гром, еще вчера на этом пальце было... фу ты пропасть!.. Как же оно здесь опять очутилось?..»

«Какое кольцо? — спросила Марья Петровна.— У меня никакого кольца не крали. Вот сердоликовое, вот с супирчиком, вот золотое червонного золота с голубыми цветочками. Стыдно тебе,— говорит она мужу,— пить до того, что из ума выживаешь!»

Частный разинул рот, одурел совсем, а городничий, стряпчий и секретарь перемигнулись и смекнули дело. Да как прыснут разом, начнут, голубчики, хохотать... Животы себе надорвали...

Меня тут же и отпустили домой.

Так все и кончилось. Городничий сказал только: «А тебе, братец, урок. Не посить перстеньков да не ухаживать за барынями, а взять себе в дом хорошую хозяйку, которая смотрела бы у тебя за всем». — «Слушаю-с», — отвечал я, да и давай бог ноги домой. А радость-то какая! Сенька, Сидор, все соседи, все православные пировали у меня до утра. На другой день частный и частника выехали из города, а я в первый мясоед взял себе жену у соседа Сидора, и вот третий год,— прибавил Фадеев,— живем себе... слава богу... нечего сказать... ладно.

Путники едут по большой дороге. Дорога песчаная. Тарантас тянется шагом.

— Признаюсь,— сказал, зевая и потягиваясь. Василий Иванович,— скучненько немного, и виды по сторонам очень не замысловаты... Налево гладко... Направо гладко... Везде одно и то же. Хоть бы придумать чем-нибудь позаяться.

— Чтением, например,— сказал Иван Васильевич.

— Пожалуй, хоть бы и чтением. Я очень люблю иногда, как делать нечего, книжечки читать. Очень, иногда, забавные истории пишут. Да кстати, коли смею спросить, вы, может быть, сами сочиняете?

— Нет-с.

— И хорошо, брат, делаешь. Дворянину неприлично идти в писаки. И потом,— прибавил, вздохнув значительно, Василий Иванович,— не всякому дан talent...т.

— Для нынешней словесности не нужно таланта,— сказал Иван Васильевич.

— Не всякому дано дарование.

— Не нужно дарования!

Василий Иванович взглянул на Ивана Васильевича.

Иван Васильевич взглянул на Василия Ивановича.

— Да,— продолжал Иван Васильевич,— теперь не нужно дарованья — нужна одна смышленость. Теперь словесность — ремесло, как ремесло сапожника или токаря. Писатели не что иное, как литературных дел мастера, и скоро подделают они себе вывески, как в кондитерских и булочных.

— Ну уж, позволь,— прервал Василий Иванович,— это ты уж просто, кажется, аллегория говоришь.

— Нет, я говорю правду. Неужели вы не знаете, какие жалкие и мелкие расчеты скрываются под громкими названиями? Вы еще верите, когда вам говорят, что словесность — выражение народного духа и бытия; вы веруете в высокое ее призвание научать людей, исправлять пороки и направлять душу к чистым наслаждениям. Все ведь это вздор. Словесность есть один из тысячи способов добывать себе деньги, и все прекрасные чувства, все глубокие мысли, которыми наполнены теперь книги, можно исчислить на ассигнации и серебро. Уничтожьте продажу книг — и словесность исчезнет.

В наше продажное время поэзия разлагается на акции и восторг берется на откуп. Скоро заведут сочинительские фабрики, и готовые мысли и чувства будут продаваться по таксе, смотря по достоинству, как продаются теперь у портных фраки и панталоны.

— В прошедшем году, — заметил Василий Иванович, — я купил себе на Кузнецком мосту фланелевый сюртук. Как бы вы думали? Никуда не годился: француз-мошенник обманул.

— Так обманывают вас те, которых вы читаете с удовольствием, как добрый и честный человек. Вы с доверчивостью покупаете кафтан, а кафтан ваш шит из тряпок, и то на живую нитку. Теперешние портные, или литераторы, славно себе набили руку для выкройки. У них все в дело идет: и политика, и религия, и нравственность, и юридические вопросы, и философские задачи, а паче всего любовные похождения всех возможных родов. Взгляните на современную европейскую литературу; взгляните в балаганные кулисы: вам, право, станет тошно. Перед вами все нарумянено, раскрашено, фальшиво; всюду мишура и фольга, всюду жадное стремление обобрать публику. Но публика не поддается, а проходит себе своим путем перед словесностью, как перед нищим, и лишь изредка бросает ей залежалую гривну. В самом деле, Европа до того стара и опытна, что уж не может более играть добросовестно в литературу. В Европе чистые чувства задушены пороками и расчетом. В ней нет более тех девственных призывов, которые необходимы для изливания девственных и неподдельных впечатлений. Кое-где встретятся еще, может быть, несколько людей, одушевленных благородным огнем, но они не воскресят погибшего: из лохмотьев не сделать им порфиры. Вот почему в стране, еще во многом девственной, в стране, еще не утратившей вполне святости своей — первобытной народности, в стране могучей и доблестной, как Россия, должны быть свои родники, чистые, светлые, не смешанные с грязью испорченных народностей.

— Так-с, — сказал Василий Иванович, который слушал довольно небрежно и ничего не понимал. — Вы любите нашу русскую литературу?

— Сохрани меня бог! — с живостью прервал его товарищ. — Я не говорил такой глупости. И к тому же, о какой литературе вы говорите? Их две у нас.

— Какие две?

— Да! Одна даровитая, но усталая, которая показывается в люди редко, смиренно, иногда с улыбкой на лице, а всего чаще с тяжкою грустью на сердце; другая наша литература, напротив, кричит на всех перекрестках, чтоб только ее приняли за настоящую русскую литературу и не узнали про настоящую. Эта литература приводит мне всегда на память крикливых сидельцев Апраксина двора, которые чуть не хватают прохожих за горло, чтоб сбить им свой гнилой товар. Признаюсь, я не видал ничего смешнее, удивительнее, уродливее и отвратительнее этой подложной литературы.

— Отчего это?

— Оттого, что в самом деле литературы тут нет, а одно только название. Оттого, что наши даровитые писатели всегда удалялись и теперь удаляются от ее прикосновения, опасаясь быть замешанными в ее странную деятельность; оттого, что она, теперь в особенности, не что иное, как жалкий нарост на народной почве; оттого, что у нее нет ни цели, ни смысла. Впрочем, если хотите, у нас есть многое множество таких литератур: несколько петербургских, несколько московских, несколько губернских, и в каждой литературе есть несколько партий, которые в муравьиных кучках двигаются, и хлопочут, и суетятся, как лилипуты Юлливера. Ревностные члены разрозненного тела, они угощают святую Русь стишками на манер Ламартина, драмами на фасон Шиллера, повестями — жалкими пародиями заграничных и без того карикатурных повестей и, наконец, той чудовищной неблагопристойности, которую называют, с позволения сказать, журнальной критикой... Но все это, слава богу, не русское. Русский никогда не узнает своего родного гения в жалком фигляре, который коверкается и пляшет перед ним в лохмотьях, и, поверьте, на толкучем рынке собирателей чужого ума русский человек не отзовется ни на один голос, ему неизвестный и непонятный. Ему не то надо; ему давай родные звуки, родные картины, чтоб забилося сердце его, чтоб засветлело в его душе. Ему говори языком его о любимых его поверьях, о мудрых и простых обычаях его края, о живых его потребностях... Но — увы! поверья наши и обычаи исчезают. Все, что живет еще в памяти народной, все, что могло бы быть основой словесности народной, теряется с каждым днем с переменой наших нравов. Русский гений издыхает, задыхаясь от всего, что на него накалили. Бедный ребенок, он хотел только подрасти да при-

осаниться, чтоб молвить слово твердое по-своему, чтоб гаркнуть на всю вселенную по-нашему, по-нашенски, во всю богатырскую грудь; а мы на него навьючили французский парик да немецкий кафтан, да опутали его в ободранные ткани театрального гардероба — и не видим мы, не хотим видеть, что бедный мальчик чахнет и плачет неутешно. Но что делать? — спросите вы. Отвечать не трудно. Освободить ребенка, бросить в печку театральный хлам и обратиться снова к естественным, к родным началам. Просвещение отдалило нас от народа; через просвещение обратимся снова к нему. Кто знает: быть может, в простой избе таится зародыш будущего нашего величия, потому что еще в одной избе, и то где-нибудь в захолустье, хранится наша первоначальная, нетронутая народность.

Люди совестливые! Не ищите родных вдохновений в петербургских залах, где танцуют и говорят по-французски. Поверьте, вы найдете их скорее в бедной хате, заваленной снегом, на теплой лежанке, где слепой старик поведает вам нараспев чудные предания, полные огня и душевной молодости. Спешите вслушиваться в рассказы старика, потому что завтра старик умрет с своими напевами на устах и никто, никто не повторит их более за ним.

Многое уже погибло таким образом невозвратно. Многое пропадает с каждым днем. Старина наша исчезает и уносит народность с собой. А что же получаем мы взамен? Не свежую пищу, не румяные плоды, а душевную ветошь, тлеющую падаль. Скажите же, не лучше ли нам бросить в окно литературную дрищ и приняться с терпением подбирать все наше первобытное, слово к слову, где бы оно ни было, не брезгая, как модная графиня, простотою крестьянской, а дорожа, как русский, всем, что остается в нас русского. Познанием старины нашей дойдем мы до познания нашего языка, нашего народного духа, нашего народного требования. И тогда будет у нас словесность своебытная, выражение не переимчивой, вялой бездарности, а полезного, трудолюбивого успеха, предмет народной гордости, народного наслаждения, народного усовершенствования... Я немного разгорячился, — продолжал Иван Васильевич, — но не прав ли я?.. Признайтесь, вы, кажется, размышляете?..

Василий Иванович не отвечал ни слова. Красноречивая выходка Ивана Васильевича, как вообще все, что касалось до русской литературы, произвела на него обычное свое действие: он спал сном праведного.

Погода была пасмурная. Не то дождь, не то туман облекали мертвую окрестность влажною пеленой. Впереди вилась дорога темно-коричневой лентой. На одинокой версте сидела галка. По обеим сторонам тянулись изрытые поля да кое-где мелкий ельник. Казалось, что даже природе было скучно.

Василий Иванович, завернувшись в халат, ергак и шушун, лежал навзничь, стараясь силой воли одолеть толчки тарантаса и заснуть наперекор мостовой. Подле него на корточках сидел Иван Васильевич в тулупчике на заячьем меху, заимствованном по необходимости у товарища. С неудовольствием поглядывал он то на серое небо, то на серую даль и тихо насвистывал «Nel furor della tempesta» — арию, которую, как известно, он в особенности жаловал. Никогда время не идет так медленно, как в дороге, в особенности на Руси, где, сказать правду, мало для взора развлеченья, но зато много беспокойства для боков. Напрасно Иван Васильевич старался отыскать малейший предмет для впечатления: все кругом безлюдно и безжизненно. Прошел им навстречу один только мужик с лаптями на спине, да снял им шапку из учтивости, да две клячи с завязанными передними ногами приветствовали около плетня поезд их довольно странными прыжками. Иван Васильевич схватил было уж свою книгу и хотел было бросить ее с негодованием в большую лужу, в которой тарантас едва не остался, как вдруг он разинул рот, вытаращил глаза и протянул руку. Вдали показался какой-то странный ком, как черное пятно на коричневом грунте. Иван Васильевич встрепенулся.

— Василий Иванович, Василий Иванович!

— А?.. Что, батюшка?..

— Вы спите?..

— Да черта с два, будешь тут спать!

— Взгляните-ка на дорогу.

— Чего я там не видал?

— Никак кто-то едет.

— Купцы, верно, на ярмарку.

— Нет; это, кажется, карета.

— Что, что?.. А, да и в самом деле... Уж не губернатор ли?

Тут Василий Иванович поправил немного беспорядок

своего дорожного костюма, из лежачего положения с трудом перешел в сидячее, поправил козырек картуза, очутившийся на левом ухе, и, подняв ладонь над глазами, слегка приподнялся над пуховиком.

— А, да и в самом деле карета, да и стоит еще. Верно, изломалось что-нибудь: рессора опустилась, шина лопнула. В этих рессорных экипажах что шаг, то починка. То ли дело, знаешь, хороший тарантас: не изломается, не опрокинется, только дорога бы хорошая, так даже и не тряско.

Между тем они подвигались к предмету их любопытства. В самом деле, посреди дороги стояла карета, и даже карета щегольская, дорожный дормез. Ни сзади, ни спереди не было видно чемоданов, перевязанных веревками, ни коробов, ни кульков, употребляемых православными путешественниками. Карета, исключая грязных прысков, была устроена как для гулянья. Из окна выглядывал господин в очках и турецкой ермолке и ругал своих людей самыми скверными словами, как будто они были виноваты, что в английской карете лопнула рессора.

— Эй вы! — закричал он довольно неучтиво подвезжающему тарантасу. — Помогите, пожалуйста.

— Стой! — закричал Василий Иванович.

Иван Васильевич ахнул.

— Князь... Как это вы здесь... в России?

Князь с недоверчивостью взглянул на нежданного знакомого и спросил сквозь дым сигарки:

— А вы как меня знаете?

Иван Васильевич поспешно сбросил тулупчик на заячем меху, выскочил из тарантаса и подбежал к дверцам кареты.

— Здравствуйте, князь. Вы меня не узнаете: я — Иван Васильевич... Мы с вами виделись прошлого года в Париже.

— Ах, это вы? *Que diable!*¹ Какой черт думал вас здесь встретить?

— Да вы-то сами как сюда заехали? Я думал, что вы всегда живете за границей.

— Грешный человек! Я душой русский, но не могу жить в родине. Понимаете, кто привык к цивилизации, к жизни интеллектуальной, тот без них жить не может

¹ Что за черт! (*фр.*)

Эй вы, скоты! — прибавил он, обращаясь к своим слугам. — Возьмите их кучера, да делайте скоро. Чего вы, каналы, смотрели? Я пятьсот палок вам, каналы. Выдрать прикажу, чтоб помнили. Русский народ! Сага ратгя.¹ — продолжал он презрительно, обращаясь к Ивану Васильевичу. — Другого языка не понимают. Без палки ни на шаг. Мои люди остались за границей, а со мной болваны, знаете, которые еще батюшке служили.

— Куда же вы едете? — спросил Иван Васильевич.

— Ах, не спрашивайте, пожалуйста! Такая тоска, что ужас. В деревню еду. Нечего делать. Бурмистр оброка не высылает; черт их знает, что пишут! Неурожай у них там какой-то, деревня какая-то сгорела. А мне что за дело? Я человек европейский, я не мешаюсь в дела своих крестьян; пускай живут как хотят, только чтоб деньги доставляли аккуратно. Я их наскрозь знаю. Такие мошенники, что ужаси! Они думают, что я за границей, так они могут меня обманывать. Да я знаю, как надо поступать. Сыновей бурмистра в рекруты, неплательщиков в рабочий дом, возьму весь доход на год вперед да на зиму в Рим... Ну, а вы что поделываете?..

— Да я так-с... Хотел было путешествовать.

— Как! По России?

— Да-с.

— Ах, это оригинальная идея! Как бишь это говорится? Охота пуще, пуще чего-то...

— Пуще неволи...

— Да, да, пуще невольно. Что же вы хотите, здесь видеть?

— То, чего не увидишь за границей.

— Право! Желаю вам удовольствия и успеха. По моему, умирать за родину, только жить за границей.

— Разумеется! — сказал Иван Васильевич. — За границей жить всселее.

— То есть не везде. В Германии, например, жить зимой несносно: философы, ученые, музыканты, педанты на каждом шагу. Париж — так. Париж на все вкусы. Летом Баден; зимой Париж; иногда Италия. Вот жизнь так жизнь! Вы помните маленькую герцогиню Бенвильскую?

¹ Дорогая родина! (ит.)

— Как же.

— Она теперь с нашим русским, с Сережей

— Право? Каковы наши молодцы!

— А про наших барынь и говорить нечего. Так весело живут, что страх. Помните вы?..

Тут князь начал что-то довольно тихо говорить на уху Ивана Васильевича.

Иван Васильевич прерывал только с удивлением:

— Как, и она?..

Князь улыбался и продолжал себе шепотом:

— И она; да и как еще... да то-то и то-то, да с тем-то и с тем-то... да вот еще... каковы наши дамы?.. А?..

— Ну! А вы что, князь? — спросил наконец Иван Васильевич.

— Да я все тот же. Скучаю. Жениться поздно, остепениться рано. Для службы стар, для дела не гожусь. Люблю жить спокойно. Правду сказать, радости мало, ну а кое-как время убиваю... Скажите, пожалуйста, что это за странная фигура сидит с вами в вашей бричке?

— В тарантасе? — сказал, запинаясь, Иван Васильевич.

— А! Эта штука называется тарантасом? Та-ран-тас. Так ли?

— Да.

— Тарантас. Буду помнить... Ну, а кто едет с вами?

— Это Василий Иванович. Помещик казанский. Он неуклюж немного... и оригинал большой, но человек не глупый и рассудительный.

— Право, я этаким странной фигуры давно не видывал. Ну, починили, что ли?

— Починили, ваше сиятельство!

— Ну, прощайте, любезный, надеюсь с вами еще видеться в Париже... Не забудьте, Rue de Rivoli, bis 17¹. Недели через две я надеюсь перебраться из России... Откровенно говорить, я совершенно отвык от здешних нравов... Ну, пошел! — закричал он, высунувшись в окно. — А ты, Степан, хорошенько ямщика в спину, слышишь ли? В спину его, каналью, чтоб гнал он кляч, пока не издохнут.

Грозный кулак Степана поднялся над ямщиком, и карета помчалась стрелой, закидав грязью и тарантас и наших путников.

— Батюшка, — спрашивал Василий Иванович, пока

¹ Улица Риволи, 17 бис (фр.).

Иван Васильевич снова карабкался на свое седалище, — скажи-ка из милости, кто это такой?..

— Знакомый мой парижский.

— Француз?

— Нет, русский. Только в России жить он не может — не по его нраву; отвык совсем.

— Извольте видеть! Куда же он едет?

— В деревню, собирать недоимки.

— А где его деревня?

— В Саратове.

— Помилуй, братец, да там третий год ничего не родится.

— Ему какое дело? Он слышать о том не хочет.

— Вот как-с. Ну, а как оберет он крестьян своих, так тотчас и за границу?

— Тотчас.

— На житье?..

— На житье...

— Поросенок! — промолвил вдруг красноречиво Василий Иванович и снова повалился на свой пуховик.

И снова потянулась мертвая окрестность; снова сырой туман облек путников, и снова стали мелькать одинокие версты в безбрежной пустыне.

Прошел час, другой. Путники, казалось, о чем-то думали. Вдруг Василий Иванович прервал молчание довольно странным монологом:

— А в самом деле, черт знает что это за народ русские дворяне... Много, изволишь ты видеть, денег завелось, так надо с немцами протранжирить, чтоб русскому человеку невзначай чего-нибудь не досталось. Уж точно будто в России и жить нельзя, что все они вон так и лезут. Видно, курьез там большой, то есть такой курьез, какого мы и представить не можем. Скажи-ка, братец, что за границей люди так же ходят на ногах, как и мы, дурни?

— Совершенно так.

— Шутишь. Так-таки и ходят, и женятся, и умирают тоже?

— И умирают.

— Что ты говоришь! По крайней мере, там нищих нет, притеснений нет, голода не бывает?

— Все есть.

— Статочное ли дело! Ну скажи мне по крайней мере, так что же ты видел такого особенно замечательного за границей?

— Россию,— отвечал Иван Васильевич.

— Вот те на! Так, кажется, и не стоило беспокоиться ездить так далеко?

— Напротив. Россию понять и оценить можно, только посмотрев на другие страны.

— Объясни, батюшка.

— Объяснить не трудно. Вы знаете, что истина обнаруживается только посредством сравнений; следовательно, только посредством сравнений можем мы оценить преимущества и недостатки нашей родины, и, кроме того, чужой пример может указать нам на то, чего мы должны остерегаться и что должны мы перенять.

— Что же бы перенять, по-твоему?

— К сожалению, многое. Во-первых, чувство гражданственности, гражданской обязанности, которого у нас нет. Мы привыкли сваливать все на правительство, забывая, что ему нужны орудия. Мы служим не по убеждению, не по долгу, а для выгод тщеславия; и хотя мы любим свою родину, но любим ее как-то молодо, нерассудительно горячо. Общее благо у нас — пустое имя, которого мы даже не понимаем. С чувством гражданственности получим мы стремление к вещественному и умственному усовершенствованию, пойдем всю святость прочного воспитания, всю высокую пользу наук и художеств, все, что улучшает и облагораживает человека. Германия передаст нам свою семейственность, Франция — свою пытливость в науках, Англия — свои торговые познания и чувство государственных обязанностей, Италия даже перенесет на морозную нашу почву свои божественные искусства.

— Вот как! — сказал Василий Иванович. — А чего же нам остерегаться?

— Того, что губит Европу... Духа самонадеянности, кичливости и гордости; духа сомнения и неверия, с которыми движение вперед делается невозможным; духа раздора и беспокойства, который все уничтожает. Остережемся надменности германской, английского эгоизма, французского разврата и итальянской лени — и перед нами откроется такой путь, какой никакому народу не открывался. Взгляните на неизмеримое пространство нашей земли, на единство ее образования, на гигантское ее построение — и на душе вашей станет страшно... И потом взгляните на народ, населяющий эту землю, народ правдивый, веселый, умный, духа непоколебимого

и силы исполицской,— и вам станет легко на душе, и вы порадуетесь судьбе великой земли. Но лучший залог, лучший признак настоящего и будущего величия России — это могучее ее смирение. У нас нет, как за границей, ни пустых возгласов, ни вздорного шума из пустыков, потому что мы друг перед другом не должны надуваться, чтоб придать себе важности. В нас спокойствие и сознание силы, оттого мы не только иногда кажемся равнодушными к родине, но как будто совестимся перед Европой и хотим извиниться в своих преимуществах. Только не трогайте святой Руси, не то все встанем без крика и незваных гостей одними шапками закидаем.

— Да, да, да,— сказал Василий Иванович,— так, потвоему, замечательно за границей...

— Прошедшее.

— А в России?

— Будущее.

— Да, да... Ну... Хорошо. Только, правду тебе сказать... не понимаю я, как вашу братию пускают шататься по свету... Набираетесь таких мыслей и говорите такие эквивоки, что сразу даже и не поймешь.

— Э, Василий Иванович, путешествия вреда никому не приносят. Умный видит и становится умнее и тем уже приносит пользу. А дураков и в России не нужно... много и без путешествующих останется.

Разговаривая таким образом, они хоть медленно, но все-таки подвигались. Ночь прошла кое-как в сопровождении толчков и прерываемого засыпания, и на другой день рано развилась перед ними чудесная панорама въезда в Нижний Новгород.

XII

ПЕЧОРСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Если когда-нибудь придется вам быть в Нижнем Новгороде, сходите поклониться Печорскому монастырю. Вы его от души полюбите.

Уже подходя к нему, вы почувствуете, что в душе вашей становится светло и безмятежно.

Сперва все бытие ваше как будто расширяется, и существование ваше станет вам яснее от одного взгляда на роскошную картину приволжского берега. Налево у ног ваших, под ужасною крутизною, вы увидите широкую реку-матушку, любимую народом, прославленную рус-

скими поверьями; гордо играет она, и блещет серебряной чешуей, и плавно и величественно тянется в сизую даль. Направо, на скате горы, громоздятся дружною кучей между кустов и деревьев живописные хаты, а над ними, на обрыве, вдавшемся в реку, вы видите белую ленту монастырской ограды, из среды которой возвышаются куполы церквей и келии иноков.

Обогните гору, спускайтесь по широкой дороге к монастырским воротам и отряхните все ваши мелочные страсти, все ваши мирские помышления: вы в монастырской ограде.

Вокруг вас печально тянутся длинные строения. Посреди двора две старинные церкви соединяются крытыми наружными переходами. Здесь, в этих церквях, безмолвных свидетелях нашей забытой старины, под тяжелыми их сводами и резными иконостасами, много было вылиты и слез и молитв от набегов татар, от вторжений поляков, о славе и многолетию князей нижегородских.

Ступени церквей уже заросли травой. Кругом, между густым кустарником, белеют памятники и уныло наклоняются на землю надгробные кресты. Здесь все дико и мрачно; здесь порог суеты человеческой; здесь все тихо, все молчит, все мертво, и лишь изредка монах в черной рясе мелькает тенью между могил.

Скромный домик архимандрита примыкает к обители всей братьи. Домик прост и не роскошен, но из окон его, с ветхого его балкона открывается самая роскошная картина, пестреют вдали все богатства России.

С одной стороны, на гористом берегу возвышается древний кремль, и чешуйчатые колокольни высоко обозначаются в голубом небе, и весь город наклоняется и тянется к приволжскому скату. С другой, луговой стороны взор объемлет необозримое пространство, усеянное селами и орошенное могучими течениями Оки и Волги, которые смешивают свои разноцветные воды у самого подножия города, и, смешиваясь, образуют мыс, на котором кипит и бушует всему миру известная ярмарка; на этом месте Азия сталкивается с Европой, Восток с Западом; тут решается благоденствие народов; тут ключ наших русских сокровищ. Тут пестреют все племена, раздаются все наречия, и тысячи лавок завалены товарами, и сотни тысяч покупателей теснятся в рядах, балаганах и временных гостиницах. Тут все население толпится около одного кумира — кумира торговли. Повсюду разбитые палатки, привязанные обозные телеги, дымящиеся само-

вары, персидские, армянские, турецкие кафтаны, перемешанные с европейскими нарядами, повсюду ящики, бочки, кули, повсюду товар, какой бы он ни был: и брильянты, и сало, и книги, и деготь, и все, чем только не торгует человек. Но этого мало: вода не уступает земле. Ока и Волга тянутся одна с другой, как два огромные войска, сверкая друг перед другом бесчисленным множеством флагов и мачт. Тут суда всех именований, со всех концов России, с изделиями далекого Китая, с собственным обильным хлебом, с полным грузом, ожидающие только размена, чтобы снова идти или в Каспийское море, или в ненасытный Петербург.

Какая картина и какая противоположность! Внизу — жизнь во всем разгуле страстей, наверху — спокойствие келии; там переменчивость, опасения, страх, буйство и страсти; здесь безмятежная совесть и слово прощения на устах. И каждое утро и каждый вечер над шумным торжищем вселенной мирный пастырь тихо творит молитву и невольно думает и задумывается о ничтожестве земной суеты.

А ночью, когда небо усеяно звездами, когда в Волге отражается месяц и кое-где мелькает на берегу забытый огонек, а вдали звонко раздается заунывная песня бурлака, как хорошо на этом месте, какая душевная прохлада навевается тогда свыше, какое тихое, светлое счастье наполняет тогда целое бытие. Поверьте мне: если вам придется быть в Нижнем Новгороде, сходите поклониться Печорскому монастырю.

К тому же, войдя в него, вы как-то невольно переноситесь в другое время, к другим обычаям, к другой жизни. Перед вами воскресает какой-то странный остов погибшей старины. Вам показывают древнюю ризницу, древнюю утварь, древние синодики. Вы стоите посреди полуобрушившихся строений; вы живете прошедшей жизнью, и редкие остатки нашего народного искусства как бы печально упрекают нас в нашем непростительном нерадении.

И да не покажутся странными эти слова. Искусства существовали у наших предков, и если не в наружном развитии, то по крайней мере в художественной понятливости и в художественном направлении. Наши песни, образы, изукрашенные рукописи служат тому доказательством. Но зодчество оставило значительнейшие следы, и в таком обилии, в таком совершенстве, что теперешние наши здания, утратив оригинальность, характер и красоту,

чуждые русскому духу и требованию, кажутся совершенно ничтожными и неуместными. Но тут рождается вопрос: возможно ли народное зодчество и как отыскать его начала, как создать его правила? Оно возможно только посредством изучения и разложения оставшихся памятников. И как бы это ни показалось странным, но уж с первого взгляда находим мы два важные указания в двух зданиях, менее прочих утративших свой первобытный образ: в церквях и избах. И в самом деле, изба и церковь не могут ли сделаться основанием русского искусства так, как народность и вера служат основанием русского величия?

Изучая здания сии не в целом, а в подробностях, мы находим почти целую историю нашей родины: наличники, карнизы, перила, крыши, окна — все отдельно принадлежит к известной эпохе, к особому случаю. И тут, как во всем, Европа сталкивается у нас с Азией, и восточные арабски нередко сплетаются с итальянскими украшениями. Замечательно тоже, что наружность наших храмов приняла форму азиатских минаретов, вероятно, по вторжении татар, но внутренность их осталась чисто византийская: не служит ли это символом того, что если враги и поработили наш край, то сила их была только наружная, а что в глубине сердца своего святая Русь никогда не изменяла своему закону и никогда не изменит своему призванию? Вообще можно сказать, что в нашей народной архитектуре господствуют три начала: начало византийское, или греческое, перенесенное вместе с верою во времена Владимира; начало татарское, или испорченное арабское, водворенное с татарами, и, наконец, начало времен Возрождения, заимствованное у Запада в царствование Иоанна Грозного. Изучение этих начал и взаимной их ответственности могло бы служить основой для наших зодчих. Им предстояла бы, кажется, великая и прекрасная задача посредством мелких украшений, отдельных частей, уцелевших подробностей, словом, посредством всех указаний, разбросанных по России, воссоздать исчезающее искусство, отнюдь не уничтожая освященную веками связь трех различных начал, но изучив только каждое начало в настоящем его источнике. И отчего бы, кажется, не придать снова нашим строениям тот чудный, оригинальный вид, который так изумлял путешественников? зачем уничтожать те странные, фантастические формы, те чешуйчатые крыши, те фаянсовые наличники и подоконники, те изразцовые карнизы, заменя-

ющие на севере камень и мрамор, которые так живописны для взора и придают каждому зданию такой неожиданный и своеобразный вид? Пусть зодчество водворит на Руси народное искусство, а за ним последуют и живопись, и ваение, и музыка. Первые увековечат нашу жизнь и нашу славу, а последняя будет шевелить и возвышать душу близкими сердцу звуками и новыми узами прикует нас к нашей родине.

Но обратимся снова к Печорскому монастырю. Его история проста. Прежде он был богат, теперь он беден; прежде к нему было приписано восемь тысяч душ и он имел много вкладчиков, которые все записаны в синодиках, с тем чтобы в память их творимы были молитвы; теперь вотчины отошли в другое владение; щедрые вкладчики исчезли. Одни лишь молитвы остались неизменными, как прежде.

Самый древний монастырский синодик ведется с царствования Ионна Грозного и включает в себе именные списки многих владетельных и боярских домов, перемешанных с скромными подаяниями об упокое душ подъячих приказной избы, судебных ярыжек, посадских, дьяков и простых крестьян. Странно видеть эту огромную книгу смерти, где вся мертвая старина вытягивается перед нами бесконечной панихидой. Тут поименованы князья киевские, владимирские, московские, нижегородские; тут исчислены епископы и архимандриты, из которых одних монастырских тридцать пять; тут встречаются имена русского боярства: роды Годуновых, Репниных, Бельских, Воротынских и многих других; род Столыпина-Ромодановского; род гостя Василия Шустова, род мурз мордовских, какой-то князь Симеон убиенный, род боярина и дворецкого князя Алексея Михайловича Львова и многие, многие другие, которые исчезли навсегда, оставив лишь одно имя на пожелтевших листках синодика. И в этих немых названиях скрываются, может быть, тайны, затерянные навек, высокие мысли, прекрасные дела, твердые чувства, и много счастья, и много горя, и много надежд, и много обманов, целые важные события, быть может, целая исчезнувшая летопись, целый мир, погибший навсегда.

В кормовом синодике хранятся описи вкладов, и между ними поражают вас следующие слова:

«Царь Иоанн Васильевич велел написать в синодике князей и бояр и прочих опальных людей по своей государственной грамоте. А дал по ним на поминки их

800 рублей, а панихиду архимандриту служить собором. В 1620 году по убиенном архимандрите Иове дано вкладами деньгами 70 рублей и рухляди на 123 рубля 13 алтын 4 деньги. В 1625 году царь и великий князь Михаил Федорович прислал в монастырскую казну к архимандриту Макарию 30 рублей на поминовение царицы Марии Володимеровны. И в память таких дней,— гласит синодик,— ставить на братию кормы большие, с калачами, с рыбою и с медом».

Так стоит Печорский монастырь с XIV столетия, с царствования великого князя Иоанна Даниловича Калиты, не вмешиваясь в дела мирские, но лишь тщательно записывая в свои летописи тления имена грешных, за которых он молится. В истории известно только, что во время нашествия татар обитель была опустошена, а в 1596 году она вдруг спустилась по скату горы на пятьдесят сажен. Такое необычайное событие было признано целою Россией за горестное предзнаменование. Но царская щедрость царя Михаила Федоровича прочно восстановила монастырь на новом основании. До сих пор видна еще часовня, уцелевшая на том месте, где прежде стояла целая обитель. Еще известно, что, когда Россия изнывала под игом поляков, печорский архимандрит Феодосий был послан с чиновными и избранными людьми в Пурецкую волость к князю Пожарскому, склонил его принять начальство над войском и тем спас Россию от тяготеющего над нею ярма.

С того времени Печорский монастырь забыт в русской истории. С того времени мирские волнения не переступали более за его благочестивую ограду; и тихо и грустно стоит он над Нижним, прислушиваясь печально к немолкаемому шуму кипящего базара. Он все видел на своем веку: и междоусобия, и татарские набеги, и польские сабли, и боярскую спесь, и царское величие. Он видел древнюю Русь; он видит Русь настоящую, и по-прежнему тихо сзывает он православных к молитве, по-прежнему мерно и заунывно звонит в свои колокола.

Поверьте мне: если вы будете в Нижнем Новгороде, сходите помолиться в Печорский монастырь.

Тарантас медленно катился по казанской дороге.

Иван Васильевич презрительно поглядывал на Василия Ивановича и мысленно бранил его самым неприличным образом.

«О дубина, дубина! — говорил он про себя. — Самовар бестолковый, подъяческая природа, ты сам не что иное, как тарантас — уродливое создание, начиненное дрянными предрассудками, как тарантас начинен перинами. Как тарантас, ты не видел ничего лучше степи, ничего далее Москвы. Луч просвещения не пробьет твоей толстой шкуры. Для тебя искусство сосредоточивается в ветряной мельнице, наука — в молотильной машине, а поэзия — в ботвинье да в кулебяке. Дела тебе нет до стремления века, до современных европейских задач. Были бы лишь у тебя щи, да баня, да погребец, да тарантас, да плесень твоя деревенская. Дубина ты, Василий Иванович! И бедные мои путевые впечатления погибают от тебя; я просил тебя остаться в Нижнем, дать мне время все обегать, все осмотреть, все описать. — Куда! «Ярмарка, — говорил ты, — еще не началась; монастырей и церквей и в Москве много: там бы успел насмотреться. А теперь, батюшка, не прогневайся, некогда: Авдотья Петровна дожидается. Мужички давно встречу заготовляют. Жнитво на дворе. Староста Сидор хоть и толковый мужик, на него положиться бы и можно, да вдруг запыет, мошенник; русский человек не может быть без присмотра. Авдотья Петровна хозяйство, правда, понимает, ну да иной раз, известно, надо и прикрикнуть и по зубам съездить, а для женщины все-таки это дело деликатное». Словом, садись, Иван Васильевич. Ступай не останавливаясь. Тарантас-то чужой. Да и везут-то тебя в долг».

При таком грустном воспоминании Иван Васильевич почел нужным вступить с Василием Ивановичем в дипломатический разговор.

— Василий Иванович!

— Что, батюшка?

— Знаете ли, о чем я думаю?

— Нет, батюшка, не знаю.

— Я думаю, что вы славный хозяин.

— И, батюшка, какой хозяин! Два года хлеба не мотил.

— В самом деле, я думаю, Василий Иванович, нелегко сделаться хорошим хозяином?

— Да поживи-ка лет тридцать в деревне, авось сделаешься, коли есть способность, а не то не прогневайся.

— Спасибо за совет.

— Изволишь видеть, сударь ты мой, я тебе скажу правду такую, какую никакой немец не поймет. Дай русскому мужику выбор между хорошим управляющим и дурным помещиком: знаешь ли, кого он выберет?

— Разумеется, хорошего управляющего.

— То-то, что нет. Он выберет дурного помещика. «Блажной маленько, — скажет он, — да свой батюшка; он отец наш, а мы дети его». Понимай их как знаешь.

— Да, — сказал Иван Васильевич, — между крестьянами и дворянством существует у нас какая-то высокая, тайная, святая связь, что-то родственное, необъяснимое и непонятное всякому другому народу. Этот странный для наших времен отголосок патриархальной жизни не похож на жалкое отношение слабого к сильному, удрученного к притеснителю; напротив, это отношение, которое выражается свободно, от души, с чувством покорности, а не боязни, с невольным сознанием обязанности, уже давно освященной, с полною уверенностью на защиту и покровительство.

— Да, да, да, — прервал Василий Иванович. — Ты понимаешь, что в хозяйстве ты с наемщиком ничего путного не сделаешь. Русский мужик должен тебя видеть и знать, что он для тебя работает и что ты видишь его, и тогда он будет работать весело, охотно, успешно. После-де бога и великого государя закон велит служить барину. На чужих работать обидно, да и не приходится вовсе, а на барина сам бог велит. Они для тебя, ты для них — вот самый русский обычай и лучшее хозяйство.

— А правила для управления, Василий Иванович?

— Да какие, брат, правила? Привычка, сноровка да божья воля. Не суйся за хитростями, а смотри, чтоб мужик был исправен, да не допускай нищих; заведи подворную опись, не для переплета, а для дела — понимаешь ли? Да и смотри в оба, чтоб у мужика было полное имущество, полный, так сказать, комплект.

— Что ж это такое?

— Вот что. У исправного мужика должна быть всегда в наличности хорошая крытая изба с сараем, две лошади, одна корова, десять овец, одна свинья, десять кур, две телеги, двое саней, одна соха, одна борона, одна коса, два

серпа, одна колода, две кадушки, один бочонок, одно решето, одно сито. Кроме того, если у него нет особой промышленности, то он в яровом и в озимом поле должен иметь по две засеянные десятины и выгон для скота. Изволишь ты видеть: есть все это у мужика — мужик исправен. Есть у него лошадка лишняя да клади две хлеба в запасе — мужик богат. Нет у него чего-нибудь из этого — мужик нищий. Простая, кажется, механика. Первое мое правило, Иван Васильевич, чтоб у мужика все было в исправности. Пала у него лошадь — на тебе лошадь, заплатишь помаленьку. Нет у него коровы — возьми корову, деньги не пропадут. Главное дело — не запускать. Недолго так расстроить имение, что и поправить потом будет не в силу.

Если можешь и сумеешь — что бы тебе ни говорили мужики, заведи для них общественную запашку и мирской капитал. Из этих денег плати за их подушные и вообще исполняй сам от себя казенные повинности, дорожные, подводные, разумеется, что только возможно. Даже при сдаче рекрут бери издержки на себя. Мужик отвечает тебе, а ты за него и за себя отвечаешь правительству и даешь ему пример повиновения и исполнения своей обязанности.

— А мирские дела, раскладки, приговоры? — спросил Иван Васильевич.

— Мирские дела предоставь, братец, *миру*. Знаешь ли, что у нас на Руси ведется в волостях с исстари такой порядок, какой ни немец, ни француз, как они себе ни ломай голову, не выдумают. Посмотри, как они ровно и справедливо каждый год меняют между собой участки земли; послушай, как они решают тяжбы и ссоры; вникни, брат, хорошенько, как они иногда умно притворяются и как иногда мудро говорят.

— Я думаю, — заметил Иван Васильевич, — что мирские сходки должны быть отдаленным преданием прежних вечевых сходбищ.

— Не знаю, батюшка. Это уж не мое дело. Мое дело, чтоб мужик был сыт и здоров, без баловства только. Плати оброк исправно, на барщину выходи как следует. Поработал три дня — и поклонился; ступай куда хочешь, а дело свое исполни. Чай, ведь за три дня работы и за вашей-то за границей нет таких угодий для крестьянина — а?..

— Конечно, — заметил Иван Васильевич.

— То-то же. Немцы да французы жалеют об нашем

мужике: «мученик-де!» — говорят, а глядишь, мученик-то здоровее, и сытее, и довольнее многих других. А у них, слышал я, мужик-то уж точно труженик; за все плати: и за воду, и за землю, и за дом, и за пруд, и за воздух, за что только можно содрать. Плати аккуратно; голод, пожар — все равно плати, каналья! Ты вольный человек; не то вытолкают по шеям, умирай с детьми где знаешь... нам дела нет. Уж эти мне французы! — прибавил Василий Иванович. — Все кричат, что у нас бесчеловечно поступают. А у них-то каково? Добро бы придумали что-нибудь путное, а то черт знает что за дичь городят. У русского человека уши вянют; ну, а признайся, тебе, чай, нравится?..

— Почему же? — спросил Иван Васильевич.

— Да ты, брат, ведь либерал. Все вы, молодые люди, либералы. Все не по-вашему. И то не так, и это не так, а спросишь; наставьте, добрые люди, — так и станете в тупик.

— У вас много дворовых? — прервал поспешно Иван Васильевич.

— Грешный, брат, человек. Много этих окаянных расплодилось. Для прислуги, знаешь, надо; ну, да и Авдотье Петровне нельзя уж чем и не потешиться. Полотно дома, знаешь, ткут; ковры прекрасные; право, можно похвастать. Намедни послал я еще коврик домашней работы исправнику в подарок — знатный коврик, знаешь, с ландшафтом, и охотник с ружьем в птицу стреляет. Поверишь ли? Исправник говорит, что это первый в уезде. Ну, Авдотья Петровна и рада. Ей, знаешь, и приятно: дело бабье.

— А фабрик у вас нет? — спросил Иван Васильевич.

— И слава богу! Сохрани тебя создатель от фабрик с хозяйственным устройством. У нас теперь между помещиками вошла в моду страсть строить фабрики на домашний манер. Расчет-то, кажется, прекрасный: свой мужик должен нарубить и приготовить лес, потом должен строить, потом должен работать на фабрике, подвозить дрова, чинить и делать машины и потом на своих лошадях развозить по городам товар. Все свой мужик. Ничего, кажется, не стоит, потому что, изволишь видеть, *своими*; а на поверку, что выходит?.. Вся эта лишняя работа на столько же отнимает земледельческой работы, которая, кажется, все-таки самая важная. Хорошие мужики делаются пьяными мастеравыми; дети их становятся голодными дворовыми, ободранными, пьяными, неблаго-

дарными бестиями, которых кормишь черт знает за что и которые всем недовольны и первые буяны в селе. Лошади крестьянские перепадают; силы крестьян истощатся; заведется распутство, а к тому обманывать и обкрадывать тебя так будут, что любо: как ты ни остерегайся, и в имении пойдет все вверх дном, такая катавасия, такой конфуз, что своих не найдешь. Вот тебе и фабрика! Нет, по-моему, если место у тебя по коммуникациям и выгодное для фабрики, есть у тебя изобилие леса, вода без употребления, а главное дело, чистый свободный капитал, не зависимый от имения, не доставшийся посредством залога, так тогда с богом заводи фабрику, но заводи ее на коммерческой ноге, как бы в самой Москве, на Кузнецком мосту. Ты уж фабрикант, а не помещик. Не смешивай этих двух дел. Не требуй от мужика ни прута лишнего, ни лишнего шага, да помни крепко, братец, что там, где заведется фабрика на домашний манер, мужики нищие, да, следовательно, и помещик-то сам недалеко от того же.

— Я думаю,— спросил Иван Васильевич,— что конторская отчетность должна быть очень затруднительна?

— Ничуть не бывало. У меня этим делом заведывает жена, Авдотья Петровна. Сперва делается разводка на треку вперед. Потом в полевом журнале записывается, что в треку исполнено. Для ужина и замолота особая тетрадь да две приходно-расходные книги: одна для хлеба, другая для денег. Вот тебе и вся наша мудрость!

— А есть ли у вас госпиталь и прочие врачебные средства? Заводите ли вы приюты для крестьянских детей во время полевых работ? Учредили ли вы ланкастерскую школу взаимного обучения?

— Эге-ге-ге!.. брат, чего захотел! У меня Авдотья Петровна сама лечит больных простыми средствами. Иногда и помогает, а учит читать у нас кого угодно пономарь. Два мальчика сами напросились. Такие, право, бойкие, а другие не охотники... «Отцы,— говорят,— грамоте не знали, к чему ж и нам знать?»

— Ну, а что же вы делаете в голодные годы? — спросил Иван Васильевич.

— Да бог милует: давно не было беды, да и запасы у меня в порядке. Ссуды ни у кого, славу богу, родясь не просил. Пятнадцать лет никак тому назад хозяйствовало еще, знаешь, было слабенькое, уж точно была невзго-

да. Озимь еще с осени червь поел. Весной бог не дал дождя. Словом, ни колоса, ни зерна, ровно ничего. Запасов не было. Что станешь тут делать? Пришли ко мне мужики и плачутся. «Беда, батюшка Василий Иванович! Ни себя, ни детей кормить нечем. Знать, последний час пришел». — «Ну, — говорю я, — ребяташки, что ж тут делать? У меня, слава богу, есть зерно в амбаре. Мог бы, правда, по тридцати рублей за четверть спустить, да бог не пошлет благословения на такое дело. Берите, пока хватит. Авось и прокормимся как-нибудь...» Слава богу, всем достало.

— Да это прекрасно! — воскликнул Иван Васильевич.

— Что ж тут хорошего? Не умирать же им впрямь с голода. Да этого мало. Кругом меня помещики все богатые, знатные, знаешь, такие, живут себе за границей — где им подумать о мужике. Знаешь ли, до чего доходило? Целое село выйдет на большую дорогу обстановить проезжего...

— Как, грабят? — спросил Иван Васильевич.

— Нет, брат, не грабят, а станут мужики на колени: «Сам, батюшка, видишь, не дай умирать, а за душу бога молить». И ко мне пришли, и я им все отдал, что осталось после моих собственных, отдал, разумеется, взаймы.

— И никогда не получили обратно?

— Знаешь же ты русского мужика! Все получил до зерна. Правда, цена-то была уже другая... Ну, да на сердце зато было весело...

— Так вас любят? — спросил Иван Васильевич.

— Сам увидешь, как домой приедем. Весь народ сбегится. «Батюшка-де Василий Иванович приехал...» Старый и малый все высыпят на господский двор, кто с гусем, кто с медом, кто с чем попало. «Здравствуйте, батюшка Василий Иванович. Что-де ты так долго к нам не жаловал? А мы так о твоей милости стосковались». — «Здорово, православные. Чай, поминали меня?» — «Как, батюшка, не помянуть. Ты сына моего от рекрутчины спас; ты, батюшка, дом мне построил; ты, батюшка, корову мне дал; ты, батюшка, дочь мою крестил; дай бог тебе, батюшка, здравствовать».

Глаза Василия Ивановича засверкали; Иван Васильевич взглянул на него с почтением... и сам тарантас показался ему едва ли не лучше самого щегольского иохимского дормеза.

На другой день около вечера тарантас въехал в небольшую, но весьма странный городок. Весь городок заключался в одной только улице, по обеим сторонам которой маленькие серобревенчатые домики учтиво кланялись проезжающим. В окнах большая часть стекол была выбита и заменена масляной бумагой, из-за которой кое-где высывались истертые вицмундиры, рыжие бороды да подбитые чайники.

— Уездный город? — спросил, потягиваясь, Иван Васильевич.

— Никак нет-с, — отвечал ямщик, — заштатный...

Между тем в движении тарантаса происходило что-то совершенно необычайное. Твердая его поступь вдруг стала робка и нерешительна, как будто бы он сделал какую-нибудь глупость. Неужели он, который никогда не чинится, никогда не опрокидывается, он — краса и радость безбрежной степи — осрамился на самой середине дороги и, как тщедушный рессорный экипаж, должен подлежать починке в городской кузнице? Печально и робко остановился он у станционного двора. Сенька слез с козел, обошел около него кругом, посмотрел под него, пощупал дрогу, пошатнул спицы, потом покачал головой и, сняв картуз, обратился к Василию Ивановичу с неожиданной речью:

— Как прикажете, сударь, а эвдак он двух верст не пройдет. Весь рассыплется.

— Что? — спросил с гневом и ужасом Василий Иванович.

Если б Василию Ивановичу доложили, что староста его пьян без просыпу, что Авдотья Петровна обкушалась и нездорова, его бы огорчили подобные известия, но все-таки не так, как измена надежного, любимого тарантаса.

— Что? — повторил он с заметным волнением. — Что?.. Сломался?..

— Да по мне все равно-с, — продолжал с жестокостью Сенька. — Как будет-с угодно-с. Сами извольте-с взглянуть. В переднем колесе шина лопнула... А вот-с в заднем три спицы выпали, да и весь-то еле держится. А впрочем-с... как прикажете-с. По мне-с все равно.

— Что же, чинить надобно? — жалобно спросил Василий Иванович.

— Да как прикажете-с. А известно-с, надобно чинить.

— Да в Москве из Каретного ряда подмастерье давно ли осматривал?

— Не могу знать-с... Как будет-с угодно. А эвдак-с, сами изволите видеть, эвдак не дойдет-с до станции. Добро бы еще одна хоть спица выпала, так все бы легче: можно бы проехать еще станцию, а может, и две бы станции... а то сами изволите видеть... Да и колеса такие непрочные... Лес-то гнилой совсем... А впрочем, по мне все р...

— Ну, молчи уж, дурак! — сердито закричал Василий Иванович. — Полно зевать-то по-пустому... Марш за кузнецом, да живо! слышишь ли?

Сенька помчался на кузницу, а приезжие грустно вошли на станцию. Смотритель был пьян и спал, поручив заботы управлений безграмотному старосте. Смотрительша была в гостях у супруги целовальника.

С полчаса дожидались кузнеца. Наконец явился кузнец, с черной бородой, с черной рожей и черным фартуком. За починку запросил он сперва пятьдесят рублей на ассигнации, потом, после долгих прений, помирился на трех целковых и покатил колеса на кузницу.

Староста засветил в чулане лучину, значительно поворожал подорожную между пальцами и наконец сказал с важностью:

— Лошади под ажираж-с готовы, как только ваша милость прикажете закладывать.

— Вот тебе и лошади! — заревел с досадой Василий Иванович. — Вот тебе наконец и лошади появились, когда ехать-то именно не в чем. Да черт ли нам в твоих лошадях!.. Иван Васильевич!

— Что прикажете-с?

— Да не напиться ли нам с горя чайку? Эй, борода! слышь ты: прикажи-ка самовар поставить. Чай, есть у вас самовар?

— Самовар-то есть, как не быть самовару! Да поставить некому: смотритель нездоров, хозяйка ихняя в гостях, да и ключи с собой унесла. А вот недалечко здесь харчевня. Там все получить можете. Коли угодно, вашу милость туда проводят...

— Что ж, пойдем, — сказал Василий Иванович.

— Пойдемте, — сказал Иван Васильевич.

— Эй ты! — закричал староста. — Сидорка, лысый черт, проводи господ к харчевне!

Они отправились. Харчевня, как все харчевни,— большая изба, крытая когда-то тесом, с большими воротами и сараем. У ворот кибитка с вздернутыми вверх оглоблями. Лестница ветхая и кривая. Наверху — ходячим подсвечником половой с сальным огарком в руке. Вправо — буфетная, расписанная еще с незапамятных времен в виде боскета, который еще кое-где высовывает фантастические растения из-под копоты и отпавшей штукатурки. В буфете красуются за стеклом стаканы, чайники, графины, три серебряные ложки и множество оловянных. У буфета суетятся два-три мальчика, обстриженные в кружок, в ситцевых рубашках и с пожелтевшими салфетками на плече. За буфетной небольшая комната, выкрашенная охрой и украшенная тремя столами с пегими скатертями. Наконец, сквозь распахнувшуюся дверь выглядывает желтоватый бильярд, по которому важно гуляет курица.

В комнате, выкрашенной охрой, около одного из столиков сидели три купца: рыжий, черный и седой. Медный самовар дымился между их бород, и каждый из них, облитый тройным потом, вооруженный кипящим блюдечком, прихлебывал, прикрывал, поглаживал бороду и снова принимался за работу.

— Ну, а мукá какова? — спрашивал рыжий.

— Ничего-с, — отвечал седой, — нынешний год с рук сошла аккуратно — грешно жаловаться. Вот-с в прошлом году, так могу сказать — не приведи бог! Семь рублей с куля терпели.

— Ге, ге, ге! — заметил рыжий.

— Что ж, — прибавил черный, — не все барыш. У хлеба не без крох. Выгружать, видно, много приходилось?

— Да на одной Волге раза три, что ли. Такие мели поделались, что не дай господи. А партия-то, признательно сказать, закуплена была у нас значительная.

— Коноводная? — спросил рыжий.

— Никак нет. Тихвинка да три подчалки. Ну, а уж перегрузка — известное дело. Кожу дерут, мошенники, бога не боятся. Что станешь с ними делать?

— Кто ж от барыша бегаёт? — заметил рыжий.

— Вестимо! — прибавил черный.

— Та-ак-с! — добавил седой.

Рыжий продолжал:

— А я так в прошедшем году сделал оборотец. Куп-

лено было, изволите видеть, у меня у татар около Самары несколько муки первейшего, могу сказать, сорта да кулей пятьсот, что ли, взято у помещика самой этакой, признательно сказать, мизеристой. Помещик-то никак в карты проигрался, так и пришлась-то она поистине больно сходно. Гляжу я — мучишка-то дрянь, ну, словно мякина. Даром с рук не сойдет. Что ж, говорю я, тут думать: взял да и перемешал ее с хорошей, да и спустил всю в Рыбне откупщику за первый, изволите видеть, сорт.

— Что ж, коммерческое дело, — сказал черный.

— Оборотец известный, — докончил седой.

Между тем Василий Иванович и Иван Васильевич распорядились тоже около одного столика, потребовали себе чаю и с любопытством начали прислушиваться к разговору трех кушцов.

Вошел четвертый в синем изношенном армяке и остановился в дверях. Сперва перекрестился он три раза перед угольным образом, а потом, тряхнув головой, почтительно поклонился седому:

— Сидору Авдеевичу наше почтение.

— А! здорово, Потапыч. Просим покорно выкушать парочку с нами.

— Много доволен, Сидор Авдеевич. Все ли подброду поздорову?

— Слава богу!

— И хозяйшка и детушки?

— Слава богу!

— Ну, слава тебе господи! В Рыбну, что ли, изволите?

— В Рыбну. Да присядь-ка, Потапыч.

— Не извольте беспокоиться. И постоять можем.

— А чашечку?..

— Много доволен.

— Одну хоть чашечку.

— Благодарю покорно. Дома пил.

— Эй, брат, чашечку!

— Ей-богу, дома пил.

— Полно. Выпей-ка вприкусочку на здоровье.

— Не могу, право.

Седой протянул Потапычу чашечку, а Потапыч, поблагодарив, выпил чашечку духом, после чего поставил ее бережно на стол вверх дном на блюдечко и поблагодарил снова.

— Ну вот этак-то ладно. Спасибо, Потапыч. Ну-тка, еще чашечку.

— Нет уж, ей-ей, не вмоготу. Много доволен за ласку и угощение. Чувствительно благодарен. Да я-с, Сидор Авдеевич, к вашей милости с просьбой.

— Передать, что ли, по торговле в Рыбне?

— Так точно-с. Трифону Лукичу. Покорнейше просим...

— Много, что ли?

— Тысяч с пяток.

— Пожалуй, брат.

Тут Потапыч вынул из-за пазухи до невероятия грязный лоскуток бумаги, в котором завернуты были деньги, и, поклонившись, почтительно подал их седому.

Седой развернул испачканный сверток, внимательно пересчитал ассигнации и золотые и потом сказал:

— Пять тысяч двести семнадцать рублей с полтиною — так ли?

— Так точно.

— Хорошо, брат. Будет доставлено.

Седой поднял полу своего армяка, всунул довольно небрежно сверток в боковой карман своих шаровар и занялся посторонним разговором.

— Каково торгуется, Потапыч?

— Помаленьку-с — к чему бога гневить?

— Ты ведь, помнится, салом промышляешь?

— Чем попало-с: и сало и поташ продаем. Дело наше маленькое. Капитал небольшой, да и весь-то в обороте. А впрочем, жаловаться не можем.

— Ну-ка, Потапыч, теперь еще чашечку.

— Нет-с уж, право, средства нет. Чувствительно доволен. Никак не могу.

Несмотря на упорное отнекивание, Потапыч снова выпил чашечку вприкусочку, потом, поблагодарив снова, почтительно раскланялся с седым, черным и рыжим, каждому поочередно пожелал телесного здравия, хорошего пути, всякого благополучия и наконец исчез в дверях.

Вся эта сцена возбудила в сильной степени любопытство Ивана Васильевича.

— Позвольте спросить, — сказал он, присоседиваясь к купцам. — Он вам родственник, верно?

— Кто-с?

— Да вот этот, что сейчас вышел. Потапыч.

— Никак нет-с. Я его, признательно-то сказать, почти что и не знаю вовсе. Он, должен быть, мещанин здешний.

— Так вы дела с ним ведете по переписке?

Седой улыбнулся:

— Да он, чаю, и грамоте не знает, а делов у меня с ним не бывает. Обороты наши будут-с поважнее ихних,— прибавил седой с лукавым самодовольством.

— Так отчего же он не посылает своих денег по почте?

— Да известно-с, чтоб не платить за пересылку.

— А как же он не потребовал от вас расписки?

Черный и рыжий засмеялись, а седой взбесился не на шутку.

— Расписку! — закричал он. — Расписку! Да если б он от меня потребовал расписку, я бы ему его же деньгами рожу раскроил. Слава богу, никак уж пятый десяток торгую, а энтакого еще со мной срама не бывало.

— Извольте видеть-с, милостивый государь, не имею удовольствия знать, как вас чествовать,— сказал рыжий,— ведь-с это только между дворянами такая заведенция, что расписки да векселя. У нас, в торговом деле, такой-с, этак-с сказать, политики не употребляется вовсе. Одного слова достаточно. Канцеляриями-то, извольте видеть, заниматься некогда. Оно хорошо для господ служащих, а нашему брату несподручно приходится. Вот-с, примером будь сказано,— продолжал он, указывая на седого,— они торгуют, может статься, на мильон рублей серебром в год, а весь расчет на каких-нибудь лоскутках, да и то так только, для памяти.

— Да это непонятно,— прервал Иван Васильевич.

— Где ж вам и понять? Дело коммерческое, без плана и фасада. Мы с детства попривыкаем. Сперва, извольте видеть, в приказчиках либо в сидельцах даже, а уж после и сами-с вступаем в капитал. Тут уже, признательно сказать, дремать некогда. Фабрику завел — сиди на фабрике. Лавку открыл — не пропускай хорошего покупателя. Дело коли на стороне есть выгодное — запрягай кибитку, не жалей костей, никому не вверяйся: сам лучше увидишь, по простому своему разуму. Признательно сказать, работа нелегкая. Сам у себя батрак. Да и притом еще частехонько изъян терпишь. Ну, а не ровен час, иногда и благословит господь, и дрянной товар пойдет втридорога. А уж, признательно-то сказать, об прихотях да турусах думать не приходится. Вот-с, примером буде сказано, кафтан-то, что на мне, никак уже одиннадцатый год сшит, а в кафтане-то тысяч сотня с хвостик-

ком; да вот-с у них не меньше будет, а вот-с у них так и побольше.

— И вы не боитесь, чтоб вас ограбили? — с удивлением спросил Иван Васильевич.

— Ничего, батюшка, бог милостив. Кибитка у нас, изволите видеть, дрянная. Да и народ здесь, слава богу, не такой азартный. Ну, бечевку, постромку какую-нибудь и украдет, пожалуй, а разве уж злодей какой-нибудь посягнет на такие деньги. Вот-с мы никак пятнадцатый год по этой дороге ездим: слава богу, ни от кого обиды не видали.

— Знаете-с, — подхватил седой, — вот-с когда плохо: когда наш брат зазнается, да в знать полезет, да начнет стыдиться своего звания, да бороду обреет, да по-немецкому начнет копышаться. Дочерей выдаст за князей, сыновей запишет в дворяне. Тогда купец он не купец, барин не барин. Одет, кажется, знатным человеком, а все отдаст сивухой. Тогда и делишки порасстроятся и распутство начнется, гульба, пьянство... Бога не станет бояться, а уж там и кредит лопнет, и не только без расписки, да и по векселю гроша ему никто между нами не поверит. *Коли нет души*, на чем хочешь пиши, ей-богу, так-с.

Иван Васильевич призадумался несколько минут. Занимаясь за границей судьбами России, он, разумеется, не забыл торговли, этого важного двигателя, народного благоденствия. Только, за неимением сведений, он составил себе о русском торговом направлении какое-то утопическое понятие, не совсем сходное с действительностью, не совсем сообразное с возможностью. И тут, как всегда, в порыве беспокойного воображения он иногда приближался к истине, иногда увлекался чересчур за истину, а иногда от незнания и необдуманности давал решительные промахи. Обо всех предметах объяснялся он сгоряча, но поверхностно, потому что не имел терпения ничего изучить глубоко.

— Позвольте, — сказал он с обыкновенною горячностью, — вымолвить несколько слов. Мне кажется, что у нас в России много людей покупающих и продающих, но что настоящей систематической торговли у нас нет. Для торговли нужна наука, нужно стечение образованных людей, строгие математические расчеты, а не одно удалое авось. Вы наживаете миллионы, потому что обращаете потребителя в жертву, против которого все обманы позволительны, и потом откладываете копейку к копей-

ке, отказывая себе не только в удовольствиях, но даже в удобствах жизни. У вас только одна выгода настоящей минуты в глазах, и притом каждый думает только о себе отдельно, опасаясь товарищей и не заботясь об общей пользе. Вы только одно имеете в виду: как бы купить подешевле и продать подороже. В частной жизни вы пяти копеек не возьмете у незнакомого, а в торговом деле вы немилосердно обкрадываете родного брата. Честность у вас раздваивается на два понятия: в первом обман у вас называется обманом, во втором — барышом. Таким образом, торговля делается нередко грабительством, а не разменом. Масса потребителей страдает от того, и, следовательно, целый край беднеет в пользу корыстолюбивых, незаконных взяток.

— Помилуйте! — воскликнул рыжий. — Мы не приказные, примером сказать.

— Хуже. Их взятки добровольные, а ваши насильственные. Еще вы хвастаете, что обогащаетесь своим трудом, своими боками, в скверных кибитках, в дырявых кафтанах. Да ведь при вашем состоянии эта крайность не лучше крайности тех из ваших собратий, которые гуляют с цыганами или, чего доброго, получив класс, воображают себя дворянами. Вы хвастаете невежеством, потому что смешиваете разврат с просвещением. Вы гнушаетесь просвещения, потому что видите его в кургузом платье, в немецких мебелих и бронзах, в шампанском, которое попивают ваши сынки, — словом, в глупой наружности, в жалких привычках. Поверьте, это не просвещение, не образование. Просвещение не обреет вам бороды, не переменит вашего кафтана: ему дела нет до того; просвещение покажет вам, что обман, как бы он ни был выгоден, все-таки обман; оно наставит вас в науках, для вас необходимых, даст вам познание мест и местных требований, оытность в исчислениях, в мореплавании, в оборотах, основанных не на мирном разбое, а на верных условленных расчетах, приносящих всем пользу. Просвещение приведет в твердые правила то прекрасное чувство доверия, которое и без того между вами господствует в частной жизни. Тогда вы не будете прятаться друг от друга, как теперь в своих делах, а, напротив, плотно свяжетесь между собой, и посредством совместного обращения ваших капиталов вы не только обогатитесь сами, но и возвеличите свое отечество. Большие выгоды добываются только большими средствами, совокуплением сил, а сколько у нас неисчислимых источ-

ников богатства, которые остаются неприкосновенными от недостатка двигателей! Призвание русского купечества, призвание ваше — раскопать руды народного богатства, разлить жизнь и силу по всем жилам государства, заботиться о вещественном благоденствии края так, как дворянство должно заботиться о его нравственном усовершенствовании. Соедините ваши усилия в прекрасном деле и не сомневайтесь в успехе. Чем Россия хуже Англии? А у английского купечества сотни миллионов людей во владении, не говоря о сокровищах. Поймите только свое призвание, осветитесь лучом просвещения — и неоспоримая ваша любовь к отчизне доведет вас до духа единства и общности, и тогда, поверьте мне, не только вся Россия — весь мир будет в ваших руках.

При этом красноречивом заключении рыжий и черный вытаращили глаза. Ни тот, ни другой не понимали, разумеется, ни слова.

Седой, казалось, о чем-то размышлял.

— Вы, может быть, — отвечал он после долгого молчания, — кое-что, признательно сказать, и справедливое тут говорите, хошь и больно грозное. Да, изволите видеть, люди-то мы неграмотные: делов всех рассудить не в состоянии. Как раз подвернутся французы да аферисты, заведут компании, а там, глядишь, — и поклонился капиталу. Чего доброго в несостоятельные попадешь. Нет уж, батюшка, по-старому-то оно не так складно да ладно. Наш порядок с исстари так ведется. Отцы наши так делали, и не промотались, слава богу, и капитал нам оставили. Да вот-с и мы потрудились на своем веку и тоже, слава богу, не промотали отцовского благословения, да и детей своих наделили. А дети пушай делают как знают, ихняя будет воля... Да не прикажете ли, сударь, чашечку?..

— Нет, спасибо.

— Одну хоть чашечку.

— Право, не могу.

— Со сливочками!..

ХУ

НЕЧТО О ВАСИЛИИ ИВАНОВИЧЕ

Давно пора, кажется, познакомить поближе читателя с героями тарантаса. Читатель вообще человек любопытный, охотник до анекдотов. Он ни во что не ставит

мысль, породившую рассказ, чувство, его одушевляющее. Он ищет в книге не поучений, а новых знакомых, новых лиц, похожих на того барина или на ту барыню, с которыми он ведет шляпочное знакомство. Кроме того, читатель любит пламенные описания, хитрую завязку, наказанный порок, торжествующую любовь — словом, сильные впечатления. Читатель вообще в этом немного похож на Ивана Васильевича.

Сочинитель сего замечательного странствования, греха таить нечего, думал было угодить своему балованному судье, рассказав ему какую-нибудь пеструю небывальщину. К несчастью, это было невозможно. Скучная правда решительно воспротивилась жгучим страстям Василия Ивановича и перепутанным похождениям Ивана Васильевича по казанской дороге. Сочинителю остается только сделать одно в угоду читателю: представить ему с должным почтением две мелкие, но, по возможности, подробные биографии двух главных лиц сего рассказа.

Начинается с Василия Ивановича.

Василий Иванович родился в Казанской губернии, в деревне Мордасах, в которой родился и жил его отец, в которой и ему было суждено и жить и умереть. Родился он в восьмидесятих годах и мирно развился под сенью отеческого крова. Ребенку было привольно расти. Бегал он весело по господскому двору, погоняя кнутиком трех мальчишек, изображающих тройку лошадей, и поспешивая весьма порядочно пристяжных, когда они недостаточно закидывали головы на сторону. Любил он также тешить вечный свой досуг чурком, бабками, свайкой и городками, но главное основание системы его воспитания заключалось в голубятне. Василий Иванович провел лучшие минуты своего детства на голубятне, сманивал и ловил крестьянских чистых голубей и приобрел весьма обширные сведения касательно козырных и турманов.

Отец Василия Ивановича, Иван Федотович, имел как-то несчастье испортить себе в молодости желудок. Так как поблизости доктора не обреталось, то какой-то сосед присоветовал ему прибегнуть для поправления здоровья к постоянному употреблению травничка. Иван Федотович до того пристрастился к своему способу лечения, до того усиливал приемы, что скоро приобрел в околотке весьма недиковинную славу человека, пьющего запоем. Со временем барский запой сделался постоянным, так что каждый день утром, аккуратно в десять часов,

Иван Федотович с хозяйской точностью был уж немножко взволнован, а в одиннадцать совершенно пьян. А как пьяному человеку скучно одному, то Иван Федотович окружал себя дурами и дураками, которые и услаждали его досуги. Торговал он, правда, себе и карлу, но карла пришелся слишком дорого и был тогда же отправлен в Петербург к какому-то вельможе. Надлежало, следовательно, довольствоваться взрослыми глупцами и уродами, которых одевали в затрапезные платья с красными фигурами и заплатами на спине, с рогами, хвостами и прочими смешными украшениями. Иногда морили их голодом для смеха, били по носу и по щекам, травили собаками, кидали в воду и вообще употребляли на всевозможные забавы. В таких удовольствиях проходил целый день, а когда Иван Федотович ложился почивать, пьяная старуха должна была рассказывать ему сказки; оборванные казачки щекотали ему легонько пятки и обгоняли кругом его мух. Дураки должны были ссориться в утку и отнюдь не спать или утомляться, потому что кучер вдруг прогонял дремоту и оживлял их беседу звонким прикосновением аранника.

Мать Василия Ивановича, Арина Аникимовна, имела тоже свою дуру, но уж больше для приличия и, так сказать, для штата. Она была женщина серьезная и скупая, не любила заниматься пустяками. Она сама смотрела за работами, знала, кого выдрать и кому водки поднести, присутствовала при молотье, свидетельствовала на мельнице закормы, надсматривала ткацкую, мужчин приказывала наказывать при себе, а женщин иногда и сама трепала за косу. Само собой разумеется, что кругом ее образовалась целая куча разностепенной дворни, приживалок, наушниц, кумушек, нянек, девок, которые, как водится, целовали у Василия Ивановича ручку, кормили его тайком медом, поили бражкой и угождали ему всячески в ожидании будущих благ.

Василий Иванович был и без того пухлый ребенок, редко вымытый, никогда не чесанный, жадный, своевольный, без присмотра и наблюдения. Он рос себе по одним простым законам природы, как растет капуста или горох. Никто не заботился о его нравственном направлении, о его умственном и душевном развитии. Никто не объяснял ему прекрасных символов веры, никто не говорил ему, что одного наружного благочестия недостаточно и что каждый человек должен созидать невидимый храм в душе своей, должен прославлять

всевышнего не одними словами, а чувствами и жизнью.

На одиннадцатом году Василий Иванович начал курс своего учения под руководством приходского дьячка и складывал с большим отвращением года два сряду всякому памятные буки аз — ба, веди аз — ва. После чего он начал и писать, но о каллиграфии и правописании не было упомянуто вовсе, так что и поныне Василий Иванович такие иногда мудреные чертит кавыки, такие иногда под пером его рождаются дикие слова, что глазам не верится. Потом учили его катехизису по вопросам и ответам и арифметике по тому же способу. Но тут все усилия остались, кажется, тщетны, потому что наука ему решительно не далась. Впрочем, к совершенному оправданию родителей его, надо сказать, что они взяли для воспитания сына и домашнего учителя. Оный учитель был малороссиянин, кажется, отставной унтер-офицер, именован Вухтич. Получал он жалованья шестьдесят рублей в год, да отсыпной муки по два пуда в месяц, да изношенное платье с барского плеча и нечто из обуви. Кроме того, так как платья было немного, потому что Иван Федотович вечно ходил в халате, то Вухтичу было еще предоставлено в утешение держать свою корову на господском корме. Василий Иванович мало оказывал почтения учителю, ездил верхом на спине его, дразнил его языком и нередко швырял ему книгой прямо в нос. Если же терпеливый Вухтич и выйдет, бывало, наконец из терпения и схватится за линейку, Василий Иванович кувырком побежит жаловаться тятеньке, что учитель его такой-сякой, бьет-де его палкой и бранит дурными словами. Тятенька спяна раскричится на Вухтича: «Ах ты, седой этакой пес, я тебя кормлю и одеваю, а ты у меня в дому шуметь задумал! Вот я тебя... смотри, по шеям велю выпроводить. Не давать корове его сена!..» А кумушки и приживалки окружают Василия Ивановича и начнут его утешать: «Ненаглядное ты наше красное солнышко, свет наша радость, барин вы наш, позвольте ручку поцеловать... Не слушайте, ягода, золотой вы наш, хохла поганого: он мужик, наш брат... где ему знать, как с знатными господами обиход иметь...»

«Что же, в самом деле, — думал Вухтич, — не ходить же по миру...» Заключением всего этого было то, что Вухтич женился на дворовой девке, получил в награждение две десятины земли, и воспитание Василия Ивановича было окончено.

Однако же, надо сказать правду, Василий Иванович имел от природы сердце доброе, нрав тихий и миролюбивый. Доказательством тому служит то, что даже и воспитание его не испортило. Я говорю «воспитание» за неимением слова, выражающего понятие, совершенно противоположное воспитанию. И странно, как подумаешь... Почти все наши деды учились на медные деньги, воспитывались как-нибудь, наудачу, то есть не воспитывались вовсе, а росли себе по воле божьей. И деды наши были, точно, люди неграмотные; редкий умел правильно подписывать свое имя, и, несмотря на то, они все почти были люди с твердыми правилами, с сильной волею и крепко хранили, не по логическому убеждению, а по какому-то странному внушению, любовь ко всем нашим отечественным постановлениям. Теперь старинная грубость исчезает, заменяясь духом колебания и сомнения. Жалкий успех, но, может быть, необходимый, чтоб надежнее и вернее дойти до истины.

Когда Василию Ивановичу наступил шестнадцатый год, он отправился в Казань на службу... Тогда недавно только образовались новые штаты по указу о губернских учреждениях. Василий Иванович служил несколько времени в канцелярии наместника, но, как еще поныне говорится в губерниях, для одной только *voir le procureur*¹. В самом деле, не оставаться же столбовому дворянину, хоть и безграмотному, недорослем. К военной службе Василий Иванович имел мало склонности, тогда как совершенная праздность вполне согласовалась с его способностями и привычками. В то же время вкусил он удовольствия светской жизни и стал удивительно отличаться на балах. Никто ловчее его не прохаживался в матрадуре, монимаске, куранте или Даниле Купере. Иногда в небольшом кругу отхватывал он по просьбе дам и казачка, что всегда сопровождалось громкими изъявлениями удовольствия. Подобный случай решил даже участь его навсегда. Как-то на именинах у прокурора просили его пройти любимый обществом танец вместе с молодой дочерью отставного секунд-майора Крючкина. Девушка долго жеманилась, но, как водится, по долгим убеждениям согласилась. Скромно опустив очи, зардевшись как маков цвет, она так мило подбоченилась, так легко начала подпрыгивать и влево и вправо, что сердце Василия

¹ для вида (*искаж. фр.*).

Ивановича вздрогнуло и ноги едва не отказались. Но вдруг он оправился и с таким неистовым вдохновением пустился вприсядку, такие начал выделять ногами штуки, что вся комната потрясалась от рукоплесканий, и некоторые подгулявшие собеседники начали даже притопывать и припевать, улыбаясь друг перед другом.

Василий Иванович, задыхаясь, подошел к пристыженной от общего восторга красавице.

— Ах! — сказал он. — Лихо изволите...

Молодая девушка еще более зарделась.

— Помилуйте-с... — отвечала она шепотом.

Эти слова и этот вечер остались навсегда памятны и для Василия Ивановича и для Авдотьи Петровны.

Василий Иванович влюбился не на шутку. Влюбилась ли также Авдотья Петровна — неизвестно и, вероятно, останется вечной тайной. Впоследствии, когда, уж сделавшись счастливым супругом, и расспрашивал ее про то Василий Иванович, она только, улыбаясь, приговаривала: «Ну, перестань же, балагур ты этакой!»

После памятного казачка все прелести супружеской жизни, все очарования Авдотьи Петровны неотлучно преследовали Василия Ивановича самыми заманчивыми картинками. В душу его вкралась нежная мысль и наконец до того им овладела, что он превозмог страх и робость и отправился в Мордасы испросить родительское благословение. Однако же попытка ему не удалась. Отец отвечал ему коротко и ясно:

— Вишь, щенок, что затеял. Еще на губах молоко не обсохло, а уж о бабе думает. Послать сюда Матрешку!

Явилась Матрешка, босоногая, в затрапезном робронде, в газовом испачканном токе, с перьями и цветами. С отвратительными улыбками начала она приседать и говорить разные исковерканные французские слова с примесью некоторых уж чересчур русских.

— Вот тебе невеста, — сказал Иван Федотович. После чего выпил он стакан травничка и на длинных дрогах отправился в поле.

От матери Василий Иванович получил почти то же приветствие. Воля мужа была ей законом. «Даром, что пьяница, — думала она, — а все-таки муж». Так думали в старину.

Василий Иванович возвратился, повеся нос, в Казань.

Теперь читатель в полном праве ожидать сильного анекдота, несчастной любви, тайного брака, может быть, похищения и какого-нибудь проклятия. К сожалению, ничего подобного не случилось. В старину дети раболепно повиновались родителям, да к тому же Авдотья Петровна была девушка умница, по тогдашним понятиям, девушка воспитанная, рукодельница, то есть никуда не выходила, кроме как в церковь, а сидела целый день с девками, плела кружева, низала бисером и слушала подблюдные песни. О том уже не упоминается, что секундмайор Крючкин, с своей стороны, преисправно бы отдубасил заслуженную тросточкой всякого незаконного покушителя на сердце и покой единственной дочери.

Положение Василия Ивановича было самое горемычное. Он не имел даже утешения сделаться пьяницей, не чувствуя наследственной склонности к горячим напиткам. Нрава был он не буйного; он не роптал против судьбы, а грустил и смирялся в простоте душевной. Ходил он только частехонько ко всеобщей, украдкой поглядывал на свою красавицу, вздыхал, пыхтел, разнеживался и возвращался домой. Однако ж ни одна порочная мысль не заронилась в его непорочной душе; ни раза не подумал он даже о возможности послушаться родительского приказания или внушить предмету любви своей незаконное чувство.

Так протянулось мрачно три года. Новый случай вдруг переменял жизнь Василия Ивановича. Однажды получил он странное письмо церковного слога и почерка. Письмо было от сельского священника и уведомляло Василия Ивановича, что Иван Федотович при смерти, болен. Василий Иванович в ту же минуту послал за лошадьми и поскакал в Мордасы. Жалкую перемену, печальную картину нашел он в отцовском жилище: приживалки и кумушки ревели по разным комнатам; дураки вдруг сделались разумными и сбросили уродливые наряды. Умирающий, жертва необузданной склонности, лежал уже на смертном одре и жалобно стонал и тихо каялся. Святая таинственность страшного предсмертного часа разбудила наконец голос совести и направляла душу к настоящей стезе, от которой невежество, тунеядство, привычка и пример отклоняли грешника в течение целой его жизни. «Вася, — говорил он, — Вася, во мне горит что-то... Мне душно, мне больно, Вася... Виноват я перед тобой! Прости меня, Вася, не проклинай моей памяти. Не воспитал я тебя так, как должен был богу и государю... Будут у

тебя дети, Вася, — воспитывай их в страхе божьем, обучай наукам, служить заставь... Тяжкий мой грех... Не позволяй, Вася, детям ругаться над людьми бедными и слабыми; не обращай братьев твоих в позорище, не тяни из них крови христианской... Все припомнится в последнюю минуту. Верь мне, Вася, тяжело умирать с нечистой совестью... Душно мне, Вася... Вася, Вася, прости меня...» И Вася, стоя на коленях, тихо рыдал у изголовья умирающего, и священник творил молитву над ложем страдания, среди одепеневшей дворни. Долго продолжалась борьба жизни с смертью, долго мучился и томился больной. Наконец он умер. Дом наполнился криком и стенанием. Все селение провожало покойника до последней его обители. Приживалки и кумушки вопили страшными голосами, приговаривая затверженные речи: «Батюшка, кормилец, Иван ты наш Федотыч, на кого ты нас покинул?.. Как будет нам жить без тебя?.. Кто будет поить, кормить нас, круглых сирот, кто хлеб доставать? Век нам над тобой плакаться, век не утешиться... Пропала наша головушка!..» Все это сопровождалось визгом и притворным, весьма отвратительным поступлением... Но при последнем прощанье на многих лицах изобразилось истинное горе. Любовь мужика к барину, любовь врожденная и почти неизъяснимая, пробудилась во всей силе. По многим крестьянским бородам покатались крупные слезы, и, по едва понятному чувству великодушного самоотвержения, даже бедные дураки, вечно осмеянные, вечно мучимые покойником, неутешно плакали над свежей его могилой.

Прошел год грустного траура. Во все время освященного обычаем срока Василий Иванович, сделавшись полным хозяином имения, ни раза не посмел и подумать о милых сердцу замыслах. Но год прошел, прошло еще несколько месяцев, Василий Иванович, несмотря на душевную скуку, становился удивительно толст. «Пора бы тебе, батюшка Василий Иванович, — говаривали ему нередко старые мужики, — и хозяйшкой обзавестись. Полно тебе бобылем-то маяться».

— Что же, Васенька, в самом деле, — сказала однажды Арина Аникимовна, — я стара становлюсь: а что за хозяйство без хозяйки!

Василий Иванович только того и ожидал. Выкатили из сарая тарантас, помолились, позавтракали, да и отправились в Казань. Авдотья Петровна все еще была в девушках, даром что в женихах не было недостатка.

По приезде в Казань сейчас же послали за свахой. Явилась болтливая сваха с повязанным на голове платком. Несколько дней сряду таскалась сваха из дома Василия Ивановича к дому Авдотьи Петровны и обратно, носила с собой рядную, то есть подробные списки о приданом образами, натурой, деньгами, тряпками и т. д. Арина Аникимовна на все делала собственноручные замечания, чего мало, чего не надо и чего достаточно. Наконец был назначен день для свидания молодых людей. При этом памятном свидании Василий Иванович и Авдотья Петровна поочередно краснели и бледнели, не говоря ни слова. Зато сваха неумолчно и прेमилло шутила, злодейски запуская разные намеки и обиняки насчет пристыженной четы. Секунд-майор смеялся от души и весьма развязно разговаривал с Ариной Аникимовной о цене хлеба, об ожидаемом умолоте, о враждебном озими червячке и о прочих принадлежностях сельской политики. Спустя несколько дней молодых людей благословили, отслужили в соборе молебен и начали готовиться к свадьбе. В старые годы приготовления к свадьбе не сопровождались, как нынче, совершенным разорением: не заказывали сверкающих карет, в которых ездить не придется, не выписывали шляпок из Парижа, а давали чистые деньги, деревни не заложенные. Накануне дня, назначенного для брака, притащился к дому Василия Ивановича огромный рыдван, из которого вынесли сперва божьего милосердия несколько образов в окладах, потом начали таскать розовые перины, подушки, сундуки с бельем, издавна уж к свадьбе заготовленным, самовар, серебро и несколько платьев с прегадкими кружевами. Оные кружева плела себе несколько лет сряду с девушками сама Авдотья Петровна на приданое, и, верно, не раз задумывалась она над работой, невольно одолеваемая сладким страхом при мысли о своей туманной девичьей судьбе. Арина Аникимовна все пересчитала и приняла собственноручно, потом подписала рядную и подарила свахе московской шелковой, довольно легонькой материи на платье. Свадьбу праздновали со всевозможной пышностью. Обряд совершал соборный протоиерей. Посаженым отцом у молодой был сам наместник. В целом городе только и было речей что о пышном ужине, который задал на славу Василий Иванович. Выпито было семь бутылок шампанского, и военная музыка играла за столом. Недели через две после торжественного дня Василий Иванович, поблагодарив всех и каждого, раскланявшись и распростившись с

целым городом, посадил молодую свою супругу в новый тарантас и отправился в деревню. На границе поместья все мужики, стоя на коленях, ожидали молодых с хлебом и солью. Русские крестьяне не кричат виватов, не выходят из себя от восторга, но тихо и трогательно выражают свою преданность; и жалок тот, кто видит в них только лукавых, бессловесных рабов и не верует в их искренность. Как бы то ни было, с того времени, как Василий Иванович женился, каждый его мужик радовался, как будто бы женился сам. «Вот и хозяйка у нас, — говорили они. — Вот не одни мы, слава богу! Много им лет здравствовать». И старый и малый отправились бегом в церковь, чтобы выслушать молебен, чтоб рассмотреть хорошенько молодую. Старый священник со слезами на глазах вынес из алтаря крест, к которому приложились новобрачные. На всех устах шевелилась молитва, на всех лицах сияла радость, радость неподдельная. И все это было просто, без приготовления, без громких изъявлений, без глупых речей. Василий Иванович ввел свою хозяйку в серенький помещичий домик. Арина Аникимовна благословила их образом у порога — и Василий Иванович зажил новой жизнью.

И надо ему отдать справедливость. Он хотя не уничтожил вовсе существовавший при отце порядок, но по крайней мере изменил его во многом: шутов отослал в столярную, кучера посадил на козлы, а сам выпивал не более двух рюмок травничка в день: одну перед обедом, другую перед ужином. Не следует, однако, думать, чтоб он вооружился правилами грозной нравственности и барабанил громкими словами, — совсем нет. То, что занимало и тешило Ивана Федотовича, не казалось ему отвратительным, а только не занимало и не тешило его вовсе. Он понимал, что можно быть пьяницей, только сам напиваться не любил. Он понимал, что можно забавляться дураками, только сам не находил в них ничего смешного. Словом, он сделался добрым человеком не по убеждению, а так себе, потому что иначе было бы ему как-то неловко и неприятно. С одной стороны, он помнил живо последнее, страшное поучение умиравшего отца, а с другой стороны, просвещение, которое незаметным образом распространяется повсюду, заглядывая в села и деревни, не миновало Мордас и стало исподволь подкрадываться к Василию Ивановичу, заговаривая с ним не европейскими пустыми изречениями, а понятным ему языком. Таким образом, понял он, что собственное его благосостоя-

ние зависит от благосостояния его крестьян, и тогда занялся он всеми силами добрым делом, и без того милым его мягкосердому свойству. Он начал, правда, управлять по русской методе, по опыту старожилов, без агрономических фокусов, без филантропических усовершенствований, но помещик понимал мужика, мужик понимал помещика, и оба стремились без насильственных толчков, а правильно и постепенно к цели усовершенствования. Василий Иванович был человеколюбив и правосуден. Крестьяне стали обожать его уже не по долгу, им привычному, но из святой благодарности. У Василия Ивановича родились дети. Он начал их воспитывать не хитро, но уж не так, как сам был воспитан. Для них был выписан студент из семинарии, который обучал их и истории, и географии, и многому, о чем Василий Иванович и понятия не имел. Старший сын по наступлении одиннадцати лет был отправлен сперва в губернскую гимназию, а потом в Московский университет. Василий Иванович понимал, сам не зная почему, что в хорошем воспитании таится не только нравственный зародыш жизни каждого человека, но и тайное начало благоденствия и жизни всякого государства.

Со всем тем Василий Иванович был из числа самых прозаических помещиков. Старые соседи говорили о нем, что он продувная шельма, а молодые — что он пошлый дурак. В самом же деле, он просто и поныне, что называется, человек старого покроя. На дворянских сходбищах, куда он является только в необыкновенные случаи, говорит он весьма неостроумно, но говорит дельно, согласно понятию большинства. Предлагали ему служить по выборам, но он отклонил подобное предложение, во-первых, как говорил он, по поводу физики, чересчур неповоротливой, а во-вторых, потому, что в низших должностях боялся ответственности, а высших не почитал себя достойным. Живет он себе лет тридцать в деревне почти безотлучно, толстеет и с каждым годом, чрезвычайно любит ездить на рыбную ловлю, где он может лежать на берегу, пока рыбаки забрасывают невод на его счастье или на счастье всех детей его поочередно. Кушает он удивительно много и охотно, и Авдотья Петровна каждый день придумывает ему какой-нибудь сюрприз: то кулебяку с вязигой, то окорок на славу, то рыбу огромной величины, на каковой случай сзываются и несколько соседей. «Василий Иванович просит-де откусать рыбки, что поймал у него рыбак». И соседи восхищаются рыбкой,

мерят ее, сравнивают с другими известными рыбами, и Василий Иванович улыбается и очень доволен и собой, и рыбкой, и жизнью. После обеда едят варенье общей ложечкой, выпивают иногда по рюмке наливочки, потом ложатся отдохнуть, потом ездят на длинных дрогах посмотреть на озими или на яровинку, потом снова ложатся спать уже на целую ночь. В карты Василий Иванович не играет. Утром поверяет он работы, делает разводку, ездит на мельницу или на молотильню, но ходить пешком не любит и решается на такой подвиг только в чрезвычайных случаях: во время крестного хода, например, или когда плотину прорвет.

Арина Аникимовна давно уже скончалась, в поздней старости. За несколько лет до смерти она ослепла и тихо сошла в могилу, где схоронили ее рядом с Иваном Федотовичем.

Авдотья Петровна давно уже сделалась толстой и довольно крикливой барыней. Впрочем, она любит и уважает Василия Ивановича, хотя не с прежнею безусловною покорностью. Она тоже имеет вес и голос в управлении и хозяйстве, и, чтоб высказать всю истину, надо сознаться, что Василий Иванович ее немного даже побаивается. Ей вполне предоставлены, для приятного рассеяния, все заботы о скотном дворе, птичнике и рукодельной промышленности дворовых женщин. Авдотья Петровна любит гадать в карты, слушать сплетни дворовых старух и приобрела в околотке немалую славу особым искусством, с которым она солит огурцы, перекладывая их какими-то листьями.

Впрочем, ни она, ни мирный ее супруг ни одного раза в течение тридцатилетнего супружества не пожалели о своем выборе, ни одного раза супружеская их верность не нарушалась, и ни одна неприязненная мысль, ни одно ядовитое слово ни разу не коснулись их непрерывного согласия.

Так текла, так течет бесстрастная тихая жизнь толстого помещика. В продолжение тридцатилетнего пребывания в деревне раза два был он в Москве, раз пять в губернском городе, да каждый год около Иванова дня отправлялся он на ближнюю ярмарку.

Вот все, что можно было, в угоду читателю, почерпнуть из биографии Василия Ивановича.

Тридцать лет после рождения Василия Ивановича в соседней деревне родился Иван Васильевич.

Мать Ивана Васильевича была московская княжна, княжна, впрочем, не древнего русского рода, а какого-то странного именованья и, как кажется, недавнего восточного происхождения. Как бы то ни было, она была княжна от ног до головы и процветала в Москве в ту блаженную эпоху, когда все молодые девушки, а в особенности княжны, узнали впервые на Руси всю прелесть французских романов, обычаев и мод. Читателю, вероятно, известно, что было время, когда наши дамы стыдились говорить по-русски и коверкали наш язык самым немилосердным образом, чего, не в укор будь им сказано, еще и поныне заметны некоторые следы. Тогда у нас франкомания владела всем нашим первостепенным дворянством, которое, следуя всегдашней тайной слабости, вздумало было тем отделиться от второстепенного. Но, по принятому правилу, второстепенное сейчас же последовало за первостепенным, чтоб попасть под тот же разряд, а за ними и прочие степени. Неизвестно, к какой, собственно, из этих последующих степеней принадлежала княжна, но так как никто не оспаривал ее сиятельности, то она и приписывала себя к высшему слою общества, а вследствие того носила до невероятия короткие талии, причесывалась по-гречески, читала Грандисона, аббата Прево, madame Riccoboni, madame Radcliff, madame Cottin, madame Souza, madame Staël, madame Genlis и объяснялась не иначе как на французском языке с нянькой Сидоровной и буфетчиком Карпом. Сидоровна плакала, что ребенка ее сглазили и испортили; буфетчик Карп отвечал на все «Слушаю-с!», а старая княгиня, утопая вместе с моськой в неподвижной дородности, твердила наизусть французский лексикон и радовалась, что бог наградил ее такую воспитанной княжною. Впрочем, влияние на нас Франции в то время было весьма понятно. Наполеон потрясал с боку на бок всю Европу, и Россия, охотница до всякой удалы, дивилась со стороны чудному человеку. Но когда дело дошло до нас, все наши французы заговорили по-русски. Чувство народности, чувство народной любви к государю и отечеству — это основное неискореняемое начало русской жизни вдруг сбросило личину, и целый край поднялся без шума грозным исполином. Врага

встретили с мечом и огнем, и пожар Москвы осветил настоящим светом русские чувства. В эту памятную годину всякий жертвовал чем мог: кто жизнью, кто детьми, кто достоянием, и никому не пришло в голову просить себе за то возмездия или награды, чему мы видели потом столько примеров в прославленной нами Франции.

Княжна и княгиня отправились в Казань в огромном рыдване, уложив в него большую часть своей движимости. Все остальное сгорело в Москве вместе с домом.

Французов прогнали, но княгиня рассудила, что возвращаться ей на пепелище, заводить новый барский дом с штофными гостиными и загаженной передней — затруднительно и утомительно по случаю ее тучности и преклонных лет. Вследствие сего поселилась она в Казани, к великому неудовольствию княжны. Княжна важничала, брезгала провинциальным обществом и неуклюжими молодыми людьми. Разумеется, такой образ мыслей навлек на нее общее негодование; губернские остряки распустили на ее счет самые забавные анекдоты; барыни относились к ней крайне недоброжелательно, хотя и подражали раболепно ее нарядам. Княжна скупчалась и, что хуже, старилась. Оставаться старой девушкой, хоть и княжной, как ни притворяйся, никогда не покажется утешительным. Бросившиеся было к ней женихи, распознав, что у ней шесть или семь братьев и что приданое ее заключается во французском языке, вдруг почувствовали к ней отвращение и быстро скрылись врассыпную. Наконец отыскался какой-то бессловесный помещик из числа колпаков, который, ослепленный княжеским сиянием, предложил княжне руку и деревню. Княжна приняла деревню, а по необходимости и руку вдобавок. Помещик не был похож, как представить можно, на Малек-Аделя или на Eugene de Rothelin¹, не был похож даже на лютого тирана, а скорей на сурка: ел, спал да рыскал целый день по полю.

От этого брака родился Иван Васильевич.

Разумеется, положено было воспитать его на славу, чтоб сын отнюдь не был олухом, как батюшка; и как только начал он подрастать, сейчас же принялись отыскивать французского гувернера. Всем известно, что французы долго мстили нам за свою неудачу, оставив за собой несметное количество фельдфебелей, фельдше-

¹ Евгений Ротлен (фр.).

ров, сапожников, которые под предлогом воспитания испортили на Руси едва ли не целое поколение. Эту жалкую саранчу не следует, однако, сравнивать с эмигрантами, которые все-таки были получше, пообразованнее, хотя немногим, и они оплатили за русское гостеприимство, укрывавшее их от ужасов французского возмущения.

К счастью Ивана Васильевича, наставник его, monsieur Lerginse, не был из числа самых площадных азбучных ремесленников. Он принадлежал к какой-то политической партии и, как рассказывал, был жертвою важных переворотов, лишивших его значительного состояния, не объясняя, впрочем, никому, что состояние это заключалось в табачной лавочке. Он был даже не совершенно без образования, но, разумеется, как француз, с образованием односторонним и хвастливым. Он ничего не понимал и не признавал вне Франции, и все открытия, все усовершенствования, все успехи приписывал своевольно французам. Такой образ мыслей, разумеется, может быть весьма похвален для природного парижанина, но, кажется, вовсе не нужен для казанского уроженца. Кроме того, monsieur Lerginse был весьма любезен с дамами, писал довольно гладкие стишки с остротой или с мадригалом при конце, говорил про все то, чего не знал, весьма бегло и красиво, любил иногда с важностью замолвить глубокомысленное словечко о судьбах человечества и с гордой откровенностью беспрестанно твердил, что он сделался наставником только по необходимости, но что он вовсе не рожден для подобного назначения.

Мать Ивана Васильевича чрезвычайно радовалась такой прекрасной находке. Злые языки даже распускали в уезде на ее счет довольно не отрадные для супруга ее слухи. Впрочем, слухи эти были, может быть, не что иное, как клевета.

На тринадцатом году Иван Васильевич знал, что Расин первый поэт в мире, а Вольтер такая тьма мудрости, что страшно подумать. Он знал, что был век, озаривший целый свет своей могучей литературой, — век Людовика XIV; что после этого века был еще другой век, век Людовика XV, немного послабее, но тоже изумительный. Иван Васильевич знал наперечет всех писак того времени. Надо отдать ему справедливость, что он нередко зевал, читая образцовые сочинения, но monsieur Lerginse, подсмеиваясь над тупой его природой, предсказывал ему, что впоследствии он постигнет, может быть, недоступные ему красоты. Сверх того, Иван Васильевич

обучался латинскому языку по ломонодовской грамматике, хотя довольно неудачно; кое-что запомнил из «Всеобщей истории» аббата Милота, пел беранжеровские песни и описывал довольно правильно на французском языке восхождение солнца. О неизвестных же ему предметах monsieur Lerginсе относился весьма легко, давая чувствовать, что он их хотя и изучал донельзя, но что они не заслуживают никакого внимания.

Иван Васильевич был мальчик совершенно славянской природы, то есть ленивый, но бойкий. Воображением и сметливостью часто заменялись у него добросовестный труд и утомительное внимание. Ученик скоро истощил ученый запас учителя, но учитель, как истый француз, никак не понимал своего невежества и продолжал себе преподавать и растягивать всякий вздор под прикрытием громких названий. «Поймите сперва хорошенько Корнелия Непота, — говорил он своему питомцу, — а там мы примемся за Горация». Но, к сожалению, monsieur Lerginсе сам Горация-то не понимал, отчего и Иван Васильевич остался на всю жизнь свою при Корнелии Непоте. Года два или три сидел Иван Васильевич на французском синтаксисе, изучая и забывая поочередно все своеобразные обороты болтливового языка. Потом несколько лет сряду изучал он французскую риторiku, составлял разные фигуры, тропы, амплификации, витиеватые обороты речей и т. п. «Узнайте сперва хорошенько риторiku, — говорил monsieur Lerginсе, — а там дойдем мы и до философии». Но риторика длилась до бесконечности, и по известным причинам до философии никогда не дошли. Еще забыл я сказать, что Иван Васильевич знал наизусть генеалогию всех французских королей, названия многих африканских и американских мысов и городов, терялся в дробях, как в омуте, и довольно нахально начал судить, по примеру наставника, о многих книгах и о всех науках, руководствуясь одними заглавиями. Мать Ивана Васильевича, урожденная княжна, утопала в восторге, когда сынок приносил ей в праздничный день поздравительное сочинение, наполненное риторическими тропами или, чего доброго, иногда и вклученное в стихосложный размер. Monsieur Lerginсе, в уважение таких заслуг, был почти хозяином дома, приказывал и распоряжался во все стороны, держал своих лошадей, частехонько для рассеяния ходил на прядильную фабрику, толстел, наживался и, наконец, начал торговать из-под руки хлебом, после чего, набив карма-

ны, раскланялся он на все четыре стороны и уехал во Францию рассказывать про нас всякие небылицы и печатать брошюры о тайнах русской политики и о личных достоинствах наших государственных людей.

Никто, однако, не рассудил, что Ивану Васильевичу не заседать в камере депутатов, не быть республиканцем или роялистом, не гулять век на Итальянском бульваре, а что суждено ему служить в министерстве юстиции или финансов; что божиею волею придется ему иметь во владении триста душ безграмотных крестьян, которые всю надежду свою будут полагать на него и о которых он, вероятно, ни раза не подумает, разумеется, исключая те случаи, когда понадобится получать с них доход. Ивану Васильевичу все рассказали и объяснили, кроме того, что у него было под носом. Он видел господский дом довольно гадкий, избы довольно гнилые, церковь довольно ветхую, но никто не объяснил ему, как начались, как образовались, как дошли до настоящего положения этот дом, эти избы, эта церковь. Русская история, русская жизнь, русский закон остались для него каким-то варварским баснословием, и, благодаря бестолковому направлению, русский ребенок вырос французиком в степной деревне, в самом русском захолустье. В уезде выставляли вздорного парня за настоящее чудо, и счастливая его мать в наслаждениях, доставляемых сыном, забывала даже скуку, доставляемую отцом.

Нельзя, впрочем, слишком строго укорять ее в слабости, почти общей всему нашему дворянскому сословию. И теперь, когда в высшем нашем кругу среди стольных русских имен встречаешь так мало русских сердец и в особенности так мало русских умов, невольно подумаешь о полученном воспитании, и вместо гнева в душе рождается сожаление.

В одно печальное утро мать Ивана Васильевича скончалась, и сурок нашелся в самом затруднительном недомении. Куда девать сына? Так как малому не исполнилось еще пятнадцати лет, то на службу отдавать его было еще рано, а выписывать нового француза — слишком поздно. По общему совещанию с соседями решили отправить Ивана Васильевича в какой-то частный петербургский пансион. Так и сделано. Пансион отличался удивительной чистотой и порядком. Полы были налощены воском, на лавках не замечалось ни одного чернильного пятна, а на лекциях преподавалось несметное множество различных наук. К несчастью, между учащимися неве-

жество и нерадение не почитаются за порок; напротив того, в них полагается что-то молодецкое, доказывающее самостоятельность возмужалого возраста. Увлеченный ребяческим тщеславием, Иван Васильевич сделался совершенным молодцом: затягивался во всех уголках вакштафом до тошноты, пил водку, бегал по кондитерским, хвастал каким-то мнимым пьянством, занимался театральной хроникой; а на лекциях учил какие-нибудь грязные или вольнодумные стихи. Словом, в пансионе набрался он какого-то странного, непокорного духа, обижался званием школьника, учителей называл ослами, ругался над всякою святыней и с лихорадочным удовольствием читал те мерзкие романы и поэмы, которых и назвать даже нельзя. Таким образом, сделался он дрянным пове-сой, смешным и гадким невеждой, и даже тот скудный запас мелких познаний, который сообщил ему monsieur Lerpince, исчез в тумане школьного молодечества.

Так погубил он самые лучшие, самые свежие годы жизни, когда душа еще так восприимчива, так горячо и ясно удерживает всякое впечатление. Наступила пора выпуска и экзамена. Экзамен заключался в тридцати или сорока предметах, не говоря об изящных искусствах и гимнастических упражнениях. Иван Васильевич относился, разумеется, весьма презрительно об ожидаемом испытании и, как говорится на пансионном языке, провалился с первого слова. Такой развязки и надо было ожидать. Однако Ивану Васильевичу было невероятно досадно и даже немного стыдно и других и самого себя. Он был из числа тех людей, которые хотят все знать, не учась ничему. Ему невыносимо обидно было глядеть на двух или трех трудолюбивых молодых людей, над которыми весь класс всегда смеялся, которые никогда не были молодцами и которые вдруг сделались предметом невольного уважения не только наставников, но даже и самых буйных, самых отчаянных товарищей. Иван Васильевич опомнился и крепко призадумался. Не начать ли снова с азбуки? Не приняться ли наконец за дело? Он чувствовал, что одарен понятливостью и памятью; предметы ясно обрисовывались в его воображении, даже самые отвлеченные мысли при напряжении могли отчетливо вкореняться в его уме. Наконец, он даже по своей досаде почувствовал, что не рожден для бессмысленного разврата, а что в нем таится что-то живое, благородное, просящееся на свет, требующее деятельности, возвышающее душу. Если б он последовал внутреннему голосу,

если б он принялся сам себя перевоспитывать, то мог бы еще сделаться человеком полезным и, во всяком случае, замечательным по твердости и настойчивости. Но как начать учиться, когда некоторые товарищи уже титулярные советники и веселятся в большом свете? Давайте Ивану Васильевичу и службу и свет. Он определился в какое-то министерство и, горестно оплакивая свою школьную дурь, начал служить горячо и старательно. Недостаток в надлежащих для службы сведениях заменял он сметливостью и остроумием. Его употребляли в канцелярии и в откомандировках, он был усерден к службе, как будто желая загладить вину жалкого своего затмения. В его усердии даже было слишком много рвения, потому что он не мог бы сохранить его постоянно в одинаковой силе. Много делал он даже совершенно ненужное и лишнее, от него вовсе не требуемое. Словом, он чересчур завлекся службой, и через несколько времени служба ему надоела. Ему показалось, что его заслугам не отдадут должной справедливости, что его не отличают достаточно, а обходят в представлениях, что ему следовало уже быть каким-нибудь важным лицом. Рвение заколебалось, и невежество, не прикрытое осторожностью, начало проглядывать. Трудолюбивые товарищи по пансиону, о которых уже было помянуто, в скором времени его обогнали, потому что и на службе, как в ученье, были они основательны и последовательны. Иван Васильевич начал было сердиться, но вскоре позабыл и гнев свой, потому что вдруг перестал думать о службе; и не мудро... он был влюблен. Влюбился он по уши в какую-то барыню, которая отличалась томным взором и страстною речью. Сперва разменялись они неясными признаниями, потом разменялись колечками, наконец и взаимными клятвами любить вечно друг друга. Иван Васильевич несколько времени носился в бурном небе страстных мечтаний, но это, впрочем, не продолжалось долго. Страсть, его увлекавшая, доходила сразу до последних границ, а от самой силы своей скоро обессиливала. Но вдруг он заметил, что красавица его томно заглядывается на какого-то гусара, — и закипел ревностью. Мщение, злоба, кровь забунтовали в голове его. К счастью, сама красавица предупредила все трагические последствия, выйдя замуж за такого богатого уroda, что и сердиться на него было невозможно. Для развлечения Иван Васильевич с неистовством окунулся в светские удовольствия. Но в этих удовольствиях он не нашел даже и тени того, чего искал.

Скука, бездействие, обманутое самолюбие, какая-то свинцовая усталость давили его грудь. Он начал проклинать бесцветность петербургской жизни, не понимая, что эту бесцветность носит в себе. Иногда, пламенными урывками, увлекался он в отрадный мир поэзии, читал и Данте, и Шиллера, и Байрона, и Шекспира и сильной рукой отдергивал завесу, отделявшую его от прекрасного мира, так долго скрытого его очам. Иногда углублялся он в какую-нибудь заманчивую для него науку, но все это было случайно, нетвердо, лихорадочно. Открытая книга падала со стола, исписанный лист не переворачивался. И теперь, как прежде, он принимался за все сгоряча, но горячность скоро проходила; он утомлялся и искал минутного рассеяния, глупой забавы. Он понял тогда, что образование не заключается в словах и числах, не во множестве и подробностях ученых предметов, а в способности заниматься полезно, в строгой критике жизни, в строгом и терпеливом исполнении всякого начатого дела. Он сделался истинно жалким человеком не оттого, чтоб положение его было несчастливое, но оттого, что он ни в чем не мог принимать долго участия, оттого, что он сам собою был недоволен, оттого, что он устал сам от самого себя. Тогда начал он догадываться, что есть какое-то высокое, прекрасное назначение в науке, которая подавляет ко дну души сомнение, безверие, страсти, томящие борения, неизбежные с человеческой природой. Без благодетельной науки все эти враждебные начала выплывают на душевную поверхность, и жгут, и бунтуют, и губят беззащитную жизнь.

В таком безотрадном положении Иван Васильевич утешался, однако ж, отрадною надеждою отправиться за границу, воображая, что в чужих краях он легко приобретет познания, которые не сумел приобрести в отечестве. Вообще слово «за границу» имеет между нашей молодежью какое-то странное значение. Оно точно как бы является ключом всех житейских благ. Больной спешит за границу, воображая, что у прусской заставы вдруг сделается здоровым. Живописец просится за границу в ожидании, что как он только влезет на Monte Pincio, так и будет Рафаэлем. Невежда, проленившийся целый век дома и пристыженный наконец своим незнанием, берет место в дилижансе и думает, что потерянное время, вечная праздность, умственные потемки больше ничего не значат: он едет за границу.

Иван Васильевич отправился в Берлин с рекоменда-

тельными письмами ко всем знаменитостям Берлинского университета. Первое его впечатление за границей было самое неудовлетворительное, хотя он сам не мог отдать себе отчета в том, чего ожидал. Люди как люди. Домы как дома. Улицы как улицы. И к тому же люди поскучнее наших, дома похуже наших, улицы поуже наших. Знаменитости, пред которыми он готовился благоговеть, произвели на него почти то же самое впечатление, как кассир его министерства или излеровский маркер. У одной знаменитости был нос толстый. У другой бородавка на щеке. Иван Васильевич побежал на лекции, но тут заметил он с прискорбием, что в нем нет тех первоначальных сведений, без которых все последующие не имеют опоры. К тому же он плохо знал по-немецки, и хотя и толковал о Гегеле и Шеллинге, но не понимал их вовсе и убедился, бедный, что ему или начинать с гимназии, или век простоять перед кафедрой, как оглашенный у двери храма. В Германии объяснилась ему тайна воспитания. Он видел, как здесь каждый человек, от мужика до принца, вращается в своем кругу терпеливо и систематически, не заносясь слишком высоко, не падая слишком низко. Он видел, как каждый человек выбирает себе в жизни дорогу и идет себе постоянно по этой дороге, не заглядываясь на стороны, не теряя ни разу из вида своей цели. О, как проклял он тогда своего француза-наставника, который именно цели-то и не дал его бытию! Он чувствовал, что в духовной жизни его не было связи, что он был не что иное, как от всего отчужденный ребенок, который для пустой игрушки вдруг переходит от равнодушия к восторгу, от восторга к отчаянию. Ему показалось, что он отвержен мыслящей и действующей семьей человечества, что вечно суждено ему блуждать одному, забытому, осмеянному в туманном непроницаемом мраке. Чтоб утешиться хоть немного, начал он колко смеяться над немцами, над скучной и порядливой их жизнью, над вечными вязаньями их жен, над их пивом, клубами и обществами стрелков. Но недолго, впрочем, жил он с немцами и отправился в Париж. Париж тем хорош, что рассеет какую угодно хандру. Иван Васильевич вполне увлекся этой вечно бегущей толпой, которая постоянно спешит за чем-то и куда-то, никогда ничего не достигая. Он видел перед собой собственную историю в огромном размере: вечный шум, вечную борьбу, вечное движение, звонкие речи, громкие возгласы, безмерное хвастовство, желание высказаться и стать пе-

ред другими, а на дне этой кипящей жизни — тяжелую скуку и холодный эгоизм.

Долго шатался Иван Васильевич по всем представлениям парижских игрищ, начиная с обеих камер. Однако он не полюбил Парижа. Он был еще слишком молод. Вопреки судьбе, душа его просила чего-нибудь повыше, поотраднее, и поездка в Италию осталась, может быть, самой светлой точкой, самым лучшим воспоминанием его жизни. Тогда развилось в нем дотеле неизвестное ему чувство изящного. И не одна поэтическая чувственность искусства, как очаровательная красавица, обнаружила перед ним свои красоты. В Италии искусство имеет какую-то чудную, духовную сторону, которую нельзя выразить, но которая проникает все бытие. В Италии, в одной Италии можно стоять целые часы перед зданием, перед изваянием, перед картиной. Душа оживляется безжизненным предметом и как будто рождается с ним, как будто входит с ним в какое-то таинственное духовное сношение. Только в Риме Иван Васильевич был совершенно спокоен духом. Ему бы совестно было и подумать о такой ничтожной пылинке, как и он сам, перед колоссальным памятником, воздвигнутым гениями искусства над трупом человеческого честолюбия. В первое время Иван Васильевич даже на улицах говорил вполголоса, как бы перед покойником. Да и кто может хладнокровно глядеть на Аполлона, на Колизей или на площадь св. Петра? Кто может не задумавшись взглянуть на странную связь язычества с христианством, веры с искусством? В Италии каждая церковь — роскошная галерея, и лучшие произведения гениальных художников смиренно теснятся у алтарей.

Чудная, незабвенная Италия! Пускай говорят, что ты упала, что ты погибла, что ты схоронена, — не верь коварным словам: ты все еще живешь прежней жизнью, дышишь прежним огнем. Ты все-таки царица мира, и народы стекаются к тебе на поклон. И столько у тебя сокровищ! Природа и люди, порожденные под твоим небом, одарили тебя так щедро, что ты одной своей милостиной обогатила всю Европу. Процветай же, Италия, не так уже, как резвая, полная молодости красавица, но как пышная вдовица, которая вблизи видела и суетность жизни и смерть и с горькой улыбкой смотрит на людей, не требуя ничего от настоящего, а свято углубляясь в одном постоянном воспоминании минувшего благополучия.

Между тем Иван Васильевич замечал, что, куда бы он ни показывался, в какую землю бы он ни приезжал, — на него смотрят с каким-то недобробжелательным завистливым вниманием. Сперва приписывал он это личным своим достоинствам, но потом догадался, что Россия занимает невольно все умы и что на него так странно смотрят единственно потому, что он русский. Иногда за табльдотом делали ему самые ребяческие вопросы: скоро ли Россия завладеет всем светом? правда ли, что в будущем году Цареград назначен русской столицей? Все газеты, которые попадались ему в руки, были наполнены соображениями о русской политике. В Германии панславизм занимал все умы. Каждый день выходили из печати глупейшие насчет России брошюры и книги, написанные с какой-то лакейской досадой и ровно ничего не доказывающие, кроме бездарности писателей и опасений Европы. Мало-помалу заграничная жизнь заставила Ивана Васильевича невольно задуматься о своей родине. Думая о ней, он начал ею гордиться, а потом начал ее и любить. Словом, то, что на родине не было внушено ему при воспитании, мало-помалу вкралось в его душу на чужбине. Он начал припоминать все виденное и не замеченное им в деревне, в поездках по губерниям, во время откомандировок по службе. Он хотя и чувствовал, что все эти данные не составляют общего мнения, общего целого, но некоторые черты удержал он довольно верно, а остальные дополнил своим воображением. Так составил он себе особые понятия о чиновниках, о русской торговле, о нашем образовании, о нашей словесности. Тогда решился он изучить свою родину основательно, и так как он принимался за все с восторгом, то и отчизнолюбие в нем загорелось бурным пламенем. К тому же он радовался, что осмыслил свое бытие, что нашел себе наконец цель в жизни, цель благородную, цель прекрасную, обещающую ему привлекательное занятие, полезные наблюдения. С такими чувствами возвратился он из-за границы.

Читателю уже известно, как он встретился с Василием Ивановичем на Тверском бульваре, как он уложился с ним вместе в тарантас, как вооружился книгой для своих путевых впечатлений и очинил перо.

Но что будет из этого? Что напишет он? Что откроет? Что скажет нам?

Кажется — ничего. И тут, как во все прочие случаи жизни, Иван Васильевич не выдержит характера. Спер-

ва он погорячится, а потом обессилит при первом препятствии. Не приученный к упорному труду, он встретит невозможность там, где только затруднение,— и благие его начинания останутся вечно без конца.

И не он один; много у нас молодых людей, которые страдают одинакой с ним болезнью. Много у нас молодых людей, которые изнывают под бременем своей немощи и чувствуют, что жизнь их навек испорчена от порочного, недостаточного, половинного образования. Правда, они тешат свое самолюбие личиной поддельного разочарования, жизненной усталости, обманутых надежд. А в самом деле они только ничтожны, и ничтожны вполнину, а потому не могут не чувствовать своего ничтожества. И в них таится, может быть, склонность к деятельности, любовь к прекрасному и к истине, но они не приобрели силу осуществить внутреннего своего стремления. В них есть чувство, но нет воли. В них страсть кипит, но разум вечно недоволен. Многие для рассеяния погружаются в омут бурных наслаждений, иные делаются распутными, другие картежниками, третьи жертвуют жизнью своею для вздора, некоторые воображают, что они вольнодумцы, либералы, потихоньку бранят правительство, проклинают обстоятельства, будто бы им враждебные. Но и с другими обстоятельствами они были бы те же, потому что зло в самом основании, в самом корне их тщедушного прозябания. Жалкое поколение! Бедная молодость! Плод, испорченный еще во цвете! Но так суждено свыше. В каждом усовершенствовании, в каждом преобразовании должны быть жертвы. А они попали среди борьбы прошедшего с настоящим, мрака со светом. Они исчезнут без следа, без сожаления о непонятых страданиях, но их страдания должны служить примером. На мрачном небосклоне старинного невежества давно мелькнула уже лучезарная точка, и с каждым днем растет она и все становится ярче и ярче. Будут люди, которые обожгутся незнакомым им огнем; другие, ослепленные сиянием, останутся в недоумении между светом и тьмой или попадут на ошибочную дорогу. Но светильник все приближается ближе и ближе, и настанет день, когда мрак исчезнет совершенно и вся земля озарится благодетельным светом...

Между тем Иван Васильевич был в совершенном отчаянии. Впечатлений решительно нигде не оказывалось. Одни бока его были под влиянием сильного впечатления. Напрасно поглядывал он старательно из тарантаса на обе стороны — все сливалось для него в какую-то мутную, однообразную картину. Впрочем, его винить слишком нельзя. Вообще предметы определяются в уме вовсе не так, как в действительности, а как-то выпуклее, ярче, живописнее. К тому же есть такие люди, которые долго будут любоваться какой-нибудь литографией и никогда не заметят в природе того, что она изображает. Мужик, масляными красками, например, или просто нарисованный пером, заставит их долго стоять перед собой и даже принесет им немалое удовольствие, но мужик настоящий, нечесаный и невымытый, в лаптях и тулупе, никогда не остановит их внимания, потому что таких мужиков так много, что их вовсе и не замечаешь.

Как бы то ни было, Иван Васильевич был в самом печальном расположении духа. Нетронутая книга путевых впечатлений валялась под ногами около погребца. Изучение России в отношении ее древности и народности решительно не подвигалось. Дело, кажется, стало не за многим. Иван Васильевич догадывался, что одного хорошего намерения для совершения великого подвига было недостаточно. По России не развешаны вывески, по которым можно было прочесть всю жизнь ее, все, что было, что есть и что будет. Одной поездки в Мордасы для подобного изучения как-то мало. Нужно еще кое-что другое. Нужны еще вечная настойчивость, вечный терпеливый труд с самого младенчества, в течение целой жизни. А этого, кажется, немало. Надо было вникать в самую глубину всякого предмета, потому что из гладкой наружной поверхности ничего не извлекалось. Надо было отыскать, как ключа загадки, тайного, иногда высокого смысла всякого прозаического проявления, попадавшегося на каждом шагу. Но, как известно, Иван Васильевич был человек слабого свойства. По мере того как он встречал затруднения, он не старался их одолевать, а изменял свои предприятия. Таким образом, мало-помалу отказывался он, как мы видели, от прекрасных изучений, от важных открытий, к которым для блага человечества готовился с таким жаром. Однако хотя он и потерял

во многом надежду, но все еще надеялся вникнуть в душу русского человека. «В самом деле, — думал он, — мы суедемся и хлопочем о России, а именно того-то мы и не знаем: что такое русский человек, настоящий русский человек, без примеси иноплеменного влияния? Какою живет он духовной жизнью? Чего ждет он? Чего желает? К чему стремится? Чистое природное начало до того заглушено в нас настоящим нашим бытом, что мы не можем отделить основных понятий от накопившихся. Определить это начало, отыскать эти родные понятия — вот будет славное дело! Мы много говорим о народности, но что такое народность? В чем заключается она, где составные ее части? Вот тебе, Иван Васильевич, работа. Отыщи, определи, наставь. Россия скажет тебе спасибо...»

И как бы нарочно, тарантас въехал в большое, прекрасное селение, а Василий Иванович объявил, что он до того устал, лежа в тарантасе, что имеет намерение отдохнуть у зрителя и полежать маленько на лжанке.

Длинное, бесконечное селение красовалось в самом торжественном для него виде. Перед высокими, украшенными резьбой избами сидели на лавках мужики и бабы, щелкая орехи. Праздничные наряды пестрели издали яркими цветами. У моста, пересекающего главный порядок надвое, небольшой домик гражданской архитектуры означал торчащую над дверью елкой многим милый кабачок. Вправо целая гурьба молодых в красных и синих сарафанах, с снежно-белыми рукавами, смотрели, как две босые девчонки скакали на доске. Около них два парня в красных рубашках, в откинутых нараспашку армяках, казалось, не обращали внимания на выразительные насмешки стоящих недалеко товарищей. Некоторые из сих последних насвистывали сквозь зубы песенку. Другие, став около колодца в кружок, усердно побрякивали тяжелой свайкой в железное кольцо. Посреди улицы толпа ребятишек окружала небольшую запряженную клячу телегу, у которой веселый разносчик предлагал, с примесью поговорок и прибауток, пряники, стручки, крендели и всякий товар. За мостом серебряный шпиль и зеленый купол церкви высоко возвышались над избами, резко отделяясь на сером грунте пасмурного неба.

— Эва! — сказал Василий Иванович зрителю. — Что это у вас? Храмовый праздник?

— Так точно, — отвечал зритель.

— С праздником, батюшка,— продолжал Василий Иванович.

— Покорнейше благодарим.

— А что бы, мой отец, нельзя ли самоварчик поставить?

— Самовар готов-с, сударь. Нас удостоили гости по соседству посещением. Кума даже из города с зятем приехала... К празднику, изволите видеть, пожаловали. Ну, известное дело,— как не угостить дорогих гостей? Никак пятый самовар ставим.

— Доброе дело, доброе дело! — заметил Василий Иванович, после чего выпил с чувством три стакана чаю, ощутил приятную теплоту и не с малым трудом вскарабкался на лежанку, по которой Сенька заблаговременно раскинул несколько подушек. Через несколько минут Василий Иванович объявил присутствующим, что уже изволит почивать, а Иван Васильевич отправился на село немного пошататься, да, кстати, поискать и народности.

Все население было на ногах, толпясь живописными кучками около строений. У кабака две православные бородки целовались с сердечными излияниями и с такими неистовыми клятвами во взаимной дружбе, что страшно было слушать. Рыжий мужичок, с штофом в одной руке и с светло-зеленым стаканчиком в другой, угощал, шатаясь, товарищей, неотвязчиво преследуя их своими предложеньями, оскорбляясь отказами, кланяясь в пояс и не думая вовсе, что за один раз пропивает плоды годового труда.

Крикливая раскрасневшаяся баба толкала одуревшего мужа к дому, проливая горькие слезы, ругая его пьяницей, упрекая его в том, что он пускает по миру ее, горемычную, и детей-сирот, а между тем была также совершенно пьяна.

Иван Васильевич поспешно отвернулся от этой гнусной для деликатного человека картины и побрел себе к молодежи, полюбоваться красотой наших северных женщин. Надо заметить, что при этом он поправил немного беспорядок своего костюма, оттянул книзу пальто, застегнулся и приосанился... Следуя тайной слабости неизлечимого светского тщеславия, Иван Васильевич, хотя без особого в том сознания, был уверен, что неожиданное его появление в пестрой молодой толпе сделает сильный эффект.

Однако он ошибся.

Здоровая, румяная девка указала на него довольно нахально, обращаясь к подругам:

— Вишь какой облизанный немец идет!

Молодицы засмеялись, а парень в красной рубашке вmeshался в разговор:

— Эка зубастая Матреха! Смотри, рыло разобью!

Матреха улыбулась:

— Вишь, больно напужал... Озорник этакой. Я и сама так тресну, что сдачи не попросишь.

Иван Васильевич не почел нужным вслушиваться в дальнейший разговор и, немного обиженный презрительным названием немца, снова принялся за странствование. Сперва перешел он через мост, потом очутился на небольшой заросшей травой площадке, обогнул небольшой пруд, у которого ворчали утки с утятами, и наконец очутился близ церкви. Тут он успокоился духом и мысли его приняли другое направление. Около церкви вышлась каменная ограда, за которой в густой траве наклонялось несколько крашенных темно-красных деревянных крестов. При виде этих простых ознаменований мелькнувшей простой жизни душа смиряется в каком-то благоговейном молчании. И точно: сельские кладбища производят совершенно другое впечатление, чем городские. При виде последних невольно рождается какое-то тяжелое, мучительное чувство; при виде первых на сердце становится безмятежно и ясно. Чем более жизнь приближается к природе, тем менее смерть кажется ужасною; напротив, она является мирным преобразованием, за многое вознаграждающим, а не безотрадным лишением, не сокрушительным разрывом со всеми надеждами, со всеми заботами, с целым бытием человека.

У церковной ограды пробирался пономарь с узелком в руке, а издали шел священник в длинной шелковой рясе, в широкой шляпе, с высокой тростью в руке. По мере того как он приближался, крестьяне вставали, снимали шапки и почтительно кланялись своему пастырю. Иные целовали у него руку, другие подводили детей к благословению. Один только бледный, изнуренный мужик с черной бородкой и впалыми глазами не снял шапки и грубо отвернулся.

Это Ивану Васильевичу показалось странным. Он остановился перед дюжим хозяином, нянчившим на руках у ворот своих годового ребенка.

— Скажи-ка, брат, отчего вот этот черный не снимает шапки перед священником?

Мужик прикрыл сперва ребенка тулупом, а потом отвечал довольно небрежно:

— По старой вере.

Новая мысль блеснула молнией в голове Ивана Васильевича.

«Вот впечатление! Вот задача! — подумал он. — Определить влияние ересей на наш народ, отыскать их начало, развитие и цель».

— Много у вас раскольников? — спросил он поспешно.

— Чего?..

— Много ли у вас раскольников?

— Раскольников... Нет, немного...

— А сколько их будет?

— Сколько... Кто их там знает, сколько их будет.

— А скажи-ка, брат, в чем состоит их ученье?

— Чего?..

— В чем состоят их обряды?

— Обряды? Да по старым книгам.

— Да чем же они отличаются от вас?

— Чего?..

— Чем они от вас отличаются?

— Отличаются... Да никак по старой вере.

— Знаю; да ведь у них есть свое служение, свои скиты, свои священники?

— Известно — по старой вере.

— Какой они секты?

— Чего?..

— Какой они ереси?

— Чего?..

— Что они: беспоповщины, духоборцы?

— Духоборцы... Нет, кажись, не духоборцы, а так, в церковь только не ходят... По старой вере, должно быть.

— Однако любопытно было бы знать, — продолжал, рассуждая вслух, Иван Васильевич, — исповедание их различествует с нашим в одной форме или в сущности? Отпадение их от нас гражданское или церковное?

— По старой вере, — заключил мужик, после чего хладнокровно повернулся к Ивану Васильевичу спиной и исчез с сыном в калитке.

Иван Васильевич пошел задумчиво далее.

Хотя крестьянские объяснения относительно раскольников были несколько неясны и даже неудовлетворительны, однако все-таки было о чем призадуматься.

Иван Васильевич шел и думал... Вдруг громкий хохот прервал его размышления посреди самого занимательно-го их развития. Озадаченный неожиданным шумом, Иван Васильевич поднял голову, потерял нить глубоких идей и невольно остановился. У ворот постоялого двора целая толпа народа окружила какого-то рассказчика в коротком некрытом полушубке, в военной фуражке, без бороды, но с большими седыми усами, доходящими по бакенбардам до ушей. На полушубке с левого бока висели две медали на полинялых лентах, но и по одной твердой осанке, по одним решительным движениям рассказчика не трудно было узнать в нем старого отставного солдата.

— Экий служивый! — говорил кто-то в толпе. — Ай да служба! Прости господи! Везде побывал, всего на-смотрелся.

— Да! — подхватил рассказчик, немного, как казалось, подгулявший на веселом храмовом празднике. — Не вашему брату чета. Не сидел с бабами век за печью. И молотил горох, да покрупнее вашего. Слава богу, и хранцуза видел и под турку ходил.

— Ой ли! И под турку ходил?

— Ходил. Ей-богу, ходил. В двадцать восьмом году ходил. Да еще как задали нехристу на калачи, так просто ой-ой-ой!..

— Да отчего же, дядя, война-то у нас была с туркой?

— Отчего? Известное дело отчего! Турецкий салтан, это, по их немецкому языку, вишь, государь такой, значит, прислал к нашему царю грамоту. Я хочу-де, чтоб ты посторонился, а то места не даешь. Да изволь-ка еще окрестить всех твоих православных в нашу языческую поганую веру.

— Ах он, безбожник! — воскликнул в толпе старичок.

— Вестимо, что безбожник — да еще какой: без всякой субординации. Прислал посла такого азартного: к вашему, мол, императорскому величеству от турецкого салтана прислан — да и только. Да еще рассказывали ребята, что принес-то он с собой горсть маку. «А сколько, говорит, зерен, столько у нас полков, так не прикажете ли, чтоб было по-нашему?»

— Ну, а что же наш царь? — спросил в толпе рослый парень.

— Да наш царь, слава богу, себе на уме. Послал в ответ горсть зернистого перцу. Маленько хоть поменьше и будет, да попробуй-ка раскусить.

Мужики весело рассмеялись.

— Вот эндак-то ладно, ей-богу, лихо... Что ж, небось присмирел татарин?

— Какой черт присмирел! Попутала его нелегкая. Видно, что в башке-то амуниция не в порядке. Не принял дело рассудком. Вишь, бестолковый какой: ему говорят, кажется, по-русски, а он еще ломается! Да где ему с своим поджарым народом идти, так сказать, на какой-нибудь гренадерский батальон! Нам-то, правда, вволю и потешиться не пришлось. Налетит, бывало, какой-нибудь побойчее, вот и думаешь — дай-ка для смеха с ним поиграть маленько, да и щелкнешь в него пальцем — ах, смотришь, он, собака-то, уж и лежит.

— Чай, ведь они далеко отсюда? — спросил кто-то.

— Да подальше твоего огорода. Шли-то мы, шли, никак три месяца... перевалам-то и счет потеряли. Да и земли такие, правда, дрянные проходили — ни на что не похоже. Все горы да горы. Такая жалость, право. Знать, не любит их бог за поганую веру; то есть, как бы сказать, нет даже местечка, чтоб выровняться полку как следует. Бедовая сторона! И достать-то нечего. Ей-богу, лавки простой нет. Говорили господа, что климат-де какой-то хорош. А какой черт хорош! Иголка четыре копейки.

— Куда же вы дошли? — спросил старичок.

— Да черт их там знает, какие они заламывают там прозвища! Пришли мы на Кавказе в какую-то, нелегкая их там знает, Аварию. Помнится мне, в четырнадцатом году, как на Париж шли, так тоже эту Аварию проходили. Вишь, каким клином ее вытянуло. Ну, а из Аварии так и в самую туретчину пришли. Я еще был в хлебопеках.

— Чай, всего натерпелся? — снова спросил старичок. — И вздремнуть-то на полатах не частенько приходилось?

— Какие тут, борода, полати. Ночлег-то под чистым небом. Придешь на место, командир scomандует на покой, ну и располагайся как знаешь. Лег на брюхо, спиной прикрылся, да и спи себе до барабана. Да эвто бы ничего — солдат здоровый человек, а то квасу достать негде — энтакой поганый народ!

Сказав эти слова, старый служивый плюнул и махнул рукой. Несколько времени все присутствующие, исполненные негодования, стояли молча. Наконец высокий парень снова вступил в любознательные расспросы:

— А скажи-ка, дядя, как же тебя рапили?

— Эва, невидальщина какая! Плевое, ей-богу, плевое дело. Знать, и поранить-то порядком не сумели. Все-го-то немного колено зашибло.

— Да как же это было?

— Как было? Да вот как было: под крепостью, что ли?.. и мудреное такое название, что сразу и не выговоришь. Мы стояли, примером сказать, верстах в десяти. Вдруг слышим — палат. Эва! никак город-то хотят брать штурмом. Забили тревогу. Командир говорит: «Ребята, тут не след дремать, а своих выручать да себя показать». Бежали никак верст восемь или девять без оглядки. Запыхались ребята. Шутка ли? Подбежали вплотную к городу. Ну, разумеется, дали отдохнуть маленько. Поднесли по чарке. Помнится, рассмешил еще меня тут Тарасенков седой — старый хрыч, еще при Суворове служил, а после и в барбоны попал. «Эх,— говорит,— досадно... а я только что разбежался». Уморил, старый дьявол!.. Как перевели дух, генерал спрашивает: «Что, ребята, можно взять эту крепость?» А крепость-то торчит этаким чертом, хоть тресни, подступить негде... «Нет, ваше превосходительство, больно сильна, не одолеешь». — «Ну, а как прикажут?» — «Ну, прикажут, так поневоле возьмешь». — «Ну, так господи благослови! Полежайте, ребята... Да повеселее. Песенники вперед, марш!» А с крепости-то палат из пушек, из ружей во что попало, треск такой, что ахти мне!.. Да нет, брат, врешь. Не слышал, что ли, команды? Примем-ка дружнее. Ура, ребята! Да и только! Не помню, как влезли, а вот-таки влезли, и пушки отняли, и знамена забрали, и крепость взяли. Многих, правда, недосчитались. Ну, да царствие им небесное; хорошей покончили смертью. Около вечерень, что ли, фельдфебель мне говорит: «Что, брат, не худо бы тебе к Карлу Иванычу доктору сходить: никак тебя порядком оцарапало». Ба, да и в самом деле. А я и не заметил вовсе. Что ж, нечего делать: отвели в лазарет... Да плевое дело, и костыля не надо. А только та беда, что маршировать несподручно... Ну да уж, видно, отслужил свой век. Пора и с мужичками покалякать... Эва! небось в самом деле закалякался... Счастливо оставаться, господа... Я к сотскому зван на пиво.

Тут старый служака опустил руки по швам и, повернувшись по старой привычке налево кругом, согласно правилам дисциплины, отправился себе, немного прихрамывая, вдоль главного порядка в сопровождении то от-

ставших, то забегавших перед ним мальчишек. Плотная толпа, слушателей начала медленно расходиться, потряхивая головами и меняясь задумчивыми восклицаниями:

— Эка, старый пес!.. Вишь ты каков! Ай да служба... Не даром хлеб ел... Эва... эвакий, право...

Иван Васильевич пустился снова в путь.

Кое-где раздавались песни полупечальные, полувеселые, выражающие то широкое чувство, то тонкую, ядовитую насмешку. Кое-где мальчишки швыряли ему под ноги бабки и потом, остановившись перед ним, долго смотрели на него с удивлением. Дряхлые, согнутые старики с серебристыми бородами шли осторожно около строений, поддерживаемые почтительными внуками; молодые парни снимали перед ними шапки. Молодые женщины заботливо усаживали их на скамейки. У сотского шел решительно пир горой. Не только изба, но и сени, и даже двор были наполнены гостями. Пироги, лепешки, сушеные рыбы и разное мясо, в числе которого поросенок играл не последнюю роль, устлали роскошно кучей наскоро сколоченные столы. Огромные ведра, наполненные брагой и пивом, манили охотников хмельным, искусственным запахом. Несколько пьяных собеседников были уже уложены на полатах. Хозяйка то и дело что кланялась дорогим гостям, прося не побрезгать скромным угощением, чем бог послал. Хозяин то и дело наполнял ковши и понукал хозяйку больше кланяться и старательнее угощать. Оба готовы были отдать для праздника не только сбереженное ими, но и то, что они могли получить в будущем времени, только чтоб гости были довольны, только чтоб разгулялись почтенные, да сказали бы потом: «Ай да сотский!»

Иван Васильевич шел в грустном недоумении. «Странный народ,— рассуждал он,— непостижимый народ! В нем столько противоречий, столько оттенков, что его в целую жизнь не разгадаешь. И к тому же народ не есть народность. Отдельные касты сами по себе не составляют общего духа, общего требования. Для этого нужно общее слияние в одном чувстве. Нет сомнения, что и у нас все народные сословия тайно братствуют между собою, но во внешней жизни это братство так редко проявляется у нас, что иногда думаешь: точно ли существует оно в самом деле. Где же искать народности?»

В эту минуту лихая тройка стрелой пронеслась мимо Ивана Васильевича. Ямщик, весело помахивая кнутом,

кричал «пади!», стоя на облучке и подмигивая улыбающимся ему из окон красавицам. В телеге сидел какой-то старенький господин в серой шинели с красным воротником и форменной фуражке. Иван Васильевич поднял голову. «Заседатель!— сказал он невольно.— Чиновник!» Но заседатель был уж далеко. Телега промчалась. Один колокольчик долго заливался вдали звонкою трелью, то утихал, то становился звонче и долго отдавался в сердце Ивана Васильевича каким-то странным звонким чувством грустной удачи, заунывной отваги.

Иван Васильевич возвратился на станционный двор с самым неожиданным и диким заключением.

— О чиновники!— сказал он, вздохнув и обращаясь к себе самому.— О чиновники! Уж не вы ли, по привычке к воровству, украли у нас народность?

ХVIII

чиновники

На другой день утром тарантас подъехал к бедной избушке станционного смотрителя.

Василий Иванович тяжело ухнул и начал выкарабкиваться с помощью Сеньки.

— А что бы чайку,— сказал он,— чайку бы выпить. Согреться маленько — а?..

Сметливый Сенька бросился к погребцу. Иван Васильевич выпрыгнул в то же время из тарантаса и хотел вбежать в избу, как вдруг он с внезапным ужасом отскочил на три шага назад. Навстречу к нему подходил *чиновник* — чиновник, как следует быть чиновнику, во всей форме, во всем жалком своем величии, в старой треугольной шляпе, в старом изношенном мундире с золотым кантиком по черному бархатному воротнику, с огромной бумагой, торчащей между пуговицами мундира. Он медленно переступал от старости и какой-то привычной робости. Маленькое его личико съезживалось в маленькие морщины. Он кланялся и, как казалось, не удивлялся неблагоприятному испугу Ивана Васильевича, а все подходил к нему ближе и ближе и наконец смиренным стареньким голоском вымолвил несколько слов:

— Прошу извинения-с. Покорнейше прошу-с не взыскать... Смею спросить... не известно ли вам, не изволили ли знать... скоро ли их превосходительство намерены сюда пожаловать?

— Не знаю,— грубо отвечал Иван Васильевич и отвернулся с досадой.

— Как?— воскликнул Василий Иванович.— Его превосходительство господин губернатор изволит объезжать губернию?

— Так точно-с. На той неделе получено предписание.

— А вы исправник?— спросил Василий Иванович.

— Никак нет-с...— Чиновник обратился к Василию Ивановичу и поклонился ему почтительно.— Исправляющий-с должность.

— Здесь граница уезда?..

— Так точно.

Василий Иванович как коренной русский человек очень любил новые знакомства — не для того, впрочем, чтоб извлекать из их беседы какую-нибудь пользу, а так, чтоб только поболтать о всяком вздоре да посмотреть на нового человека.

— Не угодно ли откушать с нами чайку?— сказал он приветливо, не обращая внимания на кислую физиономию своего спутника.

Чиновник еще раз поклонился Василию Ивановичу, потом поклонился Ивану Васильевичу, дал дорогу Сеньке, который тащил погребец, и поплелся, покашливая как можно тише, за своими новыми знакомыми.

В комнатке смотрителя было довольно темно; старая ситцевая занавесь обозначала в углу кровать, на которой от времени до времени слышался тихий шорох. Проезжающие, не обратив на то внимания, уселись под образом на лавке, придвинув к себе продолговатый стол. Вскоре погребец разразился стаканами и блюдечками. Самовар закипел, стаканы наполнились, разговор начался.

— Вы давно служите по выборам?— спросил Василий Иванович.

— С восемьсот четвертого года,— отвечал старичок.

— А почему вы служите по выборам?— лукаво спросил Иван Васильевич.

— Что делать, батюшка! Бедность!

Иван Васильевич значительно улыбнулся. «Взяточник! — подумал он.— Так и есть!» Старичок понял его мысль, но не оскорбился.

— Теперь, батюшка,— сказал он,— не те времена, когда на этих местах наживались. Бывало, кого сделают исправником, так уж и говорят, что он деревню душ в триста получил. Начальство теперь строгое, смотрит

за нашим братом. О-ох, ох-ох! Что год, то пять-шесть человек в уголовную. Да потом, — продолжал шепотом старичок, — народ-то, батюшка, уж не таков. Редко-редко коль в праздник фунтик чая или полголовцы сахара принесут на поклон. Сами, батюшка, знаете, с этим не разживешься, не уйдешь далеко.

— Зачем же вы служите? — спросил Иван Васильевич.

— Бедность, батюшка, дети: восемь человек, всего одиннадцать душ — прокормить надо; со мной две сестры живут да брат слепой. Ну, все думаешь, как бы для детей сделать получше. Авось в кадетский корпус или в институт попадут по милости начальства. Ну, слава богу и батюшке царю, жалованье теперь нам дают не то, что прежде, прокормиться можно.

— А выгоды есть? — спросил Василий Иванович.

— Какие, батюшка, выгоды! Есть, таить нечего, да много ли их? То куль овса, то муки немножко пришлет какой-нибудь помещик, и то по знакомству. Времена-то, батюшка, теперь другие.

— А хлопот, чай, не оберешься? — спросил Василий Иванович.

— Ну уж, батюшка, что и говорить! Пообедать некогда. Вот теперь, извольте видеть, я должен здесь дожидаться губернатора, а пока в уезде три мертвых тела не похоронены, да шестнадцать следствий не окончено, да недоимок-то одних описей-то, взысканий-то, я вам скажу, чертова гибель! Что день, то подтверждения от губернского правления, да выговоры, да угрозы наказания, а нарочные так и разъезжают на наш счет... Тяжело, батюшка! Того и глядишь только, как бы спастись от суда. А канцелярия-то, вы сами, батюшка, знаете, какова: всего-то один писарь Митрофанушка при мне. Да еще из своего жалованья плати ему сотни две да давай платя всякого да сапоги вырезные. Пьет, мошенник, шибко, зато собака писать. Придет несчастный час, подвернет спяну какую-нибудь бумажку, подпишешь — ан выйдет не то, ну и пропал!

— Да у вас должно быть поместье? — спросил Иван Васильевич.

— Батюшка, какое поместье! Нас четыре человека владельцев, а у всех-то у нас семнадцать душ по последней ревизии. На мою долю приходится три семейства, и то все почти женщины да старики. И тут благодати нет! Парень был один хороший — руку вывихнул; а женщины

такие маленькие, худенькие, что ни в поле работать, ни полотно ткать, ничего не умеют.

— Да, — заметил Василий Иванович, — это уж точно несчастье. Плохая работница много барыша не даст.

— Все бы ничего, — продолжал бедный чиновник, — да вот беда. Года мои подошли такие, что слаб становлюсь что-то здоровьем. Иной раз сидишь себе за бумагами, как вдруг в глазах потемнеет, так потемнеет, что ни писаного, ни бумаги... черт знает что такое — ничего не разберешь. Божье наказание — что ты стаёшь тут делать? а главное то, что для разъездов... вот как, например, скакать теперь перед его превосходительством — уж не гожуся вовсе. Всего так и ломит, а делать нечего: скажи себе на тройке да заготовляй лошадей.

Ивану Васильевичу стало невольно грустно; он встал с своего места и подошел к темному углу. За занавеской послышался вздох. Иван Васильевич поспешно ее отдернул. На кровати сидел смотритель, спустив ноги на пол. Иван Васильевич хотя и был человек европейский, проповедник всеобщего равенства, но не менее того напел весьма оскорбительным и неучтивым, что простой смотритель осмеливался перед ним не вставать. Он хотел уже сделать самое антиевропейское замечание, но внимательный взгляд на смотрителя остановил порыв дворянского негодования: на бледном и впалом лице смотрителя виден был отпечаток тяжких страданий, а во всем его существе выражалась какая-то страшная безжизненность.

— Вы нездоровы? — спросил Иван Васильевич.

— Нездоров, — отвечал слабый голос. — Второй год обе руки, обе ноги отнялись.

На перине, на которой сидел окостеневший смотритель, лежало трое детей... Старший мальчик глядел на отца с видом участия и сожаления, другие валялись в пуху и жалобно просили хлеба или закутывались в лохмотья оборванного одеяла.

— Зачем же у вас так холодно? — спросил с заботливостью Иван Васильевич. — Для больного человека это вредно.

— Что же делать, батюшка? Дров не дают, здесь станция вольная, содержатель — помещик, не приказывает давать хороших дров... его воля. Извольте в печке поглядеть: все хворост да прутья сырые; дым только от них, не загораются, хоть тресни. Посылал наемник к нему, нельзя ли дать дров — куда! — раскричался. «Выгоню, — говорит, — его: здесь тракт большой, боль-

ного не надо, куда угодно ступай!» А вы видите сами, куда я пойду? Вот, — продолжал смотритель с улыбкою зависти, — на той станции хорошо: помещик добрый, дрова трехполенные; очень там жить хорошо. А меня — так бы и выгнали; слава богу, начальство заступилось: позволило сынишке моему, вот что рядом, исправлять мою должность. Одиннадцать лет всего, а уж пяшет... — Бедный страдалец взглянул с невыразимым чувством нежности на белокурого мальчика, лежавшего в тулупе подле него. — Ну, Ваня, вставай, прописывай... Дай мне подорожную.

Ваня развернул перед глазами отца своего подорожную, потом придвинул к кровати стол, вооружился пером и с почтением ожидал, что отец прикажет ему писать.

— Ну, готов, Ваня? Прописывай: «От Москвы до Казани...» дай бог благополучия начальству, не выгнано, вступилось... «пō подорожной московского гражданского губернатора...» и проезжающим спасибо, никто не жаловался, слава богу, я всегда старался... «второго октября...» написал, что ли?.. делать им угодное... «№ 7273»... всякие учтивости. Слава богу, и участие принимают... «Казанскому помещику...» Проезжал доктор намедни, добрый такой; советовал в город ехать лечиться. Где мне! С чем ехать? Денег где взять? В чем ехать? Пошевелиться не могу. Буду так лечиться как-нибудь, простыми средствами, а всего лучше богу молиться.

«Странное дело! — подумал, задумавшись, Иван Васильевич. — Когда я входил в эту комнату, мне хотелось сердиться и презирать или по крайней мере насмеяться вдоволь; а теперь, сказать правду, едва ли не плакать хочется».

Он взглянул на своих собеседников. Усердно допивали они по четвертому стакану чая...

ХІХ

восток

— Казань... Татары... Восток! — радостно воскликнул, просыпаясь, Иван Васильевич. — Казань... Иоанн Грозный... бирюза, мыло, халаты... Казанское царство... Преддверие Азии... Наконец я в Казани... Кто бы подумал, а вот-таки и доехали. Доехали до Востока... хоть не совсем до Востока, а все-таки по соседству... Ну, и деревни уже другие пошли по дорогам, с мечетями, с избами без окон, с женщинами, которые прячутся от нашего тарантаса, закрывшись грязными полотенцами...

На пути уже редко попадаетея православная бородка... Теперь стало поживописнее. Идет маленький бритый татарин какой-нибудь в чибитейке, или глупый, чуваш, или разряженная мордовка. Все уж получше. Берись за перо, Иван Васильевич, берись скорее! Дожидайся вдохновения, а покамест пиши... Пиши свои заметки... Начинай свои впечатления.

«Идет татарин, идет чуваш, идет мордовка...» Ну, и что еще?..

«Видел татарина, видел чуваша, видел мордовку». Ну, а там что?..

— Вот что!— с восторгом воскликнул Иван Васильевич.— Вот что!.. Надо заделать прореху в нашей истории. Надо написать краткую, но выразительную летопись Восточной России... окинуть орлиным взором деяния и быт кочующих народов. Было здесь мордовское царство, которое распалось надвое и угрожало Нижнему поработением под предводительством вождя своего Пургаса. Было болгарское царство с семью городами, с огромной торговлей. Было здесь множество народов, которые пришли неизвестно откуда, откочевали неизвестно куда и исчезли, не оставив ни следа, ни памятника... Что бы!..

Тут жар Ивана Васильевича немного простыл.

«А источники где?— подумал он.— Источники найдутся где-нибудь. А как найдутся?»

Нет, Иван Васильевич, это труд уж, кажется, не по тебе. Тебе бы к цели поскорей. И в самом деле, кому же охота пожертвовать всей жизнью на дело, которое еще на поверку может выйти вздором.

Не написать ли деловым слогом какой-нибудь казенной статистической статейки: «Казань. Широта. Долгота. Топография. История. Кварталы. Торговля. Нравы».

Тут можно сказать, что я стоял в гостинице Мельникова, за стол платят столько-то, за чай столько-то. В Казани более ста гостиниц, что доказывает цветущее состояние города и торговую его значительность. Домов столько-то, бань столько-то.

Нет, Иван Васильевич, это будет уж не живым впечатлением, а чем-то вроде сочинения по обязанности службы или выпиской из губернских ведомостей. Так как же быть?

Неужели потомству лишиться прекрасного сочинения?

Можно было бы поговорить о здешнем университете

и обо всех университетах вообще. Здешний университет известен в Европе по своей обсерватории, по математическому факультету и в особенности по изучению восточных языков. Да я-то их не знаю.

Говорят, хорошая здесь и библиотека. Рукописей много. Читать-то я их не умею, а все-таки люблю.

Запомню самые важные.

Восточные с прекрасными рисунками и арабесками, которые могут быть заимствованы со временем для украшений в нашем зодчестве. Еврейская: Моисеево пятикнижие, писанное на пятидесяти кожах и свернутое в огромный сверток.

«Книга 1703 года, а в ней список бояр, и окольников, и думных, и ближних людей, и стольников, и стряпчих, и дворян московских, и дьяков, и жильцов».

«Путешествие стольника Петра Толстова по Европе в 1697 году».

«Чин и поставление великих князей на царство. Свадьбы царей Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича».

«О пришествии святых вселенских патриархов в Москву по писании к ним от царя Алексея Михайловича».

«Книга записная, кто сидел в судных приказах в 1613 году».

«Записка разрядов».

«Воинский устав царя Василия Иоанновича Шуйского».

«Traité d'Arithmétique par Alexandre de Souvoroff»¹, собственноручно писанный Суворовым в детстве.

Кроме того, целая библиотека князя Потемкина-Таврического.

— Уф!.. — сказал Иван Васильевич. — Все это, без сомнения, занимательно, но все это надо прочесть...

Всего бы проще было взять описание Казани господина Рыбушкина и кое-что из него выписать. Для придачи же ученого вида, который малых обманет, однако ж обманет кого-нибудь, стану теряться в загадках о происхождении названия города.

У нас многие слынут учеными чужим ученьем.

Многие, подобно мне, начали бы книгу свою следующим:

¹ «Трактат об арифметике Александра Суворова» (фр.).

«Полагают, что название города Казани происходит от турецкого слова:

كازان

что означает — чугунный котел».

— Как ни говори, а это слово, которое ни я, ни читатель, — заметил Иван Васильевич, — не сумеет прочесть, сейчас придаст моему вступлению некоторый важный и приятный колорит.

Не всякий напишет:

كازان

Не всякий знает, что

كازان

и чугунный котел одно и то же.

А если подумать, так какое кому до того дело? Теперь уж проходит пора шарлатанства и пустых слов. И стоит ли хлопотать о том, что действительно ли слуга какого-то Алтын-бека ненарочно уронил в реку котел в то время, как черпал для господина воду? Ведь это ни к чему не ведет: это сущий вздор. Даже если ханы и пили воду из котлов — в том нет нам никакой надобности.

Вдруг Иван Васильевич ударил себя по лбу.

— Нашел! — закричал он с вдохновением. — Нашел свое новое, глубокое, громадное воззрение... Я человек русский, я посвятил себя России. Скажет ли она за то спасибо — не знаю; да не в том дело. Я все труды, все мысли отдаю родине, и потому прочие предметы могут иметь для меня ценность только относительную. Итак, я изучу влияние Востока на Россию, в отношениях его к одной России, влияние неоспоримое, влияние важное, влияние тройственное: нравственное, торговое и политическое.

Сперва начну с нравственного влияния, которое с давнего времени ведет на нашей почве упорную борьбу с влиянием Запада. Давно оба врага разъярились и кинулись друг на друга врукопашную, не замечая, что они стискивают между собою бедное, исхудалое славянское начало. Не лучше ли бы им, кажется, помириться, и взять с обеих сторон невинную жертву за руки, и вы-

вести ее на чистый воздух, и дать ей оправиться и по-здороветь. Пусть каждый расскажет ей потом исповедь своего сердца, наставит на истинный путь, указав на пагубные последствия собственных заблуждений, на блестящую награду своих доблестей. В самом деле, Россия находится в странном положении. Слева Европа, как хитрая прелестница, нашептывает ей на ухо обольстительные слова; справа Восток, как пасмурный седой старик, протяжно, но грозно твердит ей вечно свою неизменную речь. Кого же слушать? К кому обращаться? Слушать обоих. Не обращаться ни к кому, а идти вперед своей дорогой. Слушать для того, чтоб воспользоваться чужим опытом, чужими бедствиями, чужими страшными уроками и надежнее, вернее стремиться к истине. На Востоке всякое убеждение свято. На Западе нет более убеждений. На Востоке господствует чувство, на Западе владычествует мысль. А России суждено слить в себе мысль и чувство при лучах просвещения, как сливаются на небе цветы радуги от яркого блеска солнца. Восток презирает суетность житейских треволений; Запад погибает в непрерывном их столкновении. И тут можно найти середину. Можно слить желание усовершенствования с мирным, высоким спокойствием, с непоколебимыми основными правилами. Мы многим обязаны Востоку: он передал нам чувство глубокого верования в судьбы провидения, прекрасный навык гостеприимства и в особенности патриархальность нашего народного быта. Но — увы! — он передал нам также свою лень, свое отвращение к успехам человечества, непростительное нерадение к возложенным на нас обязанностям и, что хуже всего, дух какой-то странной, тонкой хитрости, который, как народная стихия, проявляется у нас во всех сословиях без исключения. При благодетельном направлении эта хитрость может сделаться качеством и даже добродетелью, но при отсутствии духовного образования она доводит до самых жалких последствий; она доводит к неискренности взаимных отношений, к неуважению чужой собственности, к постоянному тайному стремлению ослушиваться законов, не исполнять приказаний и, наконец, даже к самому безнравственному плутовству. Востоку мы обязаны, что столько мужиков и мастеровых обманывают нас на работе, столько купцов обвешивают и обмеривают в лавках и столько дворян губят имя честного человека на службе. Страшно вымолвить, — а привычка в нас сделала то, что мы остаемся

равнодушными, будучи свидетелями самых противозаконных хищений, так что даже первобытные понятия наши с годами изменяются и кража не кажется нам воровством, обман не кажется нам ложью, а какой-то предосудительной необходимостью. Впрочем, слава богу, тут Западом побежден у нас Восток, и мстительный факел осветил пучину козней и позора. Долго еще будут у нас проявляться следы сокрушительного начала, но они давно уже переходят в осадки всех сословий, в низшие слои людей разных именований, потому что каждое сословие имеет свою чернь. Как ни говори, как ни кричи, что ни печатай, Россия быстрым полетом стремится по стезе величия и славы — к недосыгаемой на земле цели совершенства. И более всех других народов Россия приблизится к ней, ибо никогда не забудет, что одного вещественного благосостояния точно так же недостаточно для жизни государства, как недостаточно для жизни частного человека. Широкой, могучей пятой задавит она мелкие гадины, кровожадные ехидны, которые хотят ползком пробраться до ее сердца, и весело отпрянет она, полная любви и силы, к чистому, беспредельному русскому небу...

— Вот,— заключил Иван Васильевич,— предмет так предмет! Влияние нравственное, влияние торговое, влияние политическое. Влияние восточное, слитое с влиянием Запада в славянском характере, составляет, без сомнения, нашу народность. Но как распознать каждую стихию отдельно? Народность-то, кажется, препорядочно закутана. Ее придется распеленать, чтоб добраться до нее, а потом как узнаешь, что пеленка, что нога? Мужайся, Иван Васильевич: дело великое! Ты на Восток недаром попал; итак, изучай старательно влияние Востока на святую Русь... Ищи, ищи теперь впечатлений. Всматривайся в восточные народы. Изучай все до последней мелочи... Рассмотрю каждую каплю, влитую в нашу народную жизнь,— а потом и найдешь ты народность. За дело, Иван Васильевич, за дело!

Впечатление первое...

— Барин, не надо ли халат, настоящий ханский, какие сам хан носит?

— Барин, не надо ли бирюза! Самый лучший, некрашенный!

— Барин, не надо ли китайский жемчуг?

— Китайский тушь.

— Китайский кашма.

- Китайский зеркало.
- Ергак самый лучший.
- Купи, барин, купи, барин.
- Дешево отдам.
- Деньги нужны.

Иван Васильевич поднял голову. Пока он приготовился к первому своему впечатлению, комната наполнилась татарами в чибитейках, с выразительными лицами, с товарами под мышкой. Все говорили вместе, все кланялись и улыбались; каждый хватался сперва за суконный или кумачный кафтан, вытаскивал из-за пазухи желтенькие сложенные бумаги и потом, бросившись на пол, начинал развязывать узлы с халатами и разными тканями.

У Ивана Васильевича глаза разбежались. Во-первых, он привык за границей благоговеть перед азиатским товаром; во-вторых, он был из числа тех русских людей, которые не могут взглянуть в лавку, не почувствовав желанья купить все, что в ней есть. Всякая пестрая дрянь в виде товара имеет для таких людей какую-то недолимую прелесть. Иван Васильевич забыл и влияние Востока и прекрасные свои исследования. Он вдруг одушевился новым чувством: ему чрезвычайно понравился полосатый халат.

— Что стоит? — спросил он.

— Последняя цена триста рублей. Другого не найдешь... Не делают больше... Эй, бери, барин. Будешь доволен... Приезжал князь из Петербурга, два такие халата взял... Семьсот рублей заплатил. Не скупись, барин... Для тебя отдам за двести пятьдесят... Барин, вижу, хороший. Купи, право... Да посмотри, что за халат. На обе стороны. Этак поносил, повернул — опять новый халат. Ну, бери за двести рублей. Деньги нужны... А то бы не отдал... Этакый халат, и не делают больше... Последний, право, последний... Ну так и быть, три полсотни. Вижу, хороший барин... Для почина в убыток отдам.

— А бирюза?

— Давай пять золотых. Даром будешь иметь.

— А жемчуг, а зеркало, а тушь?

— Пять целковых. Десять целковых. Двадцать целковых. Купи, барин. Даром возьмешь. Больно дешево. Купи для почина... Для тебя только, потому что хороший барин. Не купишь — будешь жалеть. Деньги нужны.

Иван Васильевич не устоял против такого искушенья. Он высыпал весь кошелек на стол, и проворные татары, быстро разделив между собой деньги, бросились, тол-

кая друг друга, к дверям и рассыпались по коридору.

В эту минуту в соседней комнате послышалась звучная зевота, и Василий Иванович начал пошевеливаться, нежно охать и наконец приподыматься с своего ложа. Вскоре дверь его комнаты распахнулась, и он в откровенном утреннем беспорядке, прикрытый одним лишь тулупчиком, явился на радостный призыв Ивана Васильевича.

Иван Васильевич сидел в новом пестром халате, с желто-зеленоватыми бирюзами в руке. Перед ним на столе лежали в желтых бумажках какие-то исковерканные раковины, два куска черной туши и маленькое зеркальце.

— Василий Иванович!

— Что, батюшка?

— Видите эти вещи?

— Вижу...

— Оцените, пожалуйста.

Василий Иванович взглянул с пренебрежением на мнимые сокровища.

— Халат,— отвечал он,— на фабрике в Москве, где их делают, стоит тринадцать рублей с полтиною. За бирюзу эту негодную и целкового много. Тушь может стоить полтинник. Да зачем вам тушь, Иван Васильевич: вы, кажется, не рисуете?

— Не рисую, Василий Иванович, а все-таки интересно иметь этакую вещь.

— И, батюшка, черт ли вам в ней?

— Ну, а прочее?

— Прочее я не советовал б даром брать. А вы что дали?

— Все, что у меня было в кошельке,— печально отвечал Иван Васильевич. «Первого своего впечатления,— прибавил он мысленно,— я не помещу в своем сочинении».

Василий Иванович громко расхохотался.

— Ай, да плуты эти татары! Вот как вас, младенцев, проучают. Хха-хха-хха!.. И дело: не покупай бирюзы другой раз...

— Сенька!— закричал он вдруг.

Сенька вошел.

— Подмазали тарантас?

— Подмазали-с!

— Прикажи закладывать.

— Как? — спросил с ужасом Иван Васильевич. — Вы хотите ехать?

— А что ты думаешь, халаты покупать, что ли?..

— Повремените хоть денек. Дайте взглянуть на башню Сумбеки.

— Зачем тебе?

— Я хочу изучать Восток.

— Вот тебе на! Да здесь не Восток, а Казань.

— Да физиономия здесь восточная; население татарское.

— Да ты, батюшка, никак узнал татар? Довольно с тебя... Завтра мы и в Мордасах будем. Не прогневайся. Я стосковался и по Авдотье Петровне и по старичкам своим. Дела у меня довольно, а Восток ты изучай, коли угодно, в другой раз.

Волей-неволей Иван Васильевич сердито взгромоздился в тарантас подле неумолимого своего спутника... Тарантас выехал грузно из Казани и покатился по широкой дороге. И скоро скрылись из вида и городские стены, и высокие башни, и все далее и далее въезжал тарантас в широкую, гладкую равнину... И вот исчезли леса, и долины, и жилые места. Голая степь раскинулась, растянулась во все стороны, как скованное море... Тощий ковыль едва колыхался от широкого размета ничем обузданного ветра... Тучи бежали белыми волнами по небу... Орел, расширив крылья, парил в неизмеримой высоте... В целой природе дышало таинственное, унылое величие. Все напоминало смерть и в то же время сливалось в какое-то неясное понятие о вечности и жизни беспредельной...

XX

сон

Поздно вечером катился тарантас по широкой степи. Становилось темно. Наконец наступила ночь, покрыв всю окрестность мрачною завесой.

— Что это? — сказал с беспокойством Иван Васильевич. — Куда же девался Василий Иванович? Василий Иванович! Василий Иванович! Где вы? Где вы? Василий Иванович?

Василий Иванович не отвечал.

Иван Васильевич протер глаза.

— Странно, диковинное дело! — продолжал он. — Мерещится мне, что ли, это в темноте, а вот так и кажется, что тарантас совсем не тарантас... а вот, право, что-то живое... Большой таракан, кажется... Так и бежит

тараканом... нет, теперь он скорее похож на птицу... Вздор, однако ж, быть не может, а что ни говори, птица, большая птица, — какая, неизвестно. Эдаких огромных птиц не бывает. Да слыханное ли дело, чтоб тарантасы только притворялись экипажами, а были в самом деле птицами? Иван Васильевич, уж не с ума ли ты сходишь! Доживешь ты, брат, до этого с твоими бреднями. Тьфу! Страшно становится. Птица, решительно птица!

И в самом деле, Иван Васильевич не ошибся: тарантас действительно становился птицей. Из козел вытягивалась шея, из передних колес образовывались лапы, а задние обращались в густой широкий хвост. Из перин и подушек начали выползать перья, симметрически располагаясь крыльями, и вот огромная птица начала пошатываться со стороны на сторону, как бы имея намерение подняться на воздух.

— Нет, врешь! — сказал Иван Васильевич. — Остаться ночью в степи одному — слуга покорный. Ты, пожалуй, прикидывайся птицей, да меня-то ты не проведешь: я все-таки знаю, что ты не что иное, как тарантас. Прошу везти на чем хочешь и как хочешь — это твое уж дело.

Тут Иван Васильевич схватил руками за огромную шею фантастического животного и, спустив ноги над крыльями по обе стороны, не без душевного волнения ожидал, что из всего этого будет.

И вот странная птица, орел не орел, индейка не индейка, стала тихо приподыматься. Сперва выдвинула она шею, потом присела к земле, отряхнулась и вдруг, ударив крыльями, поднялась и полетела.

Иван Васильевич был очень недоволен.

«Наконец дождался я впечатления, — думал он, — и в самом пошлом, в самом глупом роде. Надо же быть такому несчастью. Ищу современного, народного, живого — и после долгих тщетных ожиданий добиваюсь какой-то бестолковой, фантастической истории. Я вообще этого раздражительного, разогретого фантастического рода терпеть не могу... Экая досада! Неужели суждено мне век искать истины и век добиваться только вздора?»

Между тем темнота была страшная и все становилась непроницаемее. Воздух вдруг сделался удушлив. Страшная гробовая сырость бросила Ивана Васильевича в лихорадку. Мало-помалу начал он чувствовать, что над ним сгущались тяжелые своды. Ему показалось, что он несется уже не по воздуху, а в какой-то душной пе-

щере. И в самом деле он летел по узкой и мрачной пещере, и от земли веяло на него каким-то могильным холодом. Иван Васильевич перепугался не на шутку.

— Тарантас!— сказал он жалобно.— Добрый тарантас! Милый тарантас! Я верю, что ты птица. Только выведи меня, вылети отсюда. Спаси меня. Век не забуду! Тарантас летел.

Вдруг в щели черной пещеры зарделся красноватый огонек, и на багровом пламени начали отделяться страшные тени. Безглавые трупы с орудиями пытки вокруг членов, с головами своими в руках чинно шли попарно, медленно кланялись направо и налево и исчезали во мраке; а за ними шли другие тени, и снова такие же тени, и не было конца кровавому шествию.

— Добрый тарантас! Славная птица!..— закричал Иван Васильевич.— Страшно мне. Страшно. Послушай меня: я почию тебя; я накормлю тебя; в сарай поставлю — выведи только!

Тарантас летел.

Вдруг тени смешались. Пещера снова почернела мглой непроницаемой.

Тарантас все летел.

Прошло несколько времени в удушливом мраке. Ивану Васильевичу вдруг послышался отдаленный гул, который все становился слышнее. Тарантас быстро повернул влево. Вся пещера мгновенно осветилась бледно-желтым сиянием, и новое зрелище поразило трепетного всадника. Огромный медведь сидел, скорчившись, на камне и играл плясовую на балалайке; вокруг него уродливые рожи выплясывали вприсядку со свистом и хохотом какого-то отвратительного трепака! Гадко и страшно было глядеть на них. Что за лики! Что за образы! Кочерги в вицмундирах, летучие мыши в очках, разряженные в пух франты с визитной карточкой вместо лица под шляпой, надетой набекрень, маленькие дети с огромными иссохшими черепами на младенческих плечках, женщины с усами и в ботфортах, пьяные пивки в длиннополых сюртуках, напудренные обезьяны во французских кафтанах, бумажные змеи сшитыми воротниками и тоненькими шпагами, ослы с бородами, метлы в переплетах, азбуки на костылях, избы на куриных ножках, собаки с крыльями, поросята, лягушки, крысы... Все это прыгало, вертелось, скакало, визжало, свистело, смеялось, ревели так, что своды пещеры тряслись до основания и судорожно дрожали, как бы испуганные адским разгулом беснующихся гадин...

— Тарантас!— возопил Иван Васильевич.— Заклинаю тебя именем Василия Ивановича и Авдотьи Петровны, не дай мне погибнуть во цвете лет. Я молод еще; я не женат еще... Спаси меня...

Тарантас летел.

— Ага!.. Вот и Иван Васильевич!— закричал кто-то в толпе.

— Иван Васильевич, Иван Васильевич!— подхватил хором уродливый сброд.— Дождались мы этой канальи, Ивана Васильевича! Подавайте его сюда! Мы его, подлеца! Проучим голубчика! Мы его в палки примем, плясать заставим. Пусть пляшет с нами. Пусть околеет... Вот и к нам попался... Ге-ге-ге... брат! Важничал больно. Света искал. Мы просветим тебя по-своему. Эка великая фигура!.. И грязь не любишь, и взятки бранишь, и сумерки не жалуешь. А мы тут сами взятки, дети тьмы и света, сами сумерки, дети света и тьмы. Эге-ге-ге-ге... Ату его!.. Ату его!.. Не плошайте, ребята... Ату его!.. Лови, лови, лови!.. Сюда его, подлеца, на расправу... Мы его... Ге... ге... ге...

И метлы, и кочерги, и все мерзкие, уродливые гадены понеслись, помчались, полетели Ивану Васильевичу в погоню.

— Пстой, пстой!— кричали хриплые голоса.— Ату его!.. Ловите его... Вот мы его, подлеца... Не уйдешь теперь... Попался... Хватайте его, хватайте!

— Караул!— заревел с отчаянием Иван Васильевич.

Но добрый тарантас понял опасность; он вдруг ударил сильнее крыльями, удвоил быстроту полета. Иван Васильевич зажмурил глаза и ни жив ни мертв съежился на странном своем гипогрифе... Он уж чувствовал прикосновение мохнатых лап, острых когтей, шершавых крылий; горячее, ядовитое дыхание адской толпы уже жгло ему и плечи и спину... Но тарантас бодро летел. Вот уж подался он вперед... вот уж изнемогает, вот отстает нечистая погоня, и ругается, и кричит, и проклинает... а тарантас все бодрее, все сильнее несется вперед... Вот отстали уже они совсем; вот беснуются они уже только издали... но долго еще раздаются в ушах Ивана Васильевича ругательства, насмешки, проклятия, и визг, и свист, и отвратительный хохот... Наконец, желтое пламя стало угасать... адский треск снова обратился в глухой гул, который все становился отдаленнее и неяснее и мало-помалу начал исчезать. Иван Васильевич открыл глаза. Кругом все было еще темно, но на него пахнуло уже свежим ветерком. Мало-помалу своды

пещеры начали расширяться, расширяться и слились постепенно с прозрачным воздухом. Иван Васильевич почувствовал, что он на свободе и что тарантас мчится высоко-высоко по небесной степи.

Вдруг на небосклоне солнечный луч блеснул молнией. Небо перешло мало-помалу через все радужные отливы зари, и земля начала обозначаться. Иван Васильевич, нагнувшись через тарантас, смотрел с удивлением: под ним расстилалось панорамой необозримое пространство, которое все становилось явственнее при первом мерцании восходящего солнца. Семь морей бушевали кругом, и на семи морях колебались белые точки парусов на бесчисленных судах. Гористый хребет, сверкающий золотом, окованный железом, тянулся с севера на юг и с запада к востоку. Огромные реки, как животворные жилы, вились по всем направлениям, сплетаясь между собой и разливая повсюду обилие и жизнь. Густые леса ложились между ними широкою тенью. Тучные поля, обремененные жатвой, колыхались от предутреннего ветра. Посреди них города и селения пестрели яркими звездами, и плотные ленты дорог тянулись от них лучами во все стороны. Сердце Ивана Васильевича забилося. Начинало светать. Вдруг все огромное пространство дружно заиграло дружной, одинакой жизнью; все засуетилось и закипело. Сперва загудели колокола, призывая к утренней молитве; потом озабоченные поселяне рассыпались по полям и нивам, и на целой земле не было места, где бы не сияло благоденствие, не было угла, где бы не означался труд. По всем рекам летели паровые суда, и сокровища целых царств с непостигаемой быстротой менялись местами и всюду доставляли спокойствие и богатство. Станные, неизвестные Ивану Васильевичу кареты и тарантасы начали с фантастической скоростью перелетать и перебегать из города в город, через горы и степи, унося с собой целые населения. Иван Васильевич не переводил дыхания. Тарантас начал медленно спускаться. Золотые главы городов сверкнули при утренних лучах. Но один город сверкал ярче прочих и церквами своими и царскими палатами, и горделиво-широко раскинулся он на целую область. Могучее сердце могучего края, он, казалось, стоял богатырским стражем и охранял целое государство и силой своей и заботливостью. Душа Ивана Васильевича исполнилась восторгом. Глаза засверкали. «Велик русский бог! Велика русская земля!» — воскликнул он невольно, и в эту минуту солнце заиграло всеми лучами своими над люби-

мой небом Россией, и все народы от моря Балтийского до дальней Камчатки склонили головы и как бы слились вместе в дружной благодарственной молитве, в победном торжественном гимне славы и любви.

Иван Васильевич быстро спускался к земле, и, по мере того как он спускался, тарантас снова изменял свою птичью наружность для более приличного вида. Шея его вновь становилась козлами, хвост и лапы колесами, одни перья не собрались только в перины, а разнеслись свободно по воздуху. Тарантас становился снова тарантасом, только не таким неуклюжим и растрепанным, как звал его Иван Васильевич, а приглаженным, лакированным, стройным — словом, совершенным молодцом. Коробочки и веревочки исчезли. Рогож и кульков как не бывало. Место их занимали небольшие сундуки, обтянутые кожей и плотно привинченные к назначенным для них местам. Тарантас как бы переродился, перевоспитался и помолодел. В твердой его поступи не видно было более прежнего неряшества; напротив, в ней выражалась какая-то уверенность, чувство неотъемлемого достоинства, быть может, даже немного гордости.

«Эк его Василий Иванович отделал! — подумал невольно Иван Васильевич. — Экипаж длинный, это правда, однако ж для степной езды удобный. К тому ж он не лишен оригинальности, и ехать в нем весьма приятно... Спасибо Василию Ивановичу... Да где же он, в самом деле? Василий Иванович! Василий Иванович! Где вы? Нет Василия Ивановича. Ужели пропал он, исчез совершенно? Жаль старика! Добрый был человек... Нет его как нет. Упал где-нибудь дорогой. Не остановиться ли поискать его?»

Остановиться, однако, было невозможно. В тарантас впряглась ретивая тройка, ямщик весело прикрикнул, и Иван Васильевич поскакал с такой невероятной быстротой, как ему никогда еще не случалось, даже когда он разъезжал в старину с курьерской подорожной по казенной надобности. Тарантас мчался все вперед без остановки по гладкой, как зеркало, дороге. Лошади незаметно менялись, и тарантас несся все далее и далее мимо полей, селений и городов. Земли, по которым он несся, казались Ивану Васильевичу знакомыми. Должно быть, он бывал тут когда-то часто и по собственным делам и по обязанности службы, однако все, кажется, приняло другой вид... Места, где были прежде неизмеримые бесплодные пространства, болота, степи, трупщобы, теперь

кипят народом, жизнью и деятельностью Леса очищены и хранятся, как народные сокровища; поля и нивы, как разноцветные моря, раскинуты до небосклона, и благословенная почва всюду приносит щедрое вознаграждение заботам поселян. На лугах живописно пасутся стада, и небольшие деревеньки, рассыпая кругом себя земледельцев симметрической своей сетью, как бы наблюдают за сбережением времени и труда человеческого. Куда ни взгляни, везде обилие, везде старание, везде просвещенная заботливость. Селения, через которые мчался тарантас, были русские селения. Иван Васильевич бывал даже в них нередко. Они сохранили прежнюю, начальную свою наружность, только очистились и усовершенствовались, как и сам тарантас. Черные избы, соломенные крыши, все безобразные признаки нищеты и нерадения исчезли совершенно. По обеим сторонам дороги возвышались красивые строения с железными крышами, с кирпичными стенами, с пестрыми изразцовыми наличниками у окон, с точеными перилами и украшениями... На широких дубовых воротах прибиты были вывески, означающие, что в длинные зимние дни хозяин дома не занимался пьянством, не валялся праздный на лужанке, а приносил пользу братьям выгодным ремеслом, благодаря способности русского народа все перенять и все делать, и тем упрочивал и свое благоденствие. На улицах не было видно ни пьяных, ни нищих... Для дряхлых бесприютных стариков были устроены у церкви богадельня и тут же приюты для призрения малолетних детей во время занятия отцов и матерей полевыми работами. К приютам примыкали больницы и школы... школы для всех детей без исключения. У дверей, обсаженных деревьями, резвились пестрые толпы ребятишек, и в непринужденном их веселии видно было, что часы труда не промчались даром, что они постоянно и терпеливо готовились к полезной жизни, к честному имени, к похвальному труду... И сельский пастырь, сидя под ракитой, с любовью глядел на детские игры. Кое-где над деревнями возвышались дома помещиков, строенные в том же вкусе, как и простые избы, только в большем размере. Эти дома, казалось, стояли блюстителем порядка, залогом того, что счастье края не изменится, а благодаря мудрой заботливости просвещенных путеводителей все будет еще стремиться вперед, все будет еще более развиваться, прославляя дела человека и милосердие создателя.

Города, через которые мчался тарантас, казались тоже Ивану Васильевичу знакомыми, хотя он во многом их не узнавал. Улицы не стояли печальными пустынями, а кипели движением и народом. Не было нигде заборов вместо домов, домов с плачевной наружностью, разбитыми стеклами и оборванной челядью у ворот. Не было развалин, растрескавшихся стен, грязных лавочек. Напротив, дома, дружно теснясь один к одному, весело сияли чистотой... окна блестели, как зеркала, и тщательно отделанные украшения придавали красивым фасадам какую-то славянскую, народную, оригинальную наружность. И по этой наружности не трудно было заключить, в каком порядке, в каком духе текла жизнь горожан: бесчисленное множество вывесок означало со всех сторон торговую деятельность края... Огромные гостиницы манили путешественников в свои чистые покои, а над золотыми куполами звучные колокола гудели благословением над братской семьей православных.

И вот блеснул перед Иваном Васильевичем целый собор сверкающих куполов, целый край дворцов и строений... «Москва, Москва!» — закричал Иван Васильевич... и в эту минуту тарантас исчез, как бы провалился сквозь землю, и Иван Васильевич очутился на Тверском бульваре, на том самом месте, где еще недавно, кажется, встретил он Василия Ивановича и условился с ним ехать в Мордасы. Иван Васильевич изумился. Вековые деревья осеняли бульвар густою, широкою тенью. По сторонам его красовались дворцы такой легкой, такой прекрасной архитектуры, что уж при одном взгляде на них душа наполнялась благородной любовью к изящному, отрадным чувством гармонии. Каждый дом казался храмом искусства, а не чванной выставкой бестолковой роскоши... «Италия... Италия! неужели мы тебя перецеголяли?» — воскликнул Иван Васильевич и вдруг остановился. Ему показалось, что навстречу к нему шел князь, тот самый, которого он когда-то встретил на большой дороге в дормезе, который вечно живет за границей и приезжает в Россию с тем только, чтобы забрать с мужиков оброк.

«Не может быть, — подумал он. — Однако ж, кажется, что князь... Да он, верно, за границей... И к тому же он разве из маскарада идет в таком наряде?»

Навстречу к Ивану Васильевичу шел в самом деле князь, только не в таком виде, как он знал его прежде. На голове его была бобровая шапка; стан был плотно

схвачен тонким суконным полущубком на собольем меху. Он узнал старого своего знакомого и учтиво его приветствовал.

— Здорово, старый приятель, — сказал он.

— Как, князь... так это точно вы?.. Я никак бы не узнал вас в этом костюме.

— Почему же?.. Наряд этот совершенно удобен для нашего северного холода, а притом он наш, народный, и я другого не ношу.

— Не знал-с, виноват, совсем не знал... А я думал, князь, что вы за границей.

— Что?

— Я думал, что вы за границей.

— За какой границей?

— Да на Западе...

— Зачем?

— Да так-с.

— Помилуйте!.. У нас есть свой запад, свой восток, свой юг и свой север... Коли любишь путешествовать... так и тут своего во всю жизнь не объедешь.

— Конечно, это правда, князь... Однако согласитесь сами, что за границей мы находим не только удовольствия, но и важные поучения.

Князь посмотрел на Ивана Васильевича с удивлением.

— Какие поучения?

— Примеры-с.

— Какие примеры?

— Да просвещения и свободы.

Князь рассмеялся.

— Помилуйте... да это слова... Мы не дети, слава богу... Нам неприлично заниматься шарадами и принимать названия за дела. Я вижу, впрочем, с удовольствием, что вы читаете историю — занятие похвальное. Вы говорите о том времени, когда непрошеные крикуны вопили о судьбе народов не столько для народного блага, как для того, чтоб их голос был слышен. Но ведь народы давно сами догадались, что весь этот шум прикрывал только мелкие расчеты, частные страсти, личное самолюбие или горячность молодости. Поверьте, если благо общее и подвинулось, так это от собственной силы, а не от громких возгласов. Для всякого человеческого дела страсть не только пагубна, но даже смертельна. Вам это докажет история, а история не что иное, как поучение прошедшего настоящему для будущего. Мы начали после всех, и потому

мы не впали в прежние ребяческие заблуждения. Мы шли спокойно вперед, с верою, с покорностью и надеждой. Мы не шумели, не проливали крови, мы искали не укрывательства от законной власти, а открытой священной цели, и мы дошли до нее и указали ее целому миру... Терпением разгадали мы загадку простую, но до того еще никем не разгаданную. Мы объяснили целому свету, что свобода и просвещение одно и то же целое, неделимое и что это целое не что иное, как точное исполнение каждым человеком возложенной на него обязанности.

— Вы шутите, князь.

— Сохрани меня бог! Люди кричали много о своих правах, но всегда умалчивали о своих обязанностях. А мы сделали иначе: мы крепко держались обязанностей, и право, таким образом, определилось у нас само собой.

— Да как же вы это сделали?

— Бог благословил наше смирение. Вы знаете, Россия никогда не заносилась духом гордыни, никогда не хотела служить примером прочим народам, и оттого-то бог избрал Россию.

— Неужели это правда, князь?.. Дай-то бог... Да все-таки я не понимаю, как вы дошли до такого счастья.

— Дошли просто, повинувшись стремлению века, а не бегая с ним взапуски. Мы искали возможного и не гонялись за недостижимым; мы отделили человеческое от идеального. Мы не увлеклись пустыми, неприменяемыми началами, ибо знали, что нет начала, которое бы, доведенное до крайнего своего выражения, не делалось нелепостью и, что хуже, преступлением. Вот почему мы старались согласовать разнородные стихии, а не разрушать, не сокрушать их в безрассудных порывах. Мы искали равновесия. Равновесием держится весь мир, и это равновесие нашли мы в одной только любви. В любви христианской таится и гражданственное спокойствие и семейное счастье — все, что мы можем просить от земли, все, что мы должны просить от неба.

— И вы не встретили препятствий?— спросил Иван Васильевич.

— Без препятствий не было бы успеха, не было бы человеческих условий. Но в любви мы нашли и волю, и силу, и победу над враждебными началами, нашли единое влияние всех сословий для великого народного подвига. Дворяне шли вперед, исполняя благую волю божьего помазанника; купечество очищало путь, войско охраняло край, а народ бодро и доверчиво подвигался по

указанному ему направлению. И побороли мы и западное зло и восточное зло, пользуясь их же примером, и теперь, слава богу, Россия владычествует над вселенной не одними громадными силами, но и духовным высококонравственным успокоительным влиянием...

— Я вижу, — заметил Иван Васильевич, — вы все-таки по-прежнему аристократ...

Князь улыбнулся и пожал плечами.

— Опять слова... опять пустые названия... Хорошо, что я с вами давно знаком и не повторю вашего замечания. Но я вас предвещаю, вы можете уронить себя в общем мнении, если узнают, что вы еще занимаетесь пустыми толкованиями об аристократах и демократах. Теперь все называется настоящим именем и оценивается по достоинству. Тунеядец, который надувается глупой надменностью; точно так же отвратителен, как и желчный завистник всякого отличия и всякого успеха. Голодная зависть нищей бездарности ничем не лучше спесивого богатства. Я аристократ в том смысле, что люблю всякое усердствование, всякое истинное отличие, а демократ потому, что в каждом человеке вижу своего брата. Впрочем, как вы видите, эти понятия вовсе не разнородны, а, напротив, тесно связаны между собой.

«Да он, кажется, сделался педантом, — подумал с удивлением Иван Васильевич. — Уж не набрался ли он немецкой философии? На философию мода в Москве... Видно, и князь сделался мудрецом от скуки». Иван Васильевич продолжал разговор:

— Как же вы, князь, проводите здесь время? Скучненько, я думаю? Разве ведете большую игру в лото или в палки?

— Что за шутки!.. — возразил, немного обидевшись, князь. — У нас в карты одни только слуги играют, и то мы лишаем их мест за такую гнусную потерю времени. У нас, слава богу, есть довольно занятий. Нетрудящийся человек не достоин звания человека. Когда же мы устаем от дела, то отправляемся в клуб.

— В английский?

— Нет, в русский. Там собираются наши светлые умы, и, слушая их беседы, всегда можно почерпнуть или новое познание, или отрадное впечатление. Поверите ли, все наши огромные предприятия, все усовершенствования, которыми мы так справедливо гордимся, возникли среди этого дружеского размена мнений и чувств.

— Так вы, князь, постоянно живете в Москве?

— О нет! Я в Москву только изредка наезжаю, а то живу себе большей частью в уезде. Служба берет много времени.

— Вы служите, князь?

— Да... заседателем.

Иван Васильевич захохотал во все горло.

— Чему же вы смеетесь?..

— Помилуйте, князь... с вашим богатством, с вашим именем...

— Да оттого-то я и служу... Во-первых, как гражданин, я обязан отдать часть своего времени для общей пользы; во-вторых, выгоды мои, как значительного владельца, тесно связаны с выгодами моего края. Наконец, находясь сам на службе, я не отвлекаю от выгодного занятия или ремесла бедного человека, который бы должен был занимать мою должность. Таким образом, правительство не содержит нищих невежд или бессовестных лихоимцев. Охранение законов не делается источником беззаконности.

— Так вы живете в губернском городе?

— Иногда... по службе, иногда для удовольствия. Приезжайте к нам. Вы найдете много любопытного, много древностей, много предметов искусств, не говоря уж об огромных предприятиях относительно промышленности и торговли. Общество у нас серьезное, ненавидящее праздность с ее жалкими последствиями. Приезжайте к нам, а всего лучше приезжайте ко мне в деревню, в старый мой дедовский замок; есть что посмотреть.

— Могу вообразить, — прервал Иван Васильевич. — Если роскошь усовершенствовалась у нас, как и прочее, какие должны быть у вас комнаты. Я чаю, вы каждый год меняете обои и мебель?

— Сохрани бог! Мой замок стоит как есть уж несколько веков. В нем сохраняются с почтением все следы дедовской жизни. Он служит некоторым образом памятником их действий. Воспоминание о них не исчезает, а переходит от поколения к поколению, внушая детям благородную гордость и обязанность не уронить чести своего рода. Впрочем, деды наши не употребляли денег своих на вздор, а на важные местные улучшения, на книги, на поощрение художеств, на пособие наукам... Зато каждый замок может служить у нас предметом самых любопытных изучений, самых изящных удовольствий... У меня в особенности замечательно собрание картин.

— Итальянской школы? — спросил Иван Васильевич.

— Арзамасской школы... Вообразите, у меня целая галерея образцовых произведений славных арзамасских живописцев.

«Вот те на!..» — подумал Иван Васильевич.

— Немалого внимания заслуживает тоже моя библиотека.

— Иностранной словесности, верно?

— Напротив. Иностранной словесности вы найдете у меня только то малое число гениальных писателей, творения которых сделались принадлежностью человечества. Но вы найдете у меня полное собрание русских классиков, любопытную коллекцию наших прекрасных журналов, которые своими полезными и совестливыми трудами поощряли народ на стезе прямого образования и сделались предметом общего уважения и благодарности. Зато, поверите ли, чтение журналов сделалось необходимостью во всех сословиях. Нет избы теперь, где бы вы не нашли листка «Северной пчелы» или книги «Отечественных записок». Писатели наши — честь и слава нашей родины. В их творениях столько добросовестности, столько родного вдохновения, столько бескорыстия, столько увлекательности и силы, что нельзя не порадоваться их высокому и лестному значению в нашем обществе... Да, бишь, скажите, пожалуйста... где Василий Иванович?

Иван Васильевич смутился. Он совершенно забыл о Василии Ивановиче, и совесть начала его в том упрекать.

— Вы знаете Василия Ивановича? — спросил он, запинаясь.

— Знавал в молодости... Да вот давно уж не видал. Он человек не бойкий в разговорах, а практически дельный. Если б все люди были, как он, просто без образования, наш народ гораздо бы скорее образовался... А то нам долго мешали недообразованные крикуны, которые кое о чем слышали, да мало что поняли... Кланяйтесь Василию Ивановичу, если он жив... А теперь прощайте... Я заговорился с вами... Прощайте.

Князь пожал у Ивана Васильевича руку и быстро скрылся, оставив своего собеседника в сильном раздумье...

«Уж не это ли наша гражданственность?» — подумал он.

— Ваня, Ваня!.. — закричал вдруг кто-то за ним.

Иван Васильевич обернулся и очутился в объятиях своего пансионного товарища, того самого, который встретился ему на Владимирском бульваре...

— Ваня, как это ты здесь?— спрашивал он с дружеским удивлением.

— Сам не знаю,— отвечал Иван Васильевич.

— Пойдем ко мне. Жена будет так рада с тобой познакомиться. Я так часто ей говорил о том счастливым времени, когда мы сидели с тобой в пансионе на одной лавке и так ревностно занимались, так жадно вслушивались в ученые лекции наших профессоров.

— Шутить ли?— сказал Иван Васильевич.

— Ах, братец, как не быть признательным к этим людям. Им я обязан и душевным спокойствием и вещественным благосостоянием. Я богат потому, что умерен в своих желаниях. Я неприхотлив потому, что вечно занят. Я не взволнован желаниями искать рассеянья, потому что нахожу счастье в семейной жизни. В этом счастье заключается вся моя роскошь, и благодаря строгому порядку я могу еще делиться своим избытком с неимущими братьями. К несчастью, на земле не может быть равенства; человек никогда не может быть равен другому человеку. Всегда будут люди богатые, перед которыми другие будут почитаться бедными. Ум и добродетель имеют тоже своих богатых и своих бедных. Но обязанность богатых делиться с неимущими, и в том заключается их роскошь. Пойдем ко мне.

Они отправились. Все было просто в скромном жилище товарища Ивана Васильевича, но все дышало какой-то изящной изысканностью, каким-то неизъяснимым отблеском присутствия молодой, прекрасной женщины. Приветливо улыбнулась она Ивану Васильевичу, и он остановился перед ней в немом благоговении. Ему показалось, что он до того времени никогда женщины не видывал. Она была хороша не той бурной сверкающей красотой, которая тревожит страстные сны юношей, но в целом существе ее было что-то высоко-безмятежное, поэтически-спокойное. На лице, сиявшем нежностью, всякое впечатление ярко обозначалось, как на чистом зеркале. Душа выглядывала из очей, а сердце говорило из уст. В полудетских ее чертах выражались такое доброжелательное радушие, такая заботливая покорность, такая глубокая, святая, ничем не развлеченная любовь, что, уже глядя на нее, каждый человек должен был становиться лучше. В каждом ее движении было очаровательное согласие... Она улыбнулась вошедшему гостю, а двое розовых и резвых детей, смущенные видом незнакомца, прижали к ее коленям свои кудрявые головки. Иван Васильевич глядел

на эту картину, как на святыню, и ему показалось, что он в ней видел светлое олицетворение тихой семейственности, этого высокого вознаграждения за все труды, за все скорби человека. И мало ли, долго ли стоял он перед этой чудной картиной — он этого не заметил; он не помнил, что слышал, что говорил, только душа его становилась все шире и шире, чувства его успокоились в тихом блаженстве, а мысли слились в молитву.

— Есть на земле счастье! — сказал он с вдохновением. — Есть цель в жизни... и она заключается...

— Батюшки, батюшки, помогите!.. Беда... Помогите... Валимся, падаем!..

Иван Васильевич вдруг почувствовал сильный толчок и, шлепнувшись обо что-то всей своей тяжестью, вдруг проснулся от сильного удара.

— А... Что?.. Что такое?..

— Батюшки, помогите, умираю! — закричал Василий Иванович. — Кто бы мог подумать... тарантас опрокинулся.

В самом деле, тарантас лежал во рву вверх колесами. Под тарантасом лежал Иван Васильевич, ошеломленный неожиданным падением; под Иваном Васильевичем лежал Василий Иванович в самом ужасном испуге. Книга путешествий утонула навеки на дне влажной пропасти. Сенька висел вниз головой, зацепясь ногами за козлы...

Один ямщик успел выпутаться из постромок и уже стоял довольно равнодушно у опрокинутого тарантаса... Сперва огляделся он кругом, нет ли где помощи, а потом хладнокровно сказал вопиющему Василию Ивановичу:

— Ничего, ваше благородие!

СОБАЧКА

(Посвящено М. С. Щепкину)



В начале нынешнего столетия, то есть лет сорок назад, Теменевская ярмарка славилась в целой России; на ней совершались торговые обороты многих губерний и решались нередко важные экономические вопросы. Тут устанавливались цены на хлеб, на шерсть, на пеньку, на все, чем промышляет русский помещик. Тут помещик встречался с своим вечным соперником — купцом, и завязывалась между ними дипломатическая борьба, которая обыкновенно оканчивалась тем, что один непременно поддевал другого. Оттого помещики и готовились к ярмарке за полгода вперед, прикидывая на счетах предполагаемые барыши. Жены их, с своей стороны, заготавливали наряды для предстоящих редутов, собраний и визитов, после которых привозился домой годовой запас сплетней и болтовни. Наконец, румяные дочки рассчитывали, сколько остается им дней до той блаженной минуты, когда придется им прогуливаться по рядам, быть может, задеть сердце какого-нибудь пылкого корнета, быть может, самым лишиться тяготящего девичьего спокойствия.

Как бы то ни было, а 17 августа 1804 г., за два дня перед открытием ярмарки, въехала в уездный город Теменев довольно странная процессия. Впереди красовалась, запряженная пегими клячами, какая-то еле дышащая бричка в виде подержанной римской колесницы. В ней сидело два человека: первый, чрезмерно бледный и худощавый, наружности важной и даже немного грозной, родом немец, именем Адам Адамыч Шрейн, званием балетмейстер, а в случае надобности и танцор; второй — румяный, веселый, с вздернутым козырьком картуза, что служило у него признаком приятного располо-

жения духа. Званием был он трагический актер, оперный певец и первый комик, именем Осип Викентьевич Поченовский.

Оба были не что иное, как директора, режиссеры и антрепренеры теменевского театра, разумеется, только на время ярмарки, потому что по миновании этого блистательного времени город Теменев становился тих и безлюден, как бы после нашествия неприятеля. Лавки запирались до будущей ярмарки. Дома, некогда кипевшие жизнью, начиненные помещиками с женами, детьми и оборванной челядью, дворы, заставленные бричками и тарантасами, вдруг до того становились пусты и безлюдны, что внушали невольный ужас. Ставни в окнах на улицу заколачивались наглухо, хозяева помещались в какой-нибудь светелке на чердаке в ожидании той счастливой эпохи, когда снова брички и тарантасы останутся у их ворот и привезут годовой доход за недельный постой. В целом городе водворялась тишина мертвая, и лишь изредка промелькивали на дрожащих тротуарах бабы в сапогах да раздавался по опустевшим улицам стук городнических дрожек.

Надо заметить, что теменевский городничий только на время ярмарки удостоивался звания полицеймейстера, что по тогдашним понятиям было как-то благозвучнее и внушало более страха. В мирное же время городничий оставался просто городничим, то есть скромным помещиком уездного городка, жил себе безмятежно в кругу семейства, занимался воспитанием детей, читал газеты да в праздничные дни кормил на убой всех городских чиновников.

Такая общая тихая дремота вдруг прерывалась в августе месяце каждого года. Тогда город Теменев вдруг просыпался, оживлялся и преображался совершенно. Не только все лавки гостинного двора наполнялись товарами и не было прохода по рядам от толпы покупателей и зевак, но еще и на всех площадках внутри города и вокруг целого города наскоро сколачивались из досок целые ряды шалашей под свежую крышей ветвистых берез.

Солнце играло весело на трепещущих изумрудных листьях; легкий ветерок приятно колыхал их над головами проходящих, и тут назначалось щегольское сборище приезжих аристократов. Целые вереницы пестрых барышень мелькали по зеленым переулкам, поглядывая исподлобья на молодых офицеров. Толстые барыни

упорно торговались с купцами; помещики пили шампанское у старой француженки, торгующей в то же время и медами и вином. Все было живо и живописно. У заставы красовалась конная с табунами, ремонтерами, барышниками и помещиками особого рода, которые отличаются венгерками, усами, ухарскими фуражками и коротенькими бичами с свистком. По всему городу обнаруживалось внезапно столько харчевень и трактирных заведений, что и счета им не имелось. Не было только гостиницы для приезжающих; но так как городские мещане сами занимались гостеприимством, то подобный недостаток был вовсе неощутителен. Главная площадь Теменева вдруг украшалась разными балаганами различных окружностей, с флюгерами и огромными вывесками. В одном из них происходило конное ристалище и пляска на канате, в другом необычайный силач держал в зубах пудовые гири, маленьких детей вверх ногами и потом ел хлопчатую бумагу и извергал пламя. Показывали тут тоже разные вертепы и панорамы, изображающие, между прочим, землетрясение Лиссабона и долину Шамуни. Недалеко от площади поселились два враждовавшие цыганские табора и такие увеселительные заведения, о которых упоминать не следует. Наконец, на большом сарае, служившем обыкновенно складочным амбаром для муки, прибывалась огромная черная доска с наклоненными белыми буквами, изображающими магическое слово: «Театр». Слово это, как известно, слово заманчивое, искусительное для русского человека, у которого лишний рубль в кармане. Теменевский театр славился в целом околотке благодаря неусыпному попечению своих режиссеров Шрейна и Поченовского. Дворяне и купцы, окончив дневные сделки и раздоры, посещали спектакль с большим удовольствием; хлопали, вызывали, судили, рядили, разделялись на партии, причем, разумеется, сбор был всегда блистательный. А когда публика довольна, а в особенности касса полна, то и режиссерам и приятно и выгодно.

Вот отчего картуз сидевшего в бричке первого комика, трагика и певца был вздернут почти в перпендикулярном направлении. Картуз этот был известен целой труппе и служил ей даже термометром для узнавания начальнических чувств. Когда картуз находился в нормальном положении, это означало, что все идет своим порядком, денег очень мало, душа ничем не взволнована; когда же картуз закидывался к затылку, то между

актерами водворялась общая радость: каждый уже знал, что деньги есть, что жалованье получить можно, что Осип Викентьевич счастлив в супружестве и вполне наслаждается жизнью. Но если, паче чаяния, картуз вдруг нахлобучивался на глаза, то уж всякому становилось грустно: о жалованье никто и думать не смел; всякому было известно, что в кассе нет ни гроша и что в супружеских отношениях свирепствовал раздор.

Итак, неудивительно, что перед открытием ярмарки, которая доставляла труппе самую значительную часть годового дохода, картуз Осипа Викентьевича находился в самом радостном направлении.

Товарищ Осипа Викентьевича, человек характера солидного, немец с ног до головы, был совершенно противоположного свойства. Он почитал унижительным для человеческого достоинства обнаруживать какими-либо наружными знаками внутренние свои чувства. Вид его был всегда строг и важен. В зубах держал он эластический чубучок, на который вдета была известной всем немцам формы фарфоровая трубка с миньютюрным изображением прусского короля Фридриха II.

— Перекитес, — сказал он вдруг своему спутнику, — фи можно фаша картуза потеряфать.

— Ничего, — отвечал ему товарищ с сильным польским произношением, — другой зараз скупим. Ярмарка в сем году, я слышал, будет отличная. А у нас еще балет, чего не было прежде. Придется старикку поплясать, да зато копейку зашибем... Зашибем, что ли?.. А?.. — Тут поляк, как человек веселый, потрепал немца по брюху. Это немцу не понравилось; он вообще не позволял с собой никакой фамильярности и не любил дружеских прикосновений.

— Конец, — сказал он протяжно, — обфеншифифает тело... Мошет пыть упыток достанем.

— Ничего, — отвечал поляк. — Мне Федор Иванович, городничий, добрый приятель... такой приятель... что уж... ну, просто приятель... И долг заплатим и людей своих рассчитаем, да и сами еще разделим какой-нибудь этакой куш — а?..

За бричкой, вмещающей двух оригиналов, тянулась огромная фура, заложенная двумя волами и вся наваленная декорациями, изображающими леса, храмы, комнаты, к сожалению, во многих местах до того размытыми дождем, что иной лес походил на комнату, а иная комната — на лес. Волами правил семидесятилетний па-

рикмахер труппы, обучавшийся некогда своему искусству в Петербурге у камердинера датского посланника. Этот парикмахер исполнял в случае надобности и роль актера с речами или без речей, как случалось; но играть он не любил, потому что оно мешало ему восхищаться взбитыми им тупеями. Во все продолжение спектакля он обыкновенно глядел из-за кулис на свои произведения как каким-то родительским удовольствием и, не слушая ни одного слова из пьесы, следил с трепетным вниманием за всеми движениями актера: не сомнет ли он завитый с любовью локон, не расстроит ли он неосторожно стройную гармонию парика. И теперь он никому не позволил даже взять свои сокровища: «Неравно неосторожно опрокинут», — сказал он и сам важно влез на козлы.

Немного еще повыше, на месте, нарочно для нее устроенном, сидела молодая недурная женщина с большими черными глазами, очевидно первая любовница и примадонна странствующей труппы. В наряде ее была заметна некоторая изысканность: шляпка ее, хотя совершенно полинялая, была ей к лицу; с плеч ее спускалась пестрая шаль, а на коленях держала она с трогательною нежностью одну из тех болонок, которые тогда были в большой моде, а ныне, к счастью, совершенно выводятся. Впрочем, собачка длинной своей шерстью, сердитой мордой, нечесаной гривой, падающей на глаза, и в особенности малым ростом, могла действительно почитаться редкостью.

Примадонна, супруга Осипа Викентьевича, женщина бойкая и своенравная, была совершенно без ума от Амишки, так что в труппе уважали собачонку не менее самого Поченовского. Злые языки утверждали, что Амишка была залогом самых нежных воспоминаний, что она получена была в подарок от какого-то офицера, при одном имени которого картуз Поченовского шевелился на его голове и падал прямо на брови. Несмотря на то, Поченовский, испытав силу воли и твердость характера своей нежной половины, был в полном ее повиновении, а актеры, нуждающиеся вечно в деньгах, наперерыв ласкали Амишку, кормили ее сахаром, гладили и даже приятно смеялись, когда она кусала им пальцы.

Посреди декораций и разных коробов, заключавших достояние и гардероб театрального общества, ежились кое-как еще три женщины: одна удивительно толстая и старая, в душегрейке, с повязанным на голове платком,

исполнявшая преимущественно роли испанских королей; другие обе, также одетые по русскому мещанскому обычаю, были не что иное, как первая певица, исключенная из московского хора за негодность, и первая танцовщица, во время оно танцевавшая изрядно до тех пор, пока не вывихнула ноги.

За фурой ехала парой телега, на которой сидели еще две женщины, годные на все роли, и три актера в тулупах: благородный отец, злодей и машинист, исполнявший комические амплуа. Кругом этого шествия, по сторонам и среди, толпилось просто пешком еще несколько молодых людей, попавших на жалкое поприще странствующих актеров — кто от бедности, кто от пьянства, а двое из них и по любви к искусству. Молодость везде страдает каким-то беспокойством, всегда увлекается самыми грубыми обманами и, по недостатку других искушений, находит даже какое-то обманчивое очарование в ободранной сцене провинциального театра. Но укорять ее в заблуждениях не следует. Этому-то беспокойству, этому юношескому волнению мы обязаны тем, что люди даровитые не погибают в тени, а выходят наружу, образуются, совершенствуются и делаются наконец достоянием народной славы.

И в этом обществе бродяг находился тогда человек, молодой еще, но уже далеко обогнавший всех своих товарищей. В душе его уже глубоко заронила любовь к истинному искусству, без фарсов и шарлатанства; и уже тогда предчувствовал он, как высоко призвание художника, когда он точным изображением природы не только стремится к исправлению людей, что мало кому удается, но очищает их вкус, облагораживает их понятия и заставляет понимать истину в искусстве и прекрасное в истине. Весело, беспечно шла себе молодая гурьба, попрыгивая, посвистывая, меняясь шутками, затверживая роли, напевая куплеты, перекидываясь камешками. Солнце садилось, когда странная процессия торжественно вступила в город Темнев, ровно за два дня перед началом ярмарки и открытия театра.

Через два дня супруга городничего Глафира Кировна стояла как-то по-домашнему, в кацавеечке и папильотках, у окна своего и посматривала на обыкновенный беспорядок начинавшегося базара. По улице тащились обозы, кибитки с бородатыми купцами, несли доски, суетились рабочие люди. Глафира Кировна, не

избалованная столичными прихотями, глядела на все это с большим удовольствием и немалым вниманием. Ярмарочное время как-то льстило ее самолюбию. Она была уверена, что город некоторым образом находился под ее начальством и как бы составлял часть ее собственности. Дочь небогатого соседнего помещика, она вдруг из робкой девочки сделалась властительной барыней, требующей надменно должного сану ее почтения. В соборе становилась она на первом месте и жаловалась со слезами мужу, когда кто-нибудь осмеливался на улице не снять перед ней шапки. Глафира Кировна любила и подарки, не те полновесные, которые отсчитывались у мужа в кабинете, а всякие модные безделки, шляпки, гребеночки, флакончики и прочий женский вздор. Откупщик и голова не забывали в праздничные дни подносить ей неизбежный свой оброк, в награждение чего удостоивались приглашения к обеду. Городничий был радушный хозяин, мастер жить и большой хлебосол.

Глафира Кировна стояла у окна, поглядывала, поглядывала и вдруг вскрикнула от удивления и восторга: на тротуаре против ее дома шла молодая женщина, довольно развязная и одетая хотя вычурно, но не совсем без вкуса. Впрочем, Глафира Кировна, по неодолимому женскому чувству, скинула наряд ее с ног до головы только самым беглым взором. Все внимание Глафиры Кировны было обращено к прелестной собачонке, которую молодая женщина вела на длинной розовой ленте. Никогда Глафира Кировна подобной собачки не видывала: собою крошечная, шерсть до пола, морда — загляденье, хвост — чудо, словом — прелесть!

«Да это, кажется, Поченовская, — подумала Глафира Кировна. — Эге, как начала важничать! Надо отнять у нее собачку. Непременно скажу мужу. Этакую собачку можно иметь разве мне, а простой актерке вовсе неприлично».

В эту минуту парные дрожки остановились у подъезда, и городничий в полной форме вошел в комнату. Он ездил являться к чиновнику, присланному из губернского города для наблюдения за ярмаркой, и казался довольно расстроенным.

Не успел он войти, как жена его бросилась ему на шею.

— Феденька, любишь ли ты меня?

— Полно, матушка, что за вздор такой!

— Феденька, любишь ли ты меня?

— Да что с тобою, мать моя?

— Милочка, душенька, любишь ли ты меня?

— Ну, известно, люблю. Что тебе надо?

— Ты видел собачку?

— Какую собачку?

— Вот сейчас прошла Поченовская. Так важничает, что ни на что не похоже. Вообрази, ведет она собачку...

— Ну так что ж?

— Нет, что за собачка — представить нельзя! Я и во сне такой не видывала. Вся, кажется, в кулак — совершенно амурчик.

— Ну...

— Феденька, ты не хочешь, чтоб я умерла?

— Да что за вздор такой!

— Феденька, подари мне эту собачку, а то, право, умру. Жить без нее не могу... умру, умру! Дети останутся спротами...

При этой мысли Глафира Кировна заплакала.

— Э, матушка, — сказал, пожимая плечами, городничий, — давно бы ты сказала. Мне, право, не до пустяков теперь. Чиновник-то себе на уме; с ним не легко будет сладить. Ну да бог милостив, и не таких видали. А о собачке ты, матушка, не беспокойся. Я думал, бог знает что случилось. Просто скажу два слова Поченовскому — он мне старший приятель, — и не заикнется даже; принесут тебе собачку. Да вот что: прикажи-ка подать сюртук да рюмку полынного. У начальника дрожь пробрала.

— Сердитый, что ли? — с заботливостью спросила жена.

— И, матушка! До поры до времени все они сердитые. Иной просто конь, так и ржет и лягает — подойти страшно; а потом пообладится, смотришь, как шелковый, так везде хорош, что лучшего не падо. Главное только, с какой стороны подойти. Ну да прощай, матушка. Надо взглянуть в лавки: что за товар привезли? Ты в театр пойдешь вечером?

— Не могу, Федор Иваныч: душа неспокойна. Пока эта собачка будет у актерки, никуда не пойду, а в особенности в театр. Ты смотри, она еще ломаться станет, точно чиновная какая-нибудь, наша сестра. Уж такая амбиционка, что из рук вон, смотреть гадко! Ты один ступай в театр, а я не пойду ни за какие сокровища,

просто не пойду. Что играют? — спросила она с любопытством.

— Дон-Жуана какого-то.

Городничиха немного задумалась.

— Нет, — сказала она решительно, — не пойду.

— Ну как хочешь, матушка, — хладнокровно отвечал ей муж.

После чего пошел в свой кабинет, переоделся, закурил и, сев снова на дрожки, отправился в ряды.

Теменевский городничий был в самом деле прекрасный человек. В полку, где он служил, его решительно все любили за кроткий нрав, за всегдашнюю веселость. Он всегда слыл верным другом, хорошим начальником, почтительным подчиненным. Супруг внимательный, отец чадолюбивый, он любил жить в кругу своего семейства и занимался с истинной любовью воспитанием любезных детей своих. В отношениях своих по службе он никогда неправого дела не делал, больниц и острогов не обкрадывал, нищим помогал и если иногда и пользовался кое-какими доходами, то это совершалось вследствие особенных расчетов, а не притеснений. Никто не лишился из-за него своего насущного хлеба, никто не пролил слезы от его жестокосердия. Он был примерный городничий, и теменевские жители благословляли свою судьбу.

Когда он явился в ряды, купцы, завидевши его издали, кланялись ему в пояс, а он благосклонно с каждым разговаривал, много расспрашивал про дела, другого трепал по плечу, третьего в шутку щипал за бороду, — словом, был мил и любезен, как только можно быть городничему. К тому же в каждой лавке хвалил он что-нибудь с особым восхищением. В одной крупа казалась ему редкой доброты, в другой железный товар изумлял его своей прочностью; в одном месте ему кофе чрезвычайно нравился, в другом сахар приходился ему необыкновенно по вкусу. О красном товаре и говорить нечего: все решительно нравилось. При таковых похвалах купцы немного морщились, однако ж кланялись униженно, просили осчастливить распить тотчас бутылочку в лавке или удостоить пожаловать в дом на угощение. Но городничий отказывался, по принятому правилу, от угощения и продолжал себе гулять по рядам, расточая повсюду похвалы и отвечая милостиво на обе стороны почтительным поклонам и кудреватым приветствиям.

В эту минуту встретился он с Поченовским, который

весело шел с репетиции. Каргуз его едва держался на затылке: билеты для вечернего спектакля были уже все разобраны.

— Э, брат Осип! — закричал городничий.

Надо заметить, что Федор Иванович, исключая свои прочие качества, был любителем искусств и охотником до литературы. Театру покровительствовал он в особенности, нередко угощал у себя режиссеров и даже, забыв начальническую важность, называл просто немца Адамычем, а поляка — Осипом.

— Эй, Осип! — закричал он. — Старый дружище! Откуда?

Осип поклонился с видом почтительной дружбы.

— С репетиции, ваше высокоблагородие.

— Хорошо, братец, хорошо! Ну, не нужно ли вам чего? Не прислать ли десятских из пожарной команды для балета? Не потребуется ли чего по части полиции?

— Покорнейше благодарим. Если изволите, попросим.

— Отчего же, братец? Рад помочь старому другу. Ты на меня жаловаться не можешь: кажется, хорошо вместе живем.

— От души чувствую.

— А сбор-то нынешний год будет, кажется, порядочный. Я этаким ярмарки не запомню.

— Дай бог.

— Хорошо, братец, хорошо! Радуюсь, радуюсь. Смотри же не оплошай вечерком. Ты играешь Дон-Жуана?

— Я-с.

— Ну, хорошо, брат! Посмотрим. Прощай, Осип.

— Прощайте, ваше высокоблагородие.

— Да бишь... Осип! Забыл совсем. Какая у тебя там собачка?

— Собачка-с?

— Да. Глафира моя Кировна увидела у жены твоей какую-то собачку — так ею и бредит. Пришли, пожалуйста.

Поченовский побледнел.

— Ваше высокоблагородие, требуйте чего хотите: душу отдам, а собачки невозможно.

Городничий нахмурился.

— Послушай, Осип, не советую, брат, тебе со мною ссориться. Мы, кажется, были до сих пор друзьями. Ты

знаешь, я тебя люблю и готов всегда помогать. Иногда бы и не следовало, да уж ты мой характер знаешь: не могу отказать приятелю.

— Чувствую, ваше высокоблагородие.

— А кажется, я ничего от тебя не требовал. до сих пор, жил как с родным братом.

— Чувствую, ваше высокоблагородие.

— То-то же. А вот в первый раз попросил самого вздора — собачонки, так и невозможно.

— Ваше высокоблагородие, собачка-то не моя, жены моей. Я бы не только отдал ее, задушить готов. И что в ней? Предьянная. Да вы жену мою знаете. Собачка дрянь, лает все, мерзкая, кусается, поганая шельма. С ней не сладить, с женой моей. Не отдаст, я ее знаю, не отдаст. Разве вы прикажете.

— Эх! Видно, ты баба, Осип, что с женою сладить не можешь.

— Ваше высокоблагородие, — продолжал плачевно Поченовский, — вам ведь известно: жена моя такого характера, что иной раз в петлю бы готов. Я и не смею сказать ей о собачке: глаза выцарапает. Посудите сами, ваше высокоблагородие, после и играть нельзя будет. Будьте милостивы, Федор Иванович, прикажите сами: вам она отказать не посмеет.

— Хорошо, брат, хорошо, я ей уже скажу, да и ты постарайся; только изволишь видеть, мне бы хотелось свою Глафиру собачонкой потешить.

С этими словами они разошлись.

Вечером происходило в мучном сарае торжественное открытие театра. Все места без исключения были заняты зрителями. Сбора было с лишком тысяча рублей. Губернский чиновник сидел с детьми в особой ложе, украшенной красным коленкором, на котором ярко отделялась золотая бумажная лира. Публика слушала с большим вниманием, может быть оттого, что темнота залы не позволяла ей заниматься посторонними предметами, а принуждала глядеть прямо на сцену. Все, однако ж, были очень довольны. Поченовский до того кричал и махал руками, что, несмотря на свое польское произношение, вынудил громкие рукоплесканья. Представление вообще шло удачно. При самом только окончании случилось маленькое несчастье. Надо знать, что обыкновенно употребляемая декорация ада оказалась, по случаю проливных дождей, совершенно негодною, почему и была заменена дремучим лесом; для придачи же эффекта

из облаков вылетала фурия, которая схватывала в объятия свои трепещущего Дон-Жуана и не ввергала его в преисподнюю, что как-то слишком обыкновенно, а увлекала его с собой на воздух. Механизм полета был самый несложный. На двух перекладных, на потолке, протянут был между двумя гвоздями толстый канат, к которому фурия была привязана. Здоровые молодцы, пользующиеся за то правом смотреть на комедию из-за кулис даром, спускали помаленьку канат к полу. У Дон-Жуана приделана была сзади железная петля, а у фурии спереди железный крючок. При воплях и отчаянии безбожника она должна была искусно вдеть крючок в петлю и, по объясненному способу, вдруг подняться, к ужасу зрителей, с жертвой своей прямо к потолку. К сожалению, успех не увенчал предприятия. Во-первых, роль фурии исправлял какой-то трусливый актер, который, чтоб внушить себе более бодрости, выпил не в меру и, сидя на перекладине, охьянел совершенно; во-вторых, или веревка отсырела, или гвозди были дурно прибиты, только фурия не ринулась стремглав, как молниеносная кара, а начала спускаться, кружась по сцене совершенным коршуном. Сперва показали ее красные сапоги, потом ее пестрое платье и страшная ее рожа с ужасным париком, над которым старый парикмахер трудился с любовью целый день. Страшная эта фигура, барахтаясь телом во все стороны, вертелась, как волчок, около пяти минут и наконец, достигнув с трудом пола, стояла бледная, испуганная, вылучив глаза, одурев совершенно. Напрасно Дон-Жуан ревел диким зверем, напрасно указывал он судорожно за спиною на роковую петлю: фурия, утомленная собственной пыткой, не шевелилась с места. Страшный грешник побежал наконец навстречу к своему наказанию, тщетно пытался спиною, тщетно подтопывал, чтоб как-нибудь попасть на крючок, фурия также подтопывала, также припрыгивала, пошатываясь со стороны на сторону, — тщетно: крючок не цеплялся! Долго продолжалась эта непредвиденная сцена. Наконец, так как фурия все еще была не в себе и отказалась, как было видно, от страшного своего призванья, занавес опустился, и порок остался ненаказанным. Само собою разумеется, что по спущении занавеса драма превратилась в балет. Дон-Жуан сбросил с фурии парик и, схватив ее за собственные волосы, мгновенно вывел ее из оцепенения. Впрочем, теменевская публика не гонялась, видно, за мелочами, а, выходя из театра, хвалила силь-

ный голос актера и громко рассуждала о завтрашнем спектакле.

Городничий, с своей стороны, отправился за кулисы поздравить игравших с успехом и сбором, а между тем напомнить и о собачке. Но тут он встретил такое сопротивление, какого вовсе не ожидал. При предложении его Поченовская вся изменилась в лице и решительно объявила, что она ни за что в мире собачки своей не отдаст.

— Да муж ваш обещал, — прилгнул городничий.

— Так возьмите ж мужа! — вспыхливо отвечала Поченовская. — О нем я уж, верно, плакать не стану, а собачки моей вам не видать, как ушей своих. Она мой единственный друг, мое утешение, моя радость; я и живу только для нее; я умру, умру без нее! Мы вам не слуги. Вы не смеете нам приказывать. Вот еще что выдумали! Не отдам Амишки, скорей милостыню стану просить, а не отдам! Не отдам! Не отдам!

Голос примадонны дошел до самого пискливого дисканта, а городничий, немного обиженный неожиданной дерзостью и таким отсутствием всякого приличия и повиновения, обратился к остолбеневшему Дон-Жуану:

— Послушай, брат Осип, мне не по чину, да и некогда, правда, перегрызывать с твоей барыней. Это твое уж дело. Уломай ее как тебе угодно. Ты меня знаешь: я человек добрый; но из терпенья всякий выйдет. Сделай одолжение, любезный, не заставь меня поступить с тобой не по-дружески. Ведь ты меня к этому принудишь. Мне уж давно надо сделать пример. Сам не рад, а делать нечего. Пожалуйста, братец, не принуждай меня пример этот именно над тобою сделать. Эх, брат! Вот, ей-богу, не хотелось бы с старым приятелем ссориться. Слушай же меня: выпроси у жены собачку, выпроси непременно. Каким образом — сам знаешь. Побей, если хочешь, это дело супружеское, для того ты и муж, только чтоб завтра в семь часов утром собачка была у меня — слышишь ли? Не будет — так уж пеняй на себя, сам будешь виноват. Я тебя предварял по-дружески.

Тронутый таким добродушием, Поченовский с трепетом обещался употребить все старания, чтоб выманить от жены предмет угрожающего раздора. Городничий потрепал его по плечу, пожелал от души успеха и отправился домой, откуда немедленно послал пригласить к себе на чай уездного архитектора.

Поченовский отправился, скрепясь сердцем, уговари-

вать жену; но жена была уж приготовлена. Во-первых, собачка была запрятана где-то в надежном месте, под замком, во-вторых, как только оробевший супруг заикнулся об Амишке, она угостила его таким криком, осыпала такими ругательствами, что бедный режиссер не знал куда деваться. В довершение бросила она ему в лицо все, что ни попало ей под руку, вылила на него целый рукомойник воды, вытолкала за двери и заперлась двойным замком. Злополучный Дон-Жуан, изгнанный из собственного жилища, пошел в трактирное заведение, где пропил целую ночь, а к утру, отчаянный и пьяный, заснул под лавкой.

На другой день утром, в семь часов, городничий пил кофе и курил трубку.

— Эй, малый! — закричал он.

Вошел малый в три аршина.

— Приходили от Поченовского?

Малый заревел басом:

— Никак нет, ваше высокоблагородие.

— Приносили собачку?

— Никак нет, ваше высокоблагородие.

— Ну, нечего делать, — продолжал, пожимая плечами, Федор Иванович, — сам виноват; а кажется, говорил ему по-дружески. Позвать сюда писаря!

Явился писарь с пером за ухом.

Городничий посадил его к столу, дал лист бумаги и приказал писать рапорт следующего содержания:

«Г-ну главному чиновнику, надзирающему за ярмаркой.

Прилагая неусыпное старание к обозрению всех частей и составов вверенного мне города, не щадя сил своих и здоровья, а священным долгом поставляя себе усиливать наблюдение свое в многолюдное время ярмарочного сбора, ибо небезызвестно вашему высокоородию, что при большом стечении народа могут возникнуть такие случаи, от которых ужасается человечество и страждут невинные жертвы, и, кроме того, могут нанести обидные о нерадении полиции толки и слухи; во избежание чего, донося подробно вашему высокоородию о всех случившихся в городе происшествиях, долгом поставляю присовокупить, что вчерашнего числа вечером замечено мной, что сарай, в котором назначены на нынешний год увеселительные представления труппы гг. Шрейна и Поченовского, пришел в такую ветхость, что

ежеминутно угрожает паденьем, могущим лишить жизни мгновенным убийством посещающих театр зрителей; а как мне известно заботливое попечение вашего высокородия о благе народном и в то же время для ограждения своей ответственности и по долгу службы моей, почтительнейше имею честь донести вашему высокородию об оном сделанном мною замечании, испрашивая милостивого вашего разрешения: не благоугодно ли будет приказать вышеозначенный сарай запечатать и дальнейшие представления, весьма, впрочем, в деле своем искусных и похвальных комедиантов, прекратить для избежания могущих быть несчастий и для охранения, по мере возможности, жителей вверенного мне города».

Рапорт запечатан и отправлен по принадлежности. Надо отдать справедливость Федору Ивановичу, что он при таком решительном поступке был немного расстроен и выкурил свою вторую трубку совершенно без удовольствия. Между тем писарь, который пользовался даровым местом в партере и нередко гулял с некоторыми второстепенными артистами по заведениям различного рода, ужаснулся угрожающей им беде. Недаром говорят, что истинные друзья узнаются в злополучии. Писарь бросился к другу своему, благородному отцу и большому пьянице. Благородный отец в ужасе побежал к Шрейну. Отыскали Поченовского под лавкой — и загадка неслыханного гонения объяснилась. Как быть? Что делать? Во что бы ни стало надо было отыскать средство, чтоб отклонить угрожающую гибель.

Закрытие театра не только лишало режиссеров ожидаемых барышей, но и целую труппу — дневного пропитания. Читателю, может быть, неизвестно, какими скудными средствами существуют провинциальные театры и что значит для них ярмарочное время. Нередко из-за грязных кулис выглядывает безобразная нищета со всеми ее последствиями: с голодом, с болезнью, с безыменными мучениями. Нередко бедный актер истощает последние свои силы для забавы публики, чтоб достать кусок насущного хлеба, чтоб купить немного дров и согреть мерзнувшее семейство. Труппа Шрейна и Поченовского подлежала той же горькой участи, полагая все надежды свои о годовом существовании на сборы ярмарочного времени. А покамест все действующие лица были наняты в долг, костюмы, хотя и незавидные, были собраны кое-как также в долг, квартира была нанята

также в долг, харчи отпускались также в долг. Все это, разумеется, во ожидании будущих благ, на счет грядущих доходов. И если театр запирался — долги оставались неоплатными, Дон-Жуан попадал в острог, любовницы, злодеи и комики должны были просить милостыню на большой дороге, чтоб не умереть голодной смертью.

Шрейн, однако ж, остался горд и важен, как бы ни в чем не бывало. Как человек законный: «Мой снает, — сказал он, — мой снает. Я буду шаловать нашалоству».

Надо знать, что Шрейн пользовался расположением губернского чиновника, потому что, по своему званию танцмейстера, учил детей его танцевать, и, разумеется, безвозмездно. Как сказано, так и сделано.

Губернский чиновник был человек надменный и весьма горячий. Узнав от Шрейна странную месть городничего, он до того стал кричать, что немец сам испугался.

— Я, — кричал он, — покажу ему, что значит шутить со мной! Да это мошенничество, разбой! Помилуйте... грабеж, настоящий грабеж! Он меня еще не знает. Я упеку его туда, куда вóров костей не заносил. Под суд нынче же отдам. Я его уничтожу. Лоб ему, мошеннику, забрею. Его мало в Сибирь, на каторгу его сошлю. Уж будет он меня помнить. Что ж он, в самом деле, думает, что он барин здесь. Я уж выбью из него спесь, я уж с ним разделаюсь, я уж его...

Шрейну при таком страшном гневе стало жаль городничего. Как ни говори, человек хороший, с семейством. Неужели идти ему в каторгу из-за собачонки? Добрый немец вздумал было уже просить за него пощады.

— Нет! — кричал чиновник. — Уж теперь он в моих руках, уж не уйдет теперь, не вырвется, голубчик. Теперь, брат, поздно. Я давно до него добираюсь. Что он думает, что я не знаю, где сумма на пожарную команду — а? А с каждой лавки что он берет — а? По красненькой — а? По беленькой? А откущик-то один — а? Что дает — а? А там обеды давать — а? Ужины, гостей угощать казенными деньгами — а? Вот посмотрим, как он теперь заживет! Послушайте, — продолжал он грозно, обращаясь к секретарю, — сейчас же послать строжайшее предписание архитектору, чтоб он бросил все дела и сейчас же отправился освидетельствовать театр.

Чтоб чрез два часа он представил мне рапорт; не то с вас взыщу — слышите ли? А ты не жалея о негодяе: ему туда и дорога, — сказал он ласково Шрейну. — Ступай к детям, любезный. Спасибо тебе, что открыл мне неправо дело.

Шрейн чувствительно поблагодарил чиновника за горячее заступничество и отправился давать свой урок. Во время урока он, по обыкновению, был важен, сгибал колени, вытягивал ноги, иногда припрыгивал, но не изменял никогда своего сурового вида.

Заплатив, таким образом, долг благодарности, Шрейн отправился на репетицию, так как вечером он должен был танцевать грациозный *pas de deux*, а потом плясать по-цыгански, что, как известно, очень нравится у нас некоторому сословию людей. У мучного сарая толпился народ. Шрейн подошел поближе — и как изобразить его ужас! Среди толпы собравшихся у входа комедиантов уездный архитектор флегматически припечатывал двери театра огромною казенною печатью. Вокруг него раздавался глухой ропот негодования. Испанская королева, положив руку на ладонь, плакала навзрыд, приговаривая разные похоронные изречения. Старый парикмахер заботливо укладывал в коробках выброшенные из сарая парики. Поченовский, с картузом на носу и скрестив на груди руки, ходил длинными шагами взад и вперед. Прочие, пораженные и бледные, стояли в разных кучках и говорили шепотом между собой.

Архитектор, не обращая внимания на общее отчаяние, хладнокровно окончил свое дело и отправился донести начальнику, что сделанное городничим донесение совершенно основательно, что театр еще может к вечеру обрушиться и что потому, для избежания страшного несчастья, он принял уже надлежащие меры и строение запечатал по обязанности своей службы.

Когда он ушел, между актерами началось совещание: что делать? Думали, толковали, жаловались, сердились. Шрейн бросился было снова к чиновнику, но чиновник был занят важными делами и никого не велел принимать, а между тем у кассы толпились охотники, требующие билетов для вечернего спектакля. Как быть? По долгим прениям решено следующее: объявлять на требования билетов, что билеты только будут готовы через два часа и потому в настоящую минуту не раздаются; приставить сторожа прямо спиной к роковой печати, чтоб не разнесся по городу слух о случившемся происшествии.

вии; наконец, идти Поченовскому с повинной головой к городничему и просить помилования.

Федор Иванович, как видно было, ожидал этого визита. Когда Поченовский, расстроенный и бледный, ввалился к нему в комнату, он только покачал головой.

— Что, брат Осип? Говорил я тебе...

— Ваше высокоблагородие, да вы нас губите.

— Знаю.

— Да ведь мы целый год этой ярмаркой живем. Все у нас в долг забрато. Чем нам теперь заплатить?

— Знаю.

— Да вы нас нищими хотите сделать.

— А кто виноват? Просил я тебя не заставляя меня делать над тобою примера.

— Взмилуйтесь, Федор Иваныч.

— Нет, жаловаться ступай.

— Не я, Федор Иваныч, не я, я не виноват, я ваш старый приятель. Немец проклятый ходил.

— Ну и проси своего немца.

— Ваше высокоблагородие, что мне делать? Ну, просто застрелюсь.

— То-то, брат, потише теперь. А что взял? А?

— Федор Иваныч, так и быть, украду собачонку и принесу вам, простите только.

— Нет, брат, теперь другая история, теперь собачкой не отделаешься.

— Что ж прикажете?

— Послушай, Осип,— сказал более благосклонно городничий,— я тебя люблю, ты знаешь, мне жаль тебя. Я бы и простил тебе, да теперь время такое, не могу, сам видишь, не могу: что станут в народе говорить? Пример будет дурной, послабление. Нельзя, брат, право нельзя. Пеняй на себя, попался сам; не послушал приятеля — самому больно. Кажется, заплакал бы, а делать нечего: пример нужен. Не взыщи уж, любезный, теперь. Вот мои последние условия: пятьсот рублей мне, триста рублей архитектору, жене шаль в триста рублей, да и собачку.

— Как!.. — воскликнул Поченовский.

— Да так. Право, не дорого. Другой бы содрал с вас втрое дороже, да уж ты мой характер знаешь: не могу не уважить старого друга. Эй, брат, теперь послушайся меня, не то худо будет! Я говорю тебе как друг. Принесешь деньги — сейчас же открою театр, не при-

несешь — так и всю ярмарку не будете играть, — пеняй на себя. Тысяча рублей теперь небольшие для вас деньги: в один вечер соберете. Послушайся приятельского совета, Осип, не теряй времени. Ступай за деньгами — сейчас же открою театр.

— Да как вам это можно сделать? — спросил Поченовский. — Ведь театр запечатан.

— Уж это не твое, братец, дело. Я человек честный, дам слово, так сдержу, будь покоен, одолжу. Только, братец, ты и обо мне подумай: ведь не жалованьем же жить. Небось узнают в народе и станут говорить: уж когда Федор Иванович с приятелем так поступил, так что ж он с нами станет делать? Понимаешь ли? А мне того-то и надо; вот зачем и пример-то мне нужен. А то бы, право, простил.

— Да господин чиновник... — робко вымолвил Осип. Городничий улыбнулся.

— Об этом тоже, брат, не беспокойся. Велик гнев, велика и милость. А ты мне денежки давай скорей.

Поченовский подумал, подумал, повертелся на стуле, видит, что дело решено, встал с места, поклонился и вышел.

— Не забудь собачки! — закричал ему вслед городничий.

Между тем толпа актеров все дожидалась с беспокойством у театра. Рослый сторож стоял как истукан в своем месте. Все ожидало с трепетом. Наконец появился Поченовский из-за опущенного картуза. Но когда он объявил неслыханное требование градоначальника, общее уныние обратилось в общее отчаяние. Шрейн вздумал было противиться. «Мой, — кричал он, — покажет мой его!..» Поченовский покачал головой: он лучше понимал жизнь.

Воля Федора Ивановича непреклонна, как судьба. Он уж знает, что он делает. А печать тут, хоть и за спиной сторожа, а никакая сила не оторвет ее без городничего.

Испуганные актеры убедились в грустной истине и действительно приступили к своим режиссерам, чтоб они пожертвовали вчерашним сбором. И точно, ничего более не оставалось делать. Единственная тысяча, хранившаяся целую ночь в удивленной кассе, вынута со вздохом и едва ли не со слезами. Отправились купить шаль, причем выторговали десять целковых в ущерб Глафиры Кировны, потом в один пакет положили триста рублей,

в другой пятьсот. Но всего этого было еще мало: надо было достать еще собачку — главную причину разразившегося бедствия.

Историческая точность требует от меня сознания, что Поченовский отправился в ряды, купил два чубука надлежащей толщины и уж только с этим вооружением возвратился скрепя сердце на свою квартиру.

Теперь перо выпадает из рук, решительно отказываясь начертать гнусную картину супружеских увещаний. Довольно того, что увещания продолжались более двух часов и что по окончании оных чубуки были в дребезгах, примадонна лежала в обмороке, а режиссер с испарянным лицом, с растерзанным платьем и даже вовсе без картуза выбежал на улицу, судорожно стиснув в руках пищащую собачку. Через полчаса требованная городничим дань была ему доставлена, а через час с небольшим в кассе выдавались билеты, до того истертые и грязные, что трудно было определить, как и где их приготавливали. Театр был открыт.

Вот каким образом: уездный архитектор представил начальнику второй рапорт, в дополнение к первому.

В первом было сказано, что театр угрожает немедленным разрушением, а во втором — что наука предлагает средства к предохранению подобных случаев. А потому, зная любовь господина губернского чиновника к искусствам и попечение его о благе общем, он, архитектор, не теряя времени, немедленно приступил к починке театрального здания, установив в нем надежные контрфорсы и стропилы, так что в настоящем виде не представляет оно более никакой опасности, и потому объявленные уже представления могут быть дозволены.

Исполнив обязанность службы и приличия, господин архитектор отправился в театр, оттолкнув сторожа, сорвал печать, важно вколотил где-то два гвоздя и торжественно объявил, что сарай не только не подлежит никакой опасности, но что он выстроен из такого удивительного леса, что он в этом виде еще десять лет простоять может.

Вечером театр был снова полнехонек. Объявленный спектакль удался совершенно, и никакого несчастья не последовало. Молодой человек, о котором упомянуто в начале сего рассказа, как-то странно вдохновился всем тем, что он видел в течение целого дня. Он играл комическую роль приказного! И играл с таким одушевлением, выразил с такой истиной смешную безнравственность

его понятий, что зрители смеялись целый вечер до упаду; разошлись; однако, с чувством какой-то глубокой грусти, тяжкого негодования. Pas de deux и цыганская пляска возбудили тоже немалое удовольствие. Только то не понравилось публике, что на чертах плясуна не изображалась неизбежная приятная улыбка. Шрейн никак не был в состоянии скрыть внутреннюю свою досаду и танцевал вприсядку с самой ожесточенной физиономией.

По окончании спектакля городничий пригласил режиссеров и молодого отличившегося художника к себе на ужин и мировую. Один Шрейн отказался довольно грубо и сердито пошел домой. Поченовский же подумал в себе: «Деньги отданы, отчего же и не поужинать?» Осип Викентьевич был человек не злопамятный, он согласился на зов и повлек молодого художника с собой.

Ужин был великолепный. Федор Иванович задал пир на славу, уж хотел себя показать. Глафира Кировна, вся в локонах, разодетая в пух, нянчилась с своей собачкой, называла ее купидончиком, купидошкой, кормила ее сладкими и была в полном восторге. Вероломная собачонка, казалось, совершенно забыла свою прежнюю владительницу и не хуже просителя подслуживалась к городничихе. Было несколько гостей, стряпчий, архитектор и другие городские сановники. Сели за стол, и начали обносить кушанья и напитки. Подали рыбу в полтора аршина и sprysнули ее мадерой или, как сказал стряпчий, любитель музыки: *allegro moderato*¹. Подали соус — и запили его сотерничком, подали жаркое — и начались тосты. Шампанское так и лилось рекой. Пили за здоровье городничего, потом за здоровье Глафиры Кировны, которая не выпускала и во время ужина собачки из рук. Пили за здоровье всех присутствующих и отсутствующих друзей, пили за тайную мысль каждого, за здоровье любезной в частности и прекрасного пола вообще, пили за благоденствие театра, за процветание его на многие веки. При этом возгласе городничий распростер объятия — и Поченовский, красный как клюква, бросился с чувством к нему на шею. Оба были сильно растроганы, а у городничего даже слезы навернулись на глазах.

— Осип, — сказал он печально, — не грешно ли тебе,

¹ умеренно скоро (ит.).

до чего довел ты меня. Побойся бога. Ты с старым другом поступил как с злодеем каким-нибудь. Не ожидал я, брат, этого от тебя. Ведь ты принудил меня над тобою пример сделать. Войди и в мое, братец, положение. Не пожалел ты обо мне. Право, и мне не легко. Вот так бы хотел помочь, да нельзя, сам видишь — нельзя было. Грешно тебе, Осип! Дурно, брат, нехорошо!

— Виноват, ваше высокоблагородие, — вымолвил Поченовский.

— Я не сержусь на тебя, — продолжал городничий, — я это говорю из любви к тебе. Запомни мой совет, не надейся на других и кончай сам всякое недоразуменье. Вот, например, у тебя дело с городовым, с городовым и кончай — это тебе будет стоить синюю ассигнацию и два стакана пуншу. Не захочешь, пойдешь к частному, там уж подавай беленькую да ставь шампанское. Выше пойдешь — там уж пахнет сотнями, а дело все-таки кончит тот же городской, и все за ту же синюху да за два стакана пуншу. Так уж лучше ты и кончай с ним. Поверь мне, братец, я друг твой и желаю тебе добра. Вот не послушался ты меня — и сам теперь не рад, и меня, приятеля, старого друга, принудил поступить строго. Забыл старую дружбу, разогорчил, обидел, сокрушил совершенно!..

Голос Федора Ивановича сделался до того жалостен, что Поченовский, проникнутый чувством своей виновности, не знал даже, как извиняться. Молодой художник был принужден за него вступиться.

— Все это правда, ваше высокоблагородие, — сказал он робко, — да наказание-с-то, кажется, строгонько.

— Эх ты, молодой человек, молодой человек, — продолжал, пожимая плечами, городничий, — мало ты, видно, жил на свете. Ведь я, братец, человек семейный, дети, жена — это чего стоит? Мое дело, известно, незавидное; придет недобрый час, и попал под суд, а там и след простыл, да у детей-то кусок хлеба, у жены деревенька, где она может жить по своему дворянскому званию, — так поневоле тут лучшего друга прижмешь. Не все быть беленьким, поневоле сделаешься и черненьким, а нельзя без этого. Вот, изволишь ты видеть, вчера прошелся я по рядам, похвалил то и другое. Купцы, бестии, кланяются да только бороду поглаживают, а небось узнали нынче, какой я над Осипом пример сделал, так изволь-ка на окно взглянуть, вот оно, что я похвалил вчера... так и стоит рядком.

Молодой человек взглянул на окна: на них действительно была навалена целая громада кульков, свертков, товару всякого вида и объема.

— А что бы ты на то сказал,— продолжал городничий, наклонясь на ухо к своему собеседнику,— если и сам-то я иначе делать не мог, если б с ярмарки-то надо было мне самому поднести господину губернскому чиновнику пятнадцать тысяч рублей,— ты мне их, что ли, дашь?..а?..

Молодой человек взглянул на городничего с удивлением и ужасом.

Вот какие еще бывали на святой Руси случаи сорок лет назад!

МЕТЕЛЬ¹

Графу П. В. Орлову-Денисову.



нег падал густыми хлопьями. По саратовской дороге медленно тащилась кибитка, запряженная тремя изнуренными лошадьми. Кругом расстилась снежная равнина, раскидывалась белая степь. Резкий ветер гулял на просторе. Было холодно, грустно и мрачно.

В кибитке лежал закутанный в медвежью шубу молодой гвардейский офицер и думал себе от скуки крепкую думу. Он думал о Петербурге, куда спешил на свадьбу к брату; он думал об этом вечно взволнованном, неугомонном Петербурге, который поглотил лучшие годы его молодости и не отдал ему взамен ни светлым покоем, ни радужным воспоминаньем. Он мысленно перебирал свое молодое прошедшее, свои нежные похождения, свое желание любить, свою досаду на вечно обманутые ожидания. В душе его протянулась целая вереница стройных девушек, молодых, прекрасных и нарядных женщин. Все мимоходом кидают ему приветливый взгляд, светскую улыбку, заманчивое слово — и нет тут ничего мудреного: он потомок древнего прославленного рода, он владетель обширного, доходного имения, он богат и молод, проворен и хорош, да и вдобавок танцует с ожесточенной ловкостью — ему почет и место; его и матушки зовут обедать; отцы семейств бегают к нему с визитами; дочери скромно выбирают его в мазурке — он у всех на примете; светские красавицы приглашают его в свою ложу в театр, в свою гостиную на приятельские вечера, где курится столько пахитосов и говорится столько вздо-

¹ Пушкин написал повесть под заглавием «Метель». Я не посмел изменить принятого им правописания. (Примеч. автора.)

ра; иные даже усердно заманивали его в свои сети, другие даже явно враждовали из-за него. Чего бы, кажется, желать ему еще более? Его ли участь не завидна? Его ли самолюбие не удовлетворено? Зачем же какое-то тяжелое, неприязненное чувство свинцовым грузом ложится ему на сердце? Затем, что из этого вихря тревоги и тщеславия он не вынес ни одного отрадного чувства, которое теплилось, *как бы лампада, в его отуманенной светом жизни*; затем, что он хорошо понимал, что не к нему, а к его случайным отличиям устремлялись и взгляды невест и вздохи присяжных красавиц. Он разглядывал странные особенности светской жизни, где страсть еще подчас доступна, но где нет и не может быть приюта той глубокой, беспредельной любви без расчета и развлечений, которая дается немногим, но зато вечно светится, вечно греет и сопутствует до могилы.

Вдруг кибитка остановилась.

— Что это, — закричал офицер, — ты, брат, так едешь, что ни на что не похоже! Ни гроша не дам на водку.

Ямщик слез с облучка, похлопал окоченевшими руками и нагнулся к земле, как будто отыскивая что-то.

— Хороша водка! — бормотал ямщик сквозь зубы. — Вот те и водка, прости господи, с дороги никак сбились.

— Да что ты, слепой, что ли? — спросил с нетерпением офицер.

— Слепой, — бормотал ямщик, — слепой. Вишь, барин каков!.. Вот те и слепой!.. Небось, слепым не бывал. Вишь, погодка-то какая!.. Прости господи! Метель поднялась...

— Так что ж, что метель?

— Что ж, что метель!.. А вот погляди-ка, барин!.. Не дай, господи!.. Вот те и метель!.. Ах ты, господи, господи! Что станешь делать? Грех какой! Гляди, какая поднялась.

Офицер выглянул из кибитки и ужаснулся.

Кто не ездил зимой по нашим степям, тот не может составить себе никакого понятия о степной метели. Сперва валит снег, и ветер порывисто сыплет им во все стороны, не зная отпора и преграды. Земля, как скованное море, покрытое беспредельною, хрупкою скатертью, резко отделяется от черного неба, нависшего над ней другой сплошною, черною степью. Ни птица не пролетит, ни заяц не промелькнет: все безлюдно, мертво, дико, беспре-

дельно и полно суровой таинственности. Один голос начинающейся бури раздается свободно по плоскому пространству и плачет, и воет, и ревет страшными, одной степи известными голосами. Вдруг вся природа содрогается. Летит метель на крыльях вихря. Начинается что-то непонятное, чудное, невыразимое. Земля ли в судорогах рвется к небу, небо ли рушится на землю; но все вдруг смешивается, вертится, сливается в адский хаос. Глыбы снега, как исполинские саваны, поднимаются, шатаясь, кверху и, клубясь с страшным гулом, борются между собой, падают, кувыркаются, рассыпаются и снова поднимаются еще больше, еще страшнее. Кругом ни дороги, ни следа. Метель со всех сторон. Тут ее царство, тут ее разгул, тут ее дикое веселье. Беда тому, кто попался ей в руки: она замучит его, завертит, засыплет снегом да насмеется вдоволь, а иной раз так и живого не отпустит.

Нечего сказать, из петербургского раздушенного, разряженного, блестящего мира вдруг попасть на такой фантастический праздник подгулявшей степной зимы — противоположность слишком резкая. Офицер призадумался и стал озираться с беспокойством. Бальные видения, красавицы и мечты исчезли мгновенно. Дело становилось плохо.

— Не остановиться ли нам?— сказал он нерешительно.

— Остановиться,— шептал ямщик,— как не остановиться? Еще бы не остановиться! Да чтоб хуже не было.

— Как хуже?

— Известно, как хуже: занесет, пожалуй, совсем, а там поминай как звали. Да стужа проймет... Ишь, грех какой! Замерзнешь совсем.

— Ну так ступай же,— закричал офицер,— ступай!

— Да куда я поеду? Вишь, буран какой, зги божьей не видать!

Метель все более и более усиливалась. Положение путников становилось действительно опасно. Кибитка тащилась наудачу по сугробам. Лошади увязали в подвижных снежных лавинах и, тяжело фыркая, едва передвигали ноги; рядом с ними шел ямщик, разговаривая сам с собою. Офицер молчал. Так прошло часа два самых мучительных; метель не утихала. Кибитка все глубже врезалась в навалившийся снег. Офицер уже чувствовал, что резкий мороз обхватывал члены его; мысли его смешивались. Тихая дремота, полная какой-то осо-

бой, дикой неги, начинала клонить его к тихому сну, только вечному, непробудному...

Вдруг вдали мелькнул огонек. Ямщик снял шапку и перекрестился.

— Ну, счастье твое, барин: никак жильё недалеко, не то и кости могли бы здесь оставить.

Почуя близкое спасенье, лошади подняли морды, принаутужились и повезли бодрее. Путники ехали целиком по направлению спасительного маяка. О дороге и думать было нечего. Через несколько времени они подъехали к небольшой избушке, нагнутой набок и как будто забытой в степи откочевавшим селением. Небольшой сгнивший сарай с развалившейся крышей и страшно занесенный снегом печально примыкал к этому бедному жилищу с двумя маленькими окнами, из которых светился огонек.

— Станция! — сказал ямщик и бросил поводья.

На крыльцо выбежал смотритель, помог офицеру выкарабкаться из кибитки, ввел его в комнату и, прочитав дорожную, застегнул сюртук на все пуговицы. В маленькой и душной комнате пар стоял столбом, в парном тумане сверкал самовар и темно обрисовывались туловища, красные лица и бороды трех купцов, вероятно, тоже застигнутых метелью.

Старший из них приветствовал приезжего:

— Никак нашей семьи прибыло. С дороги, ваше благородие, и погреться бы не худо. Просим покорнейше с нашим почтением, коли не побрезгуете с купцами. Сместем просить чайком.

Офицер с радостью принял радушное приглашение и уселся с новыми знакомыми.

Речь завязалась, разумеется, о погоде, о метелях вообще и в частности, о рыбной торговле и проч.

Офицер участвовал, сколько мог, в разговоре, но потом мало-помалу соскучился и начал рассматривать комнату. Слева от двери громоздилась огромная русская печь с лежанкой, за ней стояла двухспальная кровать с периной и подушками и покрытая заслуженным одеялом, сшитым из разных ситцевых лоскутков; между окон находился диванчик, на котором сидели купцы. С другой стороны красовалась еще кровать, но больше, кажется, для вида, сколоченная из трех досок и покрытая войлоком. Рядом стоял стул. Большой сундук и кукушка с неугодным маятником довершали убранство жилища станционного смотрителя. На брусчатых стенах были наклеены предписания почтового ведомства и бегали взапуски

с редкой отвагой, расправляя усы, разные насекомые, много известные русскому народу. В окна стучалась, завывая, метель. Вдруг что-то шаркнуло у крыльца. За дверь раздался младенческий писк, женский говор и здоровый голос мужчины. Смотритель снова засуетился. Дверь распахнулась, и в комнату ввалился отставной капитан с супругой, старой сестрой и маленькой дочкой. Капитан расклаивался сперва с офицером.

— Ну уж погодка! Вы тоже изволите ехать?

— Как видите.

— Издалека?

— Издалека.

— Откуда, коль смею спросить?

— В Петербург.

— А!— Позвольте спросить чин, имя и фамилию?

Офицер назвал себя по имени.

— Как же это вы к нам пожаловали? По службе, конечно?..— Ну, а вы, господа,— продолжал капитан более небрежным тоном и обращаясь к купцам,— в купечестве, должно быть. С ярмарки? Понабили карманы? Пообдули порядком нашего брата, дворянина?

Тут капитан, довольный острою, засмеялся во все горло.

— А вот-с мы едем из деревни, от тещи. Вы не изволите ее знать? Здешняя помещица Прохвиснева... добрая старушка такая. Душ шестьдесят будет. Вообразите, как нарочно, жена говорит мне: «Не езд, Basile, что-то дурная погода». А я, знаете, военная косточка, и говорю: «К черту, матушка! Сказали поход, так и марш!» Что бабу слушать? Баба ведь... черт ее знает...

— Ах, Basile!— прервала, жеманясь, капитанша.— Какие вы всё слова говорите, точно бог знает какой... Тетушка княгиня Шелопаева сколько раз вам говорила, что нехорошо. Нас, право, не знаю, за кого примут, в особенности в дороге, в таком костюме; я, как нарочно, не надела бархатного бурнуса; матушка говорила: надень, а я и забыла. Ах, кстати: ты знаешь, та *sœur*¹,— продолжала она, обращаясь к сорокалетней нахмуренной спутнице, очевидно, старой деве, пропитанной укусом всех возможных обманутых ожиданий,— знаешь ты: мне из Петербурга пишет Eudoxie, что высылает мне манто клетчатый и розовую шляпку с плюмажем? Да все, та *chère*,

¹ сестра (фр.).

зовет в Петербург. «Что же, говорит, вы обещаете, а не едете... Мы так стосковались, и тетушка княгиня Шелопаева все об вас спрашивает». — Капитанша обратилась к офицеру: — Вы, верно, тетушку мою знаете, княгиню Шелопаеву?

— Нет, я незнаком.

— Помилуйте, как же это? К ней вся знать ездит. У ней дом открытый, высшее общество бывает. Вы, верно, о ней слышали?

— Может быть.

— Верно. Она известная там дама.

Девочка запищала.

— Каши хочу, хочу, хочу! Хочу каши!

— Перестань, — заревел капитан, — сейчас перестань, а то высеку, право, высеку, стыдно будет, при всех высеку.

— Каши хочу! — визжала девочка.

— Перестань! — ревел капитан.

— Каши! — визжала девочка.

Дамы бросились ее унимать и между тем охорашивались, поправляли смятые чепцы, перешпиливали платки.

Капитан уселся подле офицера и просто забросал его словами.

— Я доложу вам, — говорил он, — сам бы, могу сказать, карьеру бы мог свою сделать, ну да уж, видно, судьба такая. Теперь, сами изволите видеть, женат, семейство, дети пошли. Ну, именъишко небольшое. Жить, слава богу, есть чем, не по-столичному, разумеется, а так, как следует штаб-офицеру; соседи есть хорошие; заседатель у нас начитанный человек. Слава богу, живем себе. Ну и доволен. Ну, а вот, знаете, встретишь такого человека, так вот и поразберет маленько. Поневоле подумаешь: «Эх, брат Василий Фомич, сплошал, брат! Полковником был бы теперь и вот на шее бы имел». Ну да не повезло. Черт меня дернул в отставку подать. Случай вышел такой партикулярный. Служил я тогда, изволите видеть, в карабинерном полку. Полковой командир человек был хороший; он теперь бригадой командует; товарищи были тоже отличные. Кажется, век бы не оставил. Только вообразите себе, однажды...

Тут капитан приостановился и начал прислушиваться.

— Кого-то еще бог дал, — сказал он.

Действительно, на дворе послышался снова лошадиный храп, завизжали подрезы, поднялась суматоха. Смотритель снова засуетился. На крыльце раздалось не-

сколько голосов разом, смешанных с женским плачем. У избушки остановились две повозки.

Офицер, соскучившись рассказом капитана, хотел было броситься к дверям, но вдруг остановился у порога, пораженный идущей ему навстречу группой. В комнату входила старушка помещица, дожившая, кажется, до крайних пределов жизни. Голова ее тряслась, глаза впали, лицо было изрыто морщинами. Она охала, шептала молитву и шла, то есть едва передвигала ноги, совершенно согнувшись и поддерживаемая с одной стороны человеком в нагольном тулупе, перепоясанном ремнем, с другой — молодой женщиной.

Офицер остолбенел.

Никогда с тех пор, как он начал заглядываться на женскую красоту, не встречал он подобного лица. Оно не сверкало той разительной, неучливой красотой, которая бросается вам в глаза и требует безусловного удивления. Оно просто нравилось с первого взгляда, но потом, чем более в него вглядывались, тем привлекательнее, тем милевиднее оно становилось. Черты были изумительно тонки и правильны, головка маленькая, цвет лица бледный, волосы черные, но глаза — глаза были такие, что и описать нельзя: черные, большие, с длинными ресницами, с густыми бровями; они свели бы с ума живописца. Повествователи вообще виноваты перед женскими глазами: много вздора было написано им в честь, были сравнения и с звездами, и с алмазами, и бог знает с чем. Можно вдохновенной кистью и даже тупым тяжелым пером кое-как передать их цвет и образ; но как изобразить тот потаенный огонь, который светится в них душой? Как уловить в них молнию насмешки, бурю негодования, яркий пламень страсти, бездонную глубину святого чувства? На это нет ни красок, ни слов, да и быть не может, да и быть не должно.

Она была одета просто, но щеголевато. В ее наряде отпечатывались и достаток и вкус. Усадив бережно старушку, она сняла салоп и шляпку. Гибкий стан ее обрисовался, и черная, как смоль, коса распустилась роскошно до ног... Она слегка покраснела и, свернув косу, обвила ею голову.

Офицер молча ею любовался. В этой женщине все подробности были как-то аристократически прекрасны. Она сняла перчатку; ручка была восхитительна и, не в укор будь сказано нашим степным дамам, редкой белизны, кроме того изобличала самую внимательную об

ней заботливость. Она провела рукой по волосам, и в этом простом, самом обыкновенном женском движении проявилось вдруг столько природной, ленивой ловкости, столько грациозной небрежности, что все красавицы, исключительно занимающиеся этим предметом, могли бы побледнеть от зависти и отчаяния. Офицер не верил глазам. «Как мог, — думал он, — такой чистый брильянт попасть в такую глушь, и кто она такая и откуда?» Невольно, сам не понимая, как это сделалось, он очутился подле нее и стал прислуживать.

Церемониться было нечего. В минуту общего бедствия все сближаются и роднятся. Не прошло полчаса, они были уж как бы давно знакомы. Он вытаскивал пожитки из повозки, поил старушку чаем, усаживал ее как бы получше, клал ей под ноги подушки. Капитан любезничал. Старая девушка улыбалась кисло и значительно. Племянница княгини Шелопаевой вступила с приезжими в разговор. Купцы уступили им место на диване.

На дворе метель бушевала, с ожесточением рвала ставни и разыгрывалась во все степное раздолье, но офицер о ней и не думал. С ним было несколько провизии: он предложил поделиться ею с товарищами заточения. Образовали на скорую руку ужин. Капитан вытащил замороженную индейку. Уселись около стола. Завязался общий разговор, довольно незначительный. Капитанша рассказывала, как будут смеяться в Петербурге у княгини Шелопаевой, когда узнают, что она, с детства привыкшая к тонкому обращению, оставалась несколько часов в крестьянской избе. При этих словах офицер невольно взглянул на свою соседку: легкая улыбка едва заметным мерцаньем пробежала по ее чертам. Они поняли друг друга.

— А вы были в Петербурге? — спросил он.

— Нет.

— И не поедете?

— Нет.

— Отчего же?

— Я замужем.

Офицер потупил голову. «Как, зачем она замужем? Кто просил ее выходить замуж?» Ему стало неловко и досадно. Он продолжал:

— Отчего же вашего мужа нет с вами?

— Он в деревне; он выезжать не любит.

— Как же вы теперь?

— Он отпустил меня с бабушкой в Воронеж, на богомолье.

«Хорош вожатый!» — подумал офицер, глядя на старушку, которая что-то бессмысленно жевала.

— И вы живете всегда в деревне? — спросил он снова.

— Всегда...

— Безвыездно?

— Безвыездно.

— Помилуйте, да там скука, должно быть, страшная.

Она слегка вздохнула.

— Что ж делать, привыкнешь.

— Да как же вы время проводите?

— Да так, как обыкновенно в деревне.

— Да что ж вы делаете?

— Да почти ничего. Занимаюсь хозяйством, вышиваю, читаю.

— У вас детей нет?

— Нет.

Офицеру это было не противно, а почему — бог знает.

— Что ж вы читаете?

— Что случится. Французские книги, русские журналы...

Офицер поморщился.

— Вы люди светские, — продолжала она, улыбаясь, — не понимаете отрады чтения. Книга — это товарищ, это верный друг. Попробуйте прожить в деревне, поживите, как я, тогда поймете, что такое книга. Да без нее просто бы, кажется, можно с ума сойти. Вечера-то, знаете, длинные; деревня наша в степи; соседей нет, а если и бывают изредка, то все такие, что лучше бы их вовсе не было.

— Ваш муж охотник?

— Да, мой муж очень любит охоту. Да, впрочем, в деревне надо же иметь какое-нибудь занятие.

— А позвольте спросить: муж ваш человек молодой?

Она невольно рассмеялась.

— Нет, — сказала она, — да что о нем говорить. Скажите-ка лучше, вы как сюда попали?

— По делам.

— Надолго?

— Нет, я спешу к брату на свадьбу.

— Вы будете шафером?

— Разумеется. Я даже очень спешу... то есть очень спешил...

— А теперь не спешите?

Офицер нежно на нее взглянул.

— Теперь я вас встретил.

— Бабушка, — сказала молодая женщина, — я думаю, метель утихла, можно бы ехать...

Старушка не расслышала. Присутствующие отозвались, что прежде утра и думать было нельзя о продолжении пути, а что следовало подумать о ночном отдохновении. Наступила глухая полночь. Всех клонило уже ко сну; все более или менее поглядывали с завистью на кровать. Но в подобные минуты голос справедливости всегда торжествует. Общим приговором положено предоставить кровать слабейшим членам случайной общины, то есть старушке и девочке, которая, накричавшись вдоволь, спала уж где-то в углу. Как сказано, так и сделано. Старушку уложили. Она поохала, пошептала, покрестилась и заснула. Купцы расположились на диванчике и на лежанке, и вскоре звучным дыханьем объявили, что уж перешли в невидимый мир сновидений. Капитан расположился на сундуке. Капитанша, сестра ее и черноокая красавица легли поперек дощатой кровати. Под головы положили им подушки, к ногам придвинули скамейки. Капитанша легла с одного края, молодая женщина с другого. Между ними расположилась зрелая девушка. Офицеру оставался стул, который как будто нарочно стоял с хорошего края. Он сел. Все это происходило самым естественным образом, как будто вследствие какого-то безмолвного условия. В комнате воцарилось молчание, прерываемое только стуком маятника, дыханьем спящих и воем метели. Странное кочевье освещалось одной сальной свечкой, с которой от времени до времени неустрашимый капитан снимал решительно пальцами. Но вскоре это занятие его утомило: он свернулся кренделем и заснул взапуски с купцами. В комнате замелькал томный красноватый полусвет. Все заснули, кроме офицера, который шепотом разговаривал с своей соседкой, и старой девы, которая подслушивала их разговор с желчным любопытством.

— Я виноват перед вами, — говорил офицер, — я сказал глупость. Вы, кажется, на меня рассердились.

— Нет, я не рассердилась. Только я женщина не-светская, я не привыкла к подобным любезностям. Оно

забавно, может быть, с одной стороны, но, с другой, и не дурно, потому что мы не умеем играть словами и говорим только то, что чувствуем.

— Да, и я говорю то, что чувствую.

— Перестаньте, пожалуйста. К чему это? Мы с вами встретились случайно, сейчас расстанемся, никогда не увидимся — нехорошо. Я знаю, вы смеетесь над уездными дамами, и Пушкин над ними смеялся... И подлинно, есть много в них смешного, но, может быть, в то же время много и грустного. Подумайте, — продолжала она, как будто говоря сама с собой, — что такое судьба женщины молодой, знающей только по книгам, что есть хорошего в жизни? Муж ее в отъезде поле. Он, может быть, человек хороший... Да все не то: скучно в деревне... и не то что скучно, а досадно, обидно как-то. Все жалеют об узнике в темнице; никто не пожалеет о женщине, с детства приговоренной к вечной ссылке, к вечному заточению. А вам весело в Петербурге?

— Весело, — сказал, вздохнув, офицер, — да, мне там очень весело, слишком весело... Я человек светский. Только что странно: я от излишества, вы от недостатка — мы оба дожили до одного, то есть до тяжкой скуки. Вы жалуетесь, что в вашей одинокой ссылке вам негде развернуть души и сердца; мы же, вечно ищущие недосыгаемого, мы чувствуем, что душа и сердце подавлены в нас. Вы знаете холод одиночества; но вы, слава богу, не знаете еще холода общественной жизни. Вы знаете, что любить надо, а мы знаем, что любить некого. В вас кипят надежда и сила, нас давит бессилие и немощь.

— Вы были влюблены? — спросила она едва внятно...

— Еще бы! Да и как! Да что в том толку... В свете идти на любовь — значит идти на верный обман. Вы что думаете про любовь?

— Я!.. Так... да... нет, ничего...

— Любовь — душа вселенной; но этой душе куда как тесно в свете, и знаете ли почему? Потому, что за ней выглядывает тщеславие. Я тоже иногда думал, что меня любили, а вышло что же? Любили не меня, а бального кавалера, светского франта, и я не знал, как совладеть с своими соперниками.

— Неужели? — сказала она невольно. — Да кто ж они могли быть?

— Да мало ли их... Бальное платье, мелочная досада, глупая сплетня, завидное приглашение, маскарадный наряд и тьма подробностей, составляющих, так сказать, всю сущность светских женщин.

— Так вы не верите в любовь?

— Сохрани бог! В любовь нельзя не верить; но я говорю только, что любить-то некого. Для любви нужно столько условий, столько счастливой случайности, столько душевной свежести и неистощенности. Но, слава богу, я чувствую, что я могу еще любить, но уж не светскую барыню. Дорого они мне дались... Я бы мог любить страстно, неограниченно и свято душу не светскую и доверчивую, которая вверила бы мне всю участь по чистому внушению, без боязни и без расчета... Если бы вы, например...

— Пить хочу! — застонала на кровати старуха. Девочка проснулась и завизжала. Офицер поспешно вскочил со стула, подал старухе стакан воды, успокоил девочку, всунул ей в рот кусок сахара и возвратился на свое место. Но возобновить начатого разговора не было возможности. Молодая женщина закрыла глаза, грациозно опустив ручку со спинки кровати; она или думала о чем-то, или засыпала...

— Вы устали? — тихо спросил офицер.

— Да, устала.

Он замолчал, сердце его сильно билось. Чудно хороша была эта женщина, чудно освещена красноватым отблеском нагоревшей свечи. Матовая бледность придавала ей столько прелести! Черты были так правильны, так тонки! В каждом ее слове выражалась такая глубокая повесть смиренных страданий! Она была так непринужденна, так проста и так сама собой, что невольно хотелось броситься к ногам ее, высказать ей сердце и пожертвовать ей жизнью. Ручка ее, беленькая, маленькая, заманчиво привлекала взоры. Офицер оглянулся: кругом все покоилось тихим сном; на дворе только ревели метель; даже старая дева, утомленная подслушиваньем, заснула. Офицер глядел на ручку... Какая-то невидимая сила влекла, тянула его. Кровь его сильно волновалась. Он чувствовал, что влюблен так, как никогда еще влюблен и не бывал. Разные чувства боролись в нем: и страх, и боязнь, и желание, и любовь. Наконец он не выдержал, оглянулся еще раз, тихо коснулся руки и прижал ее к губам.

Старая дева вздрогнула во сне от ненавистного звука.

Молодая женщина не пошевелинулась. Офицер сидел, как приговоренный к смерти.

Прошло несколько минут тяжелого молчания.

Тихо и небрежно, как бы во сне, она вдруг начала

приподнимать руку свою и движением спящего ребенка положила ее под голову. Очевидно, она спала. Вдруг она открыла глаза и сказала тихо:

— Вы женаты?..

— Я... с...

— Ах да! Вы говорили, что будете шафером на свадьбе брата, так, разумеется, не женаты... Знаете ли, — продолжила она голосом, полным тихой печали, — когда вы будете женаты... любите свою жену...

— Зачем же это?..

— Так!.. Не то бог знает какие иногда могут прийти мысли... Не надо... Любите свою жену.

— Разве можно так располагать собой?.. Ну, если бы я был женат и вдруг бы встретился с вами...

— Так что ж?

— То, что я жену не любил бы более, а полюбил бы вас, потому, во что бы то ни стало... но это свыше сил моих; я покажусь вам глуп, смешон, дерзок... но я люблю вас без ума.

И глаза его разгорелись, голос дрожал... Он говорил действительно что чувствовал. Она взглянула на него с нежным, протяжным упреком и тихо покачала головой.

— Не стыдно ли вам? — сказала она тихо и закрыла лицо руками.

— Нет! — сказал он, воспламеняясь все более и более. — Мне не стыдно, а хорошо теперь. Я высказал вам себя. Вы сами чувствуете, что я говорю правду. Я разгадал вашу жизнь. Так не пеняйте же на судьбу... Знайте, что был человек, который полюбил вас всеми силами своего существования, без замыслов и видов. Их и быть не может... Мы сейчас расстанемся. Что за беда, что знакомство наше продолжалось одну минуту, и минута — хорошее дело. Я люблю вас, как не думал, что могу любить. Это пройдет, может быть, завтра; но нынче я хорошо вас люблю: вы олицетворяете для меня лучшую мечту моей молодости. Таковую женщину, как вы, я всегда надеялся встретить. Судьба нам не назначила быть вместе, но пусть же останется нам сознание, что, когда мы сошлись случайно, мы поняли друг друга, оценили друг друга, и по крайней мере нам будет теплое задушевное воспоминание: вам — в скучной вашей деревне, мне — в скучной моей светской жизни.

Так продолжал он говорить молодо и пламенно, и она, вперив в него свои черные глаза, слушала его с

увлечением, как бы прислушивалась к чему-то давно желанному и ожидаемому. Мало-помалу и она разговорила; но что было сказано тогда — да будет тайной. На бумаге оно выйдет вяло и безжизненно. В подобных разговорах то и прекрасно, что невыразимо или понятно только для двоих.

Несколько часов пролетели невидимым мгновением. Бессознательно предалась она светлому восторгу, расточила богатую сокровищницу долго замкнутого сердца, и, верно, никогда не была она так хороша, как в эту минуту. Он невольно взял ее руку, и она не думала уже ее отнимать. Изба казалась им раем.

Вдруг свеча, зашипев, погасла, и бледный беловатый луч прорезался в комнату из окна.

— Светает, — сказала она. — Мы скоро расстанемся! Дайте мне что-нибудь на память от себя.

Он поспешно выдернул из бумажника листок бумаги, взял карандаш и призадумался.

— Я не писатель, — сказал он, — другой написал бы вам стихи.

— Напишите что-нибудь.

Он написал: «1849 год, ночь с 12 на 13-е января», а потом прибавил решительно: «Лучшая ночь в моей жизни». Потом, сняв с руки кольцо, он подал ей кольцо и бумажку. Она поспешно их спрятала.

— Кольца я вам не могу дать, — сказала она, нахмурившись. — У меня одно только кольцо — венчальное; а из Воронежа я вам пришлю образ. Он принесет вам счастье; он напомнит вам о нашей встрече и о той, которая вас будет вечно помнить и любить. Вы — один человек, который ее понял; вы, разумеется, рассеетесь и меня забудете, но я буду вас вечно помнить. Я помолюсь за вас.

Она крепко пожала ему руку.

В эту минуту смотритель вошел в комнату.

— Утихает, — сказал он, потирая руки.

Вдруг все зашевелились. Старуха захохала, девочка завизжала, купцы бросились к повозкам. Из сарая начали выводить лошадей; принесли самовар. Через час времени все путники были готовы уже к дороге. Офицер посадил старуху в повозку и поцеловал руку у внучки. На глазах ее навернулись слезы...

— Прощайте, — сказала она грустно, — навсегда...

Через четверть часа лихая тройка во весь опор обогнала две степные повозки. Офицер поклонился. Тяжко

ему было. Из спущенного окна показалось бледное лицо, сверкнули черные глаза, махнул белый платок. Ямщик приободрился, приударил и покатил еще быстрее. Офицер обернулся и долго смотрел, как две повозки мало-помалу отдалялись, потом стали подвижными точками, потом пропали из виду. Он горестно вздохнул и вернулся в шубу. Снег хрустел под полозьями. Ямщик покрикивал. Во все стороны расстилалась снежная равнина, но между небом и степью уж обозначалась резкая полоса. Ветер значительно утихал. Оловянное солнце вырезывалось пятном на сером туманном небосклоне. Метель кончилась.

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

<ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С Н. В. ГОГОЛЕМ>



1831 году летом я приехал на вакации из Дерпта в Павловск. В Павловске жила моя бабушка и с нею вместе — покойная тетка моя Александра Ивановна Васильчикова, женщина высокой добродетели, постоянно тогда озабоченная воспитанием своих детей. Один из сыновей ее <Василий>, ныне умерший, к сожалению родился с поврежденным при рождении черепом, так что умственные его способности остались навсегда в тумане. Все средства истощались, чтоб помочь горю, но все было напрасно. Тетка придумала, наконец, нанять учителя, который бы мог развивать, хотя несколько, мутную понятливость бедного страдальца, показывая ему картинки и беседуя с ним целый день. Такой учитель был найден, и когда я приехал в Павловск, тетка моя просила меня познакомиться с ним и обласкать его, так как, по словам ее, он тоже был охотником до русской словесности и, как ей сказывали, даже что-то пописывал. Как теперь помню это знакомство. Мы вошли в детскую, где у письменного стола сидел наставник с учеником и указывал ему на изображения разных животных, подражая при том их бляению, мычанию, хрюканью и т. д. «Вот это, душенька, баран, понимаешь ли? баран, — бе, бе... Вот это корова, знаешь, корова, му, му». При этом учитель с каким-то особым оригинальным наслаждением упражнялся в звукоподражаниях. Признаюсь, мне грустно было глядеть на подобную сцену, на такую жалкую долю человека, принужденного из-за куска хлеба согласиться на подобное занятие. Я поспешил выйти из комнаты, едва расслышав слова тетки, представлявшей мне учителя и назвавшей мне его по имени *Николай Васильевич Гоголь*.

У покойницы моей бабушки, как у всех тогдашних старушек, жили постоянно бедные дворянки, компаньонки, приживалки. Им-то по вечерам читал Гоголь свои первые произведения. Вскоре после странного знакомства я шел однажды по коридору и услышал, что кто-то читает в ближней комнате. Я вошел из любопытства и нашел Гоголя посреди дамского домашнего ареопага. Александра Николаевна вязала чулок, Анна Антоновна хлопала глазами, Анна Николаевна по обыкновению управляла напомаженные виски. Их было еще две или три, если не ошибаюсь. Перед ними сидел Гоголь и читал про украинскую ночь. «Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи!» Кто не слышал читавшего Гоголя, тот не знает вполне его произведений. Он придавал им особый колорит своим спокойствием, своим произношением, неуловимыми оттенками насмешливости и комизма, дрожавшими в его голосе и быстро пробегавшими по его оригинальному остроносому лицу, в то время как серые маленькие его глаза добродушно улыбались и он встряхивал всегда падавшими ему на лоб волосами. Описывая украинскую ночь, он как будто переливал в душу впечатления летней свежести, синей, усеянной звездами, выси, благоухания, душевного простора. Вдруг он остановился. «Да гокак не так танцуется!» Приживалки вскрикнули: «Отчего не так?» Они подумали, что Гоголь обращался к ним. Гоголь улыбнулся и продолжал монолог пьяного мужика. Признаюсь откровенно, я был поражен, уничтожен; мне хотелось взять его на руки, вывести его на свежий воздух, на настоящее его место. «Майская ночь» осталась для меня любимым гоголевским творением, быть может, оттого, что я ей обязан тем, что из первых в России мог узнать и оценить этого гениального человека. Карамзины жили тогда в Царском Селе, у них я часто видал Жуковского, который сказал мне, что уже познакомился с Гоголем и думает, как бы освободить его от настоящего места. Пушкина я встретил в Царскосельском парке. Он только что женился и гулял под ручку с женой, первой европейской красавицей, как говорил он мне после. Он представил меня тут жене и на вопрос мой, знает ли он Гоголя, отвечал, что еще не знает, но слышал о нем и желает с ним познакомиться.

После незабвенного для меня чтения я, разумеется, сблизился с Гоголем и находился с того времени постоянно с ним в самых дружелюбных отношениях, но никогда не припоминал он о нашем первом знакомстве: видно было, что, несмотря на всю его душевную простоту (отпечаток

возвышенной природы), он несколько совестился своего прежнего звания толкователя картинок. Впрочем, он изредка посещал мою тетку и однажды сделал ей такой странный визит, что нельзя о нем не упомянуть. Тетушка сидела у себя с детьми в глубоком трауре, с плёрезами, по случаю недавней кончины ее матери. Докладывают про Гоголя. «Просите». Входит Гоголь с постной физиономией. Как обыкновенно бывает в подобных случаях, разговор начался о бренности всего мирского. Должно быть, это надоело Гоголю: тогда он был весел и в полном порыве своего юмористического вдохновения. Вдруг он начинает предлинную и прелачивную историю про какого-то малороссийского помещика, у которого умирал единственный обожаемый сын. Старик измучился, не отходил от больного ни днем, ни ночью по целым неделям, наконец утомился совершенно и пошел прилечь в соседнюю комнату, отдав приказание, чтоб его тотчас разбудили, если больному делается хуже. Не успел он заснуть, как человек бежит. «Пожалуйте!» — «Что, неужели хуже?» — «Какой хуже! Скончался совсем!» При этой развязке все лица слушавших со вниманием рассказ вытянулись, раздались вздохи, общий возглас и вопрос: «Ах, боже мой! Ну что же бедный отец?» — «Да что ж ему делать, — продолжал хладнокровно Гоголь, — растопырил руки, пожал плечами, покачал головой, да и свистнул: фю, фю». Громкий хохот детей заключил анекдот, а тетюшка, с полным на то правом, рассердилась на эту шутку, действительно, в минуту общей печали, весьма неуместную. Трудно объяснить себе, зачем Гоголь, всегда кроткий и застенчивый в обществе, решился на подобную выходку. Быть может, он вздумал развеселить детей от господствовавшего в доме грустного настроения; быть может, он, сам того не замечая, увлекся бившей в нем постоянно струей неодолимого комизма. Впрочем, он очень любил это окончание едва внятным свистом и кончил им свою комедию «Женитьба». Я помню, что он читал ее однажды у Жуковского в одну из тех пятниц, когда собиралось общество (тогда немалочисленное) русских литературных, ученых и артистических знаменитостей. При последних словах: «но когда жених выскочил в окно, то уже...» он скорчил такую гримасу и так уморительно свистнул, что все слушатели покатались со смеху. При представлении этот свист заменила, кажется, актриса <Е. И.> Гусева словами: «так уж просто мое почтение», что всегда и говорится теперь. Но этот конец далеко не так комичен и оригинален, как тот, который придуман

был Гоголем. Он не завершает пьесы и не довершает в зрителе последней комической чертой общего впечатления после комедии, основанной на одном только юморе.

Пушкин познакомился с Гоголем и рассказал ему про случай, бывший в г. Устюжне Новгородской губернии, о каком-то проезжем господине, выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей. Кроме того Пушкин, сам будучи в Оренбурге, узнал, что о нем получена гр. В. А. Перовским секретная бумага, в которой последний предостерегался, чтоб был осторожен, так как история Пугачевского бунта была только предлогом, а поездка Пушкина имела целью обревизовать секретно действия оренбургских чиновников. На этих двух данных задуман был «Ревизор», коего Пушкин называл себя всегда крестным отцом. Сюжет «Мертвых душ» тоже сообщен Пушкиным <...>

<О А. С. ПУШКИНЕ>



ажется, следующую же зиму после моего знакомства с Гоголем я в первый раз, уже будучи взрослым, встретил Пушкина; за верность годов, впрочем, не ручаюсь, так как смолоду был страшно бестолков и всю жизнь перепутывал и числа и года.

Вот как это было. Я гостил у родных на рождественских праздниках и каждый вечер выезжал с отцом в свет не на большие балы, разумеется, но к нашим многочисленным родным и близким знакомым. Однажды отец взял меня с собой в русский театр; мы поместились во втором ряду кресел; перед нами в первом ряду сидел человек с некрасивым, но необыкновенно выразительным лицом и курчавыми темными волосами; он обернулся, когда мы вошли (представление уже началось), дружелюбно кивнул отцу, потом стал слушать пьесу с тем особенным вниманием, с каким слушают только, что называют французы, «Les gens du métier», то есть люди, сами пишущие. «Это Пушкин», — шепнул мне отец. Я весь обомлел... Трудно себе вообразить, что это был за энтузиазм, за обожание толпы к величайшему нашему писателю, это имя волшебное являлось чем-то лучезарным в воображении всех русских, в особенности же в воображении очень молодых людей. Пушкин, хотя и не чужд был той олимпийской недоступности, в какую окутывали, так сказать, себя лите-

раторы того времени, обошелся со мной очень ласково, когда отец, после того как занавес опустили, представил меня ему. На слова отца, «что вот этот сынишка у меня пописывает», он отвечал поощрительно, припомнил, что видел меня ребенком, играющим в одежде маркиза на скрипке, и приглашал меня к себе запросто быть, когда я могу. Я был в восторге и, чтобы не ударить лицом в грязь, все придумывал, что бы сказать что-нибудь поумнее, чтобы он увидел, что я уже не такой мальчишка, каким все-таки, несмотря на его любезность, он меня считал; надо сказать, что в тот самый день, гуляя часов около трех пополудни с отцом по Невскому проспекту, мы повстречали некоего Х., тогдашнего модного писателя. Он был человек чрезвычайно надутый и заносчивый, отец знал его довольно близко и представил меня ему; он отнесся ко мне довольно благосклонно и пригласил меня в тот же вечер к себе. «Сегодня среда, у меня каждую среду собираются, — произнес он с высоты своего величия, — все люди талантливые, известные, приезжайте, молодой человек, время вы проведете, надеюсь, приятно». Я поблагодарил и, разумеется, тотчас после театра рассчитывал туда отправиться. В продолжение всего второго действия, которое Пушкин слушал с тем же вниманием, я, благоговейно глядя на его сгорбленную в кресле спину, сообразил, что спрошу его во время антракта, «что он, вероятно, тоже едет сегодня к Х.». Не может же он, Пушкин, не бывать в доме, где собираются такие известные люди — писатели, художники, музыканты и т. д. Действие кончилось, занавес опустился, Пушкин опять обернулся к нам. «Александр Сергеевич, сегодня среда, я еще, вероятно, буду иметь счастливый случай с вами повстречаться у Х.», — проговорил я почтительно, но вместе с тем стараясь придать своему голосу равнодушный вид, «что вот, дескать, к каким тузам мы ездим». Пушкин посмотрел на меня с той особенной, ему одному свойственной улыбкой, в которой как-то странно сочеталась самая язвительная насмешка с безмерным добродушием. «Нет, — отрывисто сказал он мне, — с тех пор как я женат, я в такие дома не езжу». Меня точно ушатом холодной воды обдало, я сконфузился, пробормотал что-то очень неловкое и стушевался за спину моего отца, который от души рассмеялся; он прекрасно заметил, что мне перед Пушкиным захотелось прихвастнуть и что это мне не удалось. Я же был очень разочарован; уже заранее я строил планы, как я вернусь в Дерпт и стану рассказывать, что я провел

вечер у X., где собираются самые известные, самые талантливые люди в Петербурге, где даже сам Пушкин... и вдруг такой удар! Нечего и прибавлять, что в тот вечер я к X. не поехал, хотя отец, смеясь, очень на этом настаивал. На другой день отец повез меня к Пушкину — он жил в довольно скромной квартире на... улице. Самого хозяина не было дома, и нас приняла его красавица жена. Много видел я на своем веку красивых женщин, много встречал женщин еще обаятельнее Пушкиной, но никогда не видывал я женщины, которая соединяла бы в себе такую законченность классически правильных черт и стана. Ростом высокая, с баснословно тонкой талией, при роскошно развитых плечах и груди; ее маленькая головка, как лилия на стебле, колыхалась и грациозно поворачивалась на тонкой шее; такого красивого и правильного профиля я не видел никогда более, а кожа, глаза, зубы, уши! Да, это была настоящая красавица, и недаром все остальные, даже из самых прелестных женщин, меркли как-то при ее появлении. На вид всегда она была сдержанна до холодности и мало вообще говорила. В Петербурге, где она блистала, во-первых, своей красотой и в особенности тем видным положением, которое занимал ее муж, — она бывала постоянно и в большом свете, и при дворе, но ее женщины находили несколько странной. Я с первого же раза без памяти в нее влюбился; надо сказать, что тогда не было почти ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной; ее лучезарная красота рядом с этим магическим именем всем кружила головы; я знал очень молодых людей, которые серьезно были уверены, что влюблены в Пушкину, не только вовсе с нею не знакомых, но чуть ли никогда собственно ее даже не видавших! Живю помню один бал у Бутурлиных и смешную сцену, на которой я присутствовал. Это было, сколько припомню, в зиму с 1835-го на 1836-й год; я уже в то время вышел из университета; Бутурлин этот был женат на дочери известного богача <Михаила Ивановича> Комбурля — <Елисавете Михайловне>; он имел двух детей — дочь <Анну>, вышедшую потом замуж за графа Павла <Сергеевича> Строганова, и сына Петра; этому сыну было тогда лет тринадцать, он еще носил коротенькую курточку и сильно помадил себе волосы. Так как в то время балы начинались несравненно раньше, чем теперь, то Петиньке Бутурлину позволялось (его по-тогдашнему родные очень баловали) оставаться на бале до мазурки. Он, разумеется, не танцевал, а сповал

между танцующими. В тот вечер я танцевал с Пушкиной мазурку и, как только оркестр сыграл ригурнель, отправился отыскивать свою даму: она сидела у амбразуры окна и, поднеся к губам сложенный веер, чуть-чуть улыбалась; позади ее, в самой глубине амбразуры, сидел Петинька Бутурлин и, краснея и заикаясь, что-то говорил ей с большим жаром. Увидев меня, Наталья Николаевна указала мне веером на стул, стоявший подле, и сказала: «Останьтесь здесь, все-таки прохладнее»; я поклонился и сел. «Да, Наталья Николаевна, выслушайте меня, не оскорбляйтесь, но я должен был вам сказать, что я люблю вас, — говорил ей между тем Петинька, который до того потерялся, что даже не заметил, что я подошел и сел подле, — да, я должен был это вам сказать, — продолжал он, — потому что, видите ли, теперь двенадцать часов, и меня сейчас уведут спать!» Я чуть удержался, чтобы не расхохотаться, да и Пушкина кусала себе губы, видимо, силясь не смеяться; Петиньку, действительно, безжалостно увели спать через несколько минут.

<...> Мне пришлось быть и свидетелем и актером драмы, окончившейся смертью великого Пушкина. Я уже говорил, что мы с Пушкиным были в очень дружеских отношениях и что он особенно ко мне благоволил. Он поощрял мои первые литературные опыты, давал мне советы, читал свои стихи и был чрезвычайно ко мне благосклонен, несмотря на разность наших лет. Почти каждый день ходили мы гулять по толкучему рынку, покупали там сайки, потом, возвращаясь по Невскому проспекту, предлагали эти сайки светским разряженным щеголям, которые бегали от нас с ужасом. Вечером мы встречались у Карамзиных, у Вяземских, у князя Одоевского и на светских балах. Не могу простить себе, что не записывал каждый день, что от него слышал. Отношения его к Дантесу были уже весьма недружелюбные. Однажды, на вечере у князя Вяземского, он вдруг сказал, что Дантес носит перстень с изображением обезьяны. Дантес был тогда легитимистом и носил на руке портрет Генриха V.

— Посмотрите на эти черты, — воскликнул тотчас Дантес, — похожи ли они на господина Пушкина?

Размен невежливостей остался без последствия. Пушкин говорил отрывисто и едко. Скажет, бывало, колкую эпиграмму и вдруг зальется звонким добродушным, детским смехом, выказывая два ряда белых, арабских зубов.

Об этом времени можно бы было еще припомнить много анекдотов, острот и шуток. В сущности, Пушкин был до крайности несчастлив, и главное его несчастье заключалось в том, что он жил в Петербурге и жил светской жизнью, его убившей. Пушкин находился в среде, над которой не мог не чувствовать своего превосходства, а между тем в то же время чувствовал себя почти постоянно униженным и по достатку, и по значению в этой аристократической сфере, к которой он имел, как я сказал выше, какое-то непостижимое пристрастие. Наше общество так еще устроено, что величайший художник без чина становится в официальном мире ниже последнего писаря. Когда при разъездах кричали: «Карету Пушкина!» — «Какого Пушкина?» — «Сочинителя!» — Пушкин обижался, конечно, не за название, а за то пренебрежение, которое оказывалось к названию. За это и он оказывал наружное будто бы пренебрежение к некоторым светским условиям: не следовал моде и ездил на балы в черном галстуке, в двубортном жилете, с откидными, ненакрахмаленными воротниками, подражая, быть может, невольно байроновскому джентльменству; прочим же условиям он подчинялся. Жена его была красавица, украшение всех собраний и, следовательно, предмет зависти всех ее сверстниц. Для того чтоб пригласить ее на балы, Пушкин пожалован был камер-юнкером. Певец свободы, наряженный в придворный мундир, для сопутствования жене-красавице, играл роль жалкую, едва ли не смешную. Пушкин был не Пушкин, а царедворец и муж. Это он чувствовал глубоко. К тому же светская жизнь требовала значительных издержек, на которые у Пушкина часто недоставало средств. Эти средства он хотел пополнить игрою, но постоянно проигрывал, как все люди, нуждающиеся в выигрыше. Наконец, он имел много литературных врагов, которые не давали ему покоя и уязвляли его раздражительное самолюбие, провозглашая с свойственной этим господам самоуверенностью, что Пушкин ослабел, исписался, что было совершенно ложь, но ложь все-таки обидная. Пушкин возражал с свойственной ему сокрушительной едкостью, но не умел приобрести необходимого для писателя равнодушия к печатным оскорблениям. Журнал его, «Современник», шел плохо. Пушкин не был рожден журналистом. В свете его не любили, потому что боялись его эпиграмм, на которые он не скупился, и за них он нажил себе в целых семействах, в целых партиях врагов непримиримых. В семействе он был счастлив,

насколько может быть счастлив поэт, не рожденный для семейной жизни. Он обожал жену, гордился ее красотой и был в ней вполне уверен. Он ревновал к ней не потому, чтобы в ней сомневался, а потому, что страшился светской молвы, страшился сделаться еще более смешным перед светским мнением. Эта боязнь была причиной его смерти, а не г. Дантес, которого бояться ему было нечего. Он вступался не за обиду, которой не было, а боялся огласки, боялся молвы и видел в Дантесе не серьезного соперника, не посягателя на его настоящую честь, а посягателя на его имя, и этого он не перенес.

Я жил тогда на Большой Морской, у тетки моей <А. И.> Васильчиковой. В первых числах ноября (1836) она велела однажды утром меня позвать к себе и сказала: — Представь себе, какая странность! Я получила сегодня пакет на мое имя, распечатала и нашла в нем другое запечатанное письмо, с надписью: Александру Сергеевичу Пушкину. Что мне с этим делать?

Говоря так, она вручила мне письмо, на котором было действительно написано кривым, лакейским почерком: «Александру Сергеичу Пушкину». Мне тотчас же пришло в голову, что в этом письме что-нибудь написано о моей прежней личной истории с Пушкиным, что, следовательно, уничтожить я его не должен, а распечатать не вправе. Затем я отправился к Пушкину и, не подозревая ничего содержания приносимого мною гнусного пасквиля, передал его Пушкину. Пушкин сидел в своем кабинете. Распечатал конверт и тотчас сказал мне:

— Я уж знаю, что такое; я такое письмо получил сегодня же от Елисаветы Михайловны Хитровой: это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безыменным письмом я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя — ангел, никакое подозрение коснуться ее не может. Послушайте, что я по сему предмету пишу г-же Хитровой.

Тут он прочитал мне письмо, вполне сообразное с его словами. В сочинении присланного ему всем известного диплома он подозревал одну даму, которую мне и назвал. Тут он говорил спокойно, с большим достоинством и, казалось, хотел оставить все дело без внимания. Только две недели спустя узнал я, что в этот же день он послал вызов кавалергардскому поручику Дантесу, усыновлен-

ному, как известно, голландским посланником бароном Геккерном. Я продолжал затем гулять, по обыкновению, с Пушкиным и не замечал в нем особой перемены. Однажды спросил я его только, не дознался ли он, кто сочинил подметные письма. Точно такие же письма были получены всеми членами тесного карамзинского кружка, но истреблены ими тотчас по прочтении. Пушкин отвечал мне, что не знает, но подозревает одного человека. «S'il vous faut un troisième, ou un second, — сказал я ему, — disposez de moi»¹. Эти слова сильно тронули Пушкина, и он мне сказал тут несколько таких лестных слов, что я не смею их повторить; но слова эти остались отраднейшим воспоминанием моей литературной жизни. Сколько раз впоследствии, когда имя мое, более чем я сам, подвергалось насмешкам и ругательствам журналистов, доходившим иногда до клеветы, я смирял свою минутную досаду повторением слов, сказанных мне главою русских писателей как бы в предвидении, что и для моей скромной доли немало нужно будет твердости, чтоб выдержать многие непонятные, печатанные на авось и незаслуженные оскорбления. Порадовав меня своим отзывом, Пушкин прибавил:

— Дуэли никакой не будет; но я, может быть, попрошу вас быть свидетелем одного объяснения, при котором присутствие светского человека (опять-таки светского человека) мне желательно, для надлежащего заявления, в случае надобности.

Все это было говорено по-французски. Мы зашли к оружейнику. Пушкин приценивался к пистолетам, но не купил, по неимению денег. После того мы заходили еще в лавку к Смирдину, где Пушкин написал записку Кукольникову, кажется, с требованием денег. Я между тем оставался у дверей и импровизировал эпиграмму:

Коль ты к Смирдину войдешь,
Ничего там не пайдешь,
Ничего ты там не купишь.
Лишь Сенковского толкнешь.

Эти четыре стиха я сказал выходящему Александру Сергеевичу, который с необыкновенною живостью заключил:

Иль в Булгарина наступишь.

¹ Если вам нужен третий или второй <секундант> — располагайте мною. (Непереводимый каламбур.)

Я был совершенно покоен, таким образом, насчет последствий писем, но через несколько дней должен был разувериться. У Карамзиных праздновался день рождения старшего сына. Я сидел за обедом подле Пушкина. Во время общего веселого разговора он вдруг нагнулся ко мне и сказал скороговоркой:

— Ступайте завтра к д'Аршиаку. Условьтесь с ним только насчет материальной стороны дуэли. Чем кровавее, тем лучше. Ни на какие объяснения не соглашайтесь.

Потом он продолжал шутить и разговаривать как бы ни в чем не бывало. Я остолбенел, но возражать не осмелился. В тоне Пушкина была решительность, не допускавшая возражений.

Вечером я поехал на большой раут к австрийскому посланнику графу Фикельмону. На рауте все дамы были в трауре по случаю смерти Карла X. Одна Катерина Николаевна Гончарова, сестра Натальи Николаевны Пушкиной (которой на рауте не было), отличалась от прочих белым платьем. С нею любезничал Дантес-Геккерн.

Пушкин приехал поздно, казался очень встревожен, запретил Катерине Николаевне говорить с Дантесом и, как узнал я потом, самому Дантесу сказал несколько более чем грубых слов. С д'Аршиаком, статным молодым секретарем французского посольства, мы выразительно переглянулись и разошлись, не будучи знакомы. Дантеса я взял в сторону и спросил его, что он за человек. «Я человек честный,— отвечал он,— и надеюсь это скоро доказать». Затем он стал объяснять, что не понимает, чего от него Пушкин хочет; что он поневоле будет с ним стреляться, если будет к тому принужден; но никаких ссор и скандалов не желает.

На другой день погода была страшная — снег, метель. Я поехал сперва к отцу моему, жившему на Мойке, потом к Пушкину, который повторил мне, что я имею только условиться насчет материальной стороны самого беспощадного поединка, и, наконец, с замирающим сердцем отправился к д'Аршиаку. Каково же было мое удивление, когда с первых слов д'Аршиак объявил мне, что он всю ночь не спал, что он хотя не русский, но очень понимает, какое значение имеет Пушкин для русских, и что наша обязанность сперва просмотреть все документы, относящиеся до порученного нам дела. Затем он мне показал:

1) Экземпляр ругательного диплома на имя Пушкина.

2) Вызов Пушкина Дантесу после получения диплома.

3) Записку посланника барона Геккерна, в которой он просит, чтоб поединок был отложен на две недели.

4) Собственноручную записку Пушкина, в которой он объявлял, что берет свой вызов назад, на основании слухов, что Г. Дантес женится на его невестке К. Н. Гончаровой.

Я стоял пораженный, как будто свалился с неба. Об этой свадьбе я ничего не слышал, ничего не видал и только тут понял причину вчерашнего белого платья, причину двухнедельной отсрочки, причину ухаживания Дантеса. Все хотели остановить Пушкина. Один Пушкин того не хотел. Мера терпения преисполнилась. При получении глупого диплома от безыменного негодяя Пушкин обратился к Дантесу, потому что последний, танцуя часто с Натальей Николаевной, был поводом к мерзкой шутке. Самый день вызова неопровержимо доказывает, что другой причины не было. Кто знал Пушкина, тот понимает, что не только в случае кровной обиды, но даже при первом подозрении он не стал бы дожидаться подметных писем. Одному богу известно, что он в это время выстрадал, воображая себя осмеянным и поруганным в большом свете, преследовавшем его мелкими непрерывными оскорблениями. Он в лице Дантеса искал или смерти, или расправы со всем светским обществом. Я твердо убежден, что если бы С. А. Соболевский был тогда в Петербурге, он, по влиянию его на Пушкина, один мог бы удержать его. Прочие были не в силах.

— Вот положение дела, — сказал д'Аршиак. — Вчера кончился двухнедельный срок, и я был у г. Пушкина с извещением, что мой друг Дантес готов к его услугам. Вы понимаете, что Дантес желает жениться, но не может жениться иначе, как если г. Пушкин откажется просто от своего вызова без всякого объяснения, не упоминая о городских слухах. Г. Дантес не может допустить, чтоб о нем говорили, что он был принужден жениться и женился во избежание поединка. Уговорите г. Пушкина безусловно отказаться от вызова. Я вам ручаюсь, что Дантес женится, и мы предотвратим, может быть, большое несчастье.

Этот д'Аршиак был необыкновенно симпатичной личностью и сам скоро умер насильственной смертью на охоте. Мое положение было самое неприятное: я только теперь узнавал сущность дела; мне предлагали самый блистательный исход, то, что я и требовал, и ожидать бы никак не смел, а между тем я не имел поручения вести

переговоры. Потолковав с д'Аршиаком, мы решились съехаться в три часа у самого Дантеса. Тут возобновились те же предложения, но в разговорах Дантес не участвовал, все предоставив секунданту. Никогда в жизнь свою я не ломал так голову. Наконец, потребовав бумаги, я написал по-французски Пушкину следующую записку:

«Согласно вашему желанию, я условился насчет материальной стороны поединка. Он назначен 21 ноября, в 8 часов утра, на Парголовской дороге, на 10 шагов барьера. Впрочем, из разговоров узнал я, что г. Дантес женится на вашей свояченице, если вы только признаете, что он вел себя в настоящем деле как *честный* человек. Г. д'Аршиак и я служим вам поручкой, что свадьба состоится; именем вашего семейства умоляю вас согласиться» — и пр.

Точных слов я не помню, но содержание письма верно. Очень мне памятно число 21 ноября, потому что 20-го было рождение моего отца, и я не хотел ознаменовать этот день кровавой сценой. Д'Аршиак прочитал внимательно записку; но не показал ее Дантесу, несмотря на его требование, а передал мне и сказал:

— Я согласен. Пошлите.

Я позвал своего кучера, отдал ему в руки записку и приказал везти на Мойку, туда, где я был утром. Кучер ошибся и отвез записку к отцу моему, который жил тоже на Мойке и у которого я тоже был утром. Отец мой записки не распечатал, но, узнав мой почерк и очень встревоженный, выглядел условия о поединке. Однако он отправил кучера к Пушкину, тогда как мы около двух часов оставались в мучительном ожидании. Наконец ответ был привезен. Он был в общем смысле следующего содержания: «Прошу г.г. секундантов считать мой вызов недействительным, так как по городским слухам (*par le bruit public*) я узнал, что г. Дантес женится на моей свояченице. Впрочем, я готов признать, что в настоящем деле он вел себя честным человеком».

— Этого достаточно, — сказал д'Аршиак, ответа Дантесу не показал и поздравил его женихом. Тогда Дантес обратился ко мне со словами:

— Ступайте к г. Пушкину и поблагодарите его, что он согласен кончить нашу ссору. Я надеюсь, что мы будем видаться как братья.

Поздравив, с своей стороны, Дантеса, я предложил д'Аршиаку лично повторить эти слова Пушкину и поехать со мной. Д'Аршиак и на это согласился. Мы застали Пуш-

кина за обедом. Он вышел к нам несколько бледный и выслушал благодарность, переданную ему д'Аршиаком.

— С моей стороны,— продолжал я,— я позволил себе обещать, что вы будете обходиться с своим зятем, как с знакомым.

— Напрасно,— воскликнул запальчиво Пушкин.— Никогда этого не будет. Никогда между домом Пушкина и домом Дантеса ничего общего быть не может.

Мы грустно переглянулись с д'Аршиаком. Пушкин затем немного успокоился.

— Впрочем,— добавил он,— я признал и готов признать, что г. Дантес действовал как честный человек.

— Больше мне и не нужно,— подхватил д'Аршиак и поспешно вышел из комнаты.

Вечером на бале С. В. Салтыкова свадьба была объявлена, но Пушкин Дантесу не кланялся. Он сердился на меня, что, несмотря на его приказание, я вступил в переговоры. Свадьбе он не верил.

— У него, кажется, грудь болит,— говорил он,— того гляди, уедет за границу. Хотите биться об заклад, что свадьбы не будет? Вот у вас тросточка. У меня бабья страсть к этим игрушкам. Проиграйте мне ее.

— А вы проиграете мне все ваши сочинения?

— Хорошо. (Он был в это время как-то желчно весел.)

— Послушайте,— сказал он мне через несколько дней,— вы были более секундантом Дантеса, чем моим; однако я не хочу ничего делать без вашего ведома. Пойдемте в мой кабинет.

Он запер дверь и сказал: «Я прочитаю вам мое письмо к старику Геккерну. С сыном уже покончено... Вы мне теперь старичка подавайте».

Тут он прочитал мне всем известное письмо к голландскому посланнику. Губы его задрожали, глаза налились кровью. Он был до того страшен, что только тогда я понял, что он действительно африканского происхождения. Что мог я возразить против такой сокрушительной страсти? Я промолчал невольно, и так как это было в субботу (приемный день кн. Одоевского), то поехал к кн. Одоевскому. Там я нашел Жуковского и рассказал ему про то, что слышал. Жуковский испугался и обещал остановить отсылку письма. Действительно, это ему удалось: через несколько дней он объявил мне у Карамзиных, что дело он уладил и письмо послано не будет. Пушкин, точно, не отсылал письма, но сберег его у себя на всякий случай.

В начале декабря я был командирован в Харьков

к гр. А. Г. Строганову и выехал совершенно успокоенный в Москву. В Москве я заболел и пролежал два месяца. Перед отъездом я пошел проститься с д'Аршиаком, который показал мне несколько печатных бланков с разными шутовскими дипломами на разные нелепые звания. Он рассказал мне, что венское общество целую зиму забавлялось рассылкою подобных мистификаций. Тут находился тоже печатный образец диплома, посланного Пушкину. Таким образом, гнусный шутник, причинивший ему смерть, не выдумал даже своей шутки, а получил образец от какого-то члена дипломатического корпуса и списал. Кто был виновным, осталось тогда еще тайной непроницаемой. После моего отъезда Дантес женился и был хорошим мужем и теперь, по кончине жены, весьма нежный отец. Он пожертвовал собой, чтоб избежать поединка. В этом нет сомнения; но, как человек ветреный, он и после свадьбы, встречаясь на балах с Натальей Николаевной, подходил к ней и балагурил с несколько казарменною непринужденностью. Взрыв был неминуем и произошел несомненно от площадного каламбура. На бале у гр. Воронцова, женатый уже, Дантес спросил Наталью Николаевну, довольна ли она мозольным оператором, присланным ей его женой. — *Le diable prétend, —* прибавил он, — *que votre cor est plus beau que celui de ma femme*¹.

Пушкин об этом узнал. В письме его к посланнику Геккерну есть намек на этот каламбур². Письмо, впрочем, было то же самое, которое он мне читал за два месяца, — многие места я узнал; только прежнее было, если не ошибаюсь, длиннее и, как оно ни покажется невероятным, еще оскорбительнее.

29 января следующего (1837) года Пушкина не стало. Вся грамотная Россия содрогнулась от великой утраты. Я понял, что Пушкин не выдержал и послал письмо к старику Геккерну; понял, почему, боясь новых примирителей, он выбрал себе секунданта почти уже на месте поединка; я понял тоже, что так было угодно провидению, чтоб Пушкин погиб, и что он сам увлекался к смерти силою почти сверхъестественною и, так сказать, осязательною.

¹ То есть «мозольщик уверяет, что у вас мозоль лучше, чем у моей жены». (Игра французскими словами: «cor» — мозоль и «corps» — тело.)

² «C'est vous probablement qui lui dictiez les pauvretés qu'il venait débiter... il débite des calembourgs de corps de garde» («Это вы, вероятно, диктовали ему пошлости, которые он отпускал... он отпускал казарменные каламбуры») — слова Пушкина к барону Геккерну-отцу.

Двадцать пять лет спустя я встретился в Париже с Дантесом-Геккерном, нынешним французским сенатором. Он спросил меня: «Вы ли это были?» Я отвечал: «Тот самый». — «Знаете ли, — продолжал он, — когда фельдъегерь довез меня до границы, он вручил мне от государя запечатанный пакет с документами моей несчастной истории. Этот пакет у меня в столе лежит и теперь запечатанный. Я не имел духа его распечатать».

Итак, документы, поясняющие смерть Пушкина, целы и находятся в Париже. В их числе должен быть диплом, написанный поддельной рукою. Стоит только экспертам исследовать почерк, и имя настоящего убийцы Пушкина сделается известным на вечное презрение всему русскому народу. Это имя вертится у меня на языке, но пусть его отыщет и назовет не достоверная догадка, а божие правосудие!

<О М. Ю. ЛЕРМОНТОВЕ>



Смерть Пушкина возвестила России о появлении нового поэта — *Лермонтова*. С Лермонтовым я сблизился у Карамзиных и был в одно время с ним сотрудником «Отечественных записок». Светское его значение я изобразил под именем Леонина в моей повести «Большой свет», написанной по заказу великой княгини Марии Николаевны. Вообще все, что я писал, было по случаю, по заказу, — для бенефисов, для альбомов и т. п. «Тарантас» был написан текстом к рисункам князя Гагарина, «Аптекарьша» — подарком Смирдину. Я всегда считал и считаю себя не литератором *ex professo*¹, а любителем, прикомандированным к русской литературе по поводу дружеских сношений. Впрочем, и Лермонтов, несмотря на громадное его дарование, почитал себя не чем иным, как любителем, и, так сказать, шалил литературой. Смерть Лермонтова, по моему убеждению, была не меньшею утратою для русской словесности, чем смерть Пушкина и Гоголя. В нем выказывались с каждым днем новые залогов необыкновенной будущности: чувство становилось глубже, форма яснее, пластичнее, язык самобытнее. Он рос по часам, начал учиться, сравнивать. В нем следует оплакивать не столько того, кого мы знаем, сколько того,

¹ по профессии (*лат.*).

кого мы могли бы знать. Последнее наше свидание мне очень памятно. Это было в 1841 году: он уезжал на Кавказ и приехал ко мне проститься. «Однако ж, — сказал он мне, — я чувствую, что во мне действительно есть талант. Я думаю серьезно посвятить себя литературе. Вернусь с Кавказа, выйду в отставку, и тогда давай вместе издавать журнал». — Он уехал в ночь. Вскоре он был убит. <...>

Настоящим художникам нет еще места, нет еще обширной сферы в русской жизни. И Пушкин, и Гоголь, и Лермонтов, и Глинка, и Брюллов были жертвами этой горькой истины.

Самыми блестящими после балов придворных были, разумеется, празднества, даваемые графом Иваном Воронцовым-Дашковым. Один из этих балов остался мне особенно памятным. Несколько дней перед этим балом Лермонтов был осужден на ссылку на Кавказ. Лермонтов, с которым я находился сыздавна в самых товарищеских отношениях, хотя и происходил от хорошей русской дворянской семьи, не принадлежал, однако, по рождению к квинтэссенции петербургского общества, но он его любил, бредил им, хотя и подсмеивался над ним, как все мы, грешные... К тому же в то время он страстно был влюблен в графиню Мусину-Пушкину и следовал за нею всюду, как тень. Я знал, что он, как все люди, живущие воображением, и в особенности в то время, жаждал ссылки, притеснений, страданий, что, впрочем, не мешало ему веселиться и танцевать до упаду на всех балах; но я все-таки несколько удивился, застав его таким беззаботно веселым почти накануне его отъезда на Кавказ; вся его будущность поколебалась от этой ссылки, а он как ни в чем не бывало кружился в вальсе. Раздосадованный, я подошел к нему.

— Да что ты тут делаешь! — закричал я на него, — убирайся ты отсюда, Лермонтов, того и гляди, тебя арестуют! Посмотри, как грозно глядит на тебя великий князь Михаил Павлович!

— Не арестуют у меня! — щурясь сквозь свой лорнет, вскользь проговорил граф Иван, проходя мимо нас.

В продолжение всего вечера я наблюдал за Лермонтовым. Его обуяла какая-то лихорадочная веселость; но по временам что-то странное точно скользило на его лице; после ужина он подошел ко мне.

— Соллогуб, ты куда поедешь отсюда? — спросил он меня.

— Куда?.. домой, брат, помилуй — половина четвертого!

— Я пойду к тебе, я хочу с тобой поговорить!.. Нет, лучше здесь... Послушай, скажи мне правду. Слышишь — правду... Как добрый товарищ, как честный человек... Есть у меня талант или нет?.. говори правду!..

— Помилуй, Лермонтов,— закричал я вне себя,— как ты смеешь меня об этом спрашивать! — человек, который, как ты, который написал...

— Хорошо,— перебил он меня,— ну, так слушай: государь милостив; когда я вернусь, я, вероятно, застану тебя женатым, ты остепенишься, образумишься, я тоже, и мы вместе с тобою станем издавать толстый журнал.

Я, разумеется, на все соглашался, но тайное скорбное предчувствие как-то ныло во мне. На другой день я ранее обыкновенного отправился вечером к Карамзиным. У них каждый вечер собирался кружок, состоявший из цвета тогдашнего литературного и художественного мира. Глинка, Брюллов, Даргомыжский, словом, что носило известное в России имя в искусстве, прилежно посещало этот радушный, милый, высокоэстетический дом. Едва я взшел в этот вечер в гостиную Карамзиных, как Софья Карамзина стремительно бросилась ко мне навстречу, схватила мои обе руки и сказала мне взволнованным голосом:

— Ах, Владимир, послушайте, что Лермонтов написал, какая это прелесть! Заставьте сейчас его сказать вам эти стихи!

Лермонтов сидел у чайного стола; вчерашняя веселость с него «соскочила», он показался мне бледнее и задумчивее обыкновенного. Я подошел к нему и выразил ему мое желание, мое нетерпение услышать тотчас вновь сочиненные им стихи.

Он нехотя поднялся со своего стула.

— Да я давно написал эту вещь,— проговорил он и подошел к окну.

Софья Карамзина, я и еще двое, трое из гостей окружили его; он оглянул нас всех беглым взглядом, потом точно задумался и медленно начал:

На воздушном океане
Без руля и без ветрил
Тихо плавают в тумане...

И так далее. Когда он кончил, слезы потекли по его щекам, а мы, очарованные этим едва ли не самым поэтическим его произведением и редкой музыкальностью созвучий, стали горячо его хвалить.

— C'est du Pouchkine cela¹,— сказал кто-то из присутствующих.

— Non, c'est du Лермонтов, ce qui vaudra son Pouchkine!² — вскричал я.

Лермонтов покачал головой.

— Нет, брат, далеко мне до Александра Сергеевича,— сказал он, грустно улыбнувшись,— да и времени работать мало остается; убьют меня, Владимир!

Предчувствие Лермонтова сбылось: в Петербург он больше не вернулся; но не от черкесской пули умер гениальный юноша, а на русское имя кровавым пятном легла его смерть.

Лермонтов, одаренный большими самородными способностями к живописи, как и к поэзии, любил чертить пером и даже кистью вид разъяренного моря, из-за которого подымалась оконечность Александровской колонны с венчающим ее ангелом. В таком изображении отзывалась его безотрадная, жаждавшая горя фантазия.

Елизавета Михайловна Хитрово вдохновила мое первое стихотворение: оно, как и другие мои стихи, увы, не отличается особенным талантом, но замечательно тем, что его исправлял и перевел на французский язык Лермонтов.

¹ — Это по-пушкински (*фр.*).

² — Нет, это по-лермонтовски, одно другого стоит! (*фр.*)



ПРИМЕЧАНИЯ

При жизни В. А. Соллогуба его произведения обычно печатались на страницах журналов, сборников, альманахов и газет. В 1841 году писатель издал первую, а в 1843 году вторую часть сборника своих повестей и рассказов «На сон грядущий. Отрывки из вседневной жизни» (2-е изд. — 1845). В 1855 году были опубликованы «Сочинения графа В. А. Соллогуба» (Спб., изд. А. Смирдина-сына) в пяти томах. Отдельными изданиями выходили драматургические произведения писателя.

В советское время неоднократно издавалось главное произведение Соллогуба — повесть «Тарантас» (последнее факсимильное издание, подготовленное А. С. Немзером, вышло в 1985 году). Кроме того, были опубликованы три сборника прозы писателя: *С о л л о г у б В. А. Повести и рассказы.* — М.; Л.: Худож. лит., 1962 (сост., вступ. статья, подготовка текста и примеч. Е. И. Кийко); *С о л л о г у б В. А. Три повести.* — М.: Сов. Россия, 1978 (сост., подготовка текста и примеч. Ал. Л. Осповата); *С о л л о г у б В. А. Избранная проза.* — М.: Правда, 1983; 1987 (сост. В. А. Мильчиной, вступ. статья и примеч. А. С. Немзера).

В настоящем издании тексты рассказов «Два студента» и «Лев» печатаются по последней прижизненной публикации (Сочинения графа В. А. Соллогуба. Т. 1. — СПб., 1855), а остальные произведения по сборнику: *С о л л о г у б В. А. Избранная проза.* — М., 1983. Фрагменты из «Воспоминаний» печатаются по следующим изданиям: <Первая встреча с Н. В. Гоголем> — Н. В. Гоголь в воспоминаниях современников. — М., 1952; <О А. С. Пушкине> — А. С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. — М., 1974; <О М. Ю. Лермонтове> — М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. — М., 1964. В примечаниях использованы сведения и факты, содержащиеся в этих изданиях.

ДВА СТУДЕНТА

Впервые опубликовано в журн. «Современник», 1837, т. 2.
С. 21. *Kirchpilsrisigter* — приходский судья.

С. 22. *Канapé* — небольшой диван с приподнятым изголовьем.

Блонды — шелковые кружева.

С. 24. *Люнель* — сладкое мускатное вино.

С. 25. ...*была конфирмована*. — Конфирмация — обряд приобщения к церкви юношей и девушек, достигших 14—16 лет.

С. 33. ...*гений Гамбса*... — Речь идет о мебели, изготовленной фирмой братьев Гамбс и отличавшейся изяществом отделки, резьбой и бронзой.

СЕРЕЖА

Впервые опубликовано в «Литературных прибавлениях к «Русскому инвалиду», 1838, № 15.

С. 39. *В. Ф. Одоевский* — Владимир Федорович Одоевский (1804—1869) — писатель-романтик, философ и музыковед, близкий друг Соллогуба.

Дормез — старинная большая карета, в которой можно было спать во время пути.

Сидейка — сиделка, ухаживающая за больными.

С. 40. *Корифейная танцовщица* — солистка балета, примадонна.

Он читал всего Бальзака... — Романы О. Бальзака в 1830-е годы пользовались большой популярностью в России.

...*об английском парламенте, о крепости Бильбао, о свекловичном сахаре, о паровых каретах и о лорде Лондондери*. — Здесь перечислен круг интересов героя, составленный из разного рода новостей: политических, технических и др. *Бильбао* — главный город Страны Басков и административный центр провинции Бискайя на севере Испании, крупный порт у Бискайского залива, игравший в 1830-х годах важную роль в ходе войны, которую вела испанская королева Изабелла против реакционной партии карлистов (через Бильбао Англия помогала испанскому правительству). *Свекловичный сахар* — производство сахара из свеклы тогда только еще начиналось и воспринималось как техническая новинка. *Паровые кареты*. — Первый паровоз в России был изобретен и построен в 1833—1834 годах на Нижне-Тагильском заводе отцом и сыном Е. А. и М. Е. Черепановыми. *Лорд Лондондери*. — Речь идет, по всей вероятности, об английском министре иностранных дел Роберте Стюарте Лондондери (1769—1822).

...*она на английских горах*... — Имеется в виду светское развлечение — катание на санях с деревянных гор, залитых водой.

С. 44. ...*читал m-me Genlis*. — Речь идет о произведениях французской писательницы-сентименталистки С.-Ф. Жюли (1746—1830).

С. 45. ...*испанские дела*... — междоусобная война в Испании, события которой подробно освещались в русской прессе.

...*французские романы*... — Речь идет о произведениях, написанных в духе выпяченного романтизма (Ж. Жанен, Фр. Сулье и др.)

...*толкучий рынок нашей литературы*... — Выражение «толкучий

рынок» употребил А. С. Пушкин в поэме «Домик в Коломне»: «И табор свой с классических вершинок//Перенесли мы на толкучий рынок». Как и Пушкин, Соллогуб отрицательно отнёсся к «торговому» (иными словами говоря, официально-дидактическому) направлению в русской литературе, представленному именами Ф. В. Булгарина, Н. И. Греча, К. П. Масальского и др.

С. 47. *Боскетная* — комната, оформленная как зимний сад.

С. 49. ...*распрашивает о «Фенелле»*. — Имеется в виду опера «Фенелла» (1828) французского композитора Ф. Обера (1782—1871).

«*Норма*» (1831) — опера итальянского композитора-романтика Винченцо Беллини (1801—1835).

«...не шить ей *красного сарафана*». — Речь идет о романсе композитора А. Е. Варламова (1801—1848) на слова поэта Н. Г. Цыганова (1797—1831) «Красный сарафан».

С. 53. ...*в пируэтах Сильфиды*... — «Сильфида» (1832) — балет композитора Ж. Шнейцгофера, поставленный в 1837 году на петербургской сцене Ф. Тальони (1777—1871), в котором заглавную роль танцевала его дочь М. Тальони (1804—1884).

С. 54. ...*танцует мадемуазель Круазет*... — Имеется в виду французская танцовщица Круазет, выступавшая на петербургской сцене в 1837—1842 годах.

Экарте — карточная игра.

...*с резьбою Гамбса*. — См. примеч. на с. 33.

С. 57. ...*орден св. Анны для ношения в петлице*. — Орден св. Анны имел четыре степени: I степень носился на ленте со звездой, II степени — на шее, III — в петлице, IV — на шпаге.

ЛЕВ

Впервые опубликовано в журн. «Отечественные записки», 1841, № 4.

С. 59. ...*мармонтелевских сказок*... — Имеются в виду «Нравоучительные рассказы» (1761) французского писателя Жана Франсуа Мармонтеля (1723—1799), в которых чувствительность сочеталась с фривольностью.

Петиметр — здесь: щеголь, франт.

Мадригал — здесь: остроумный стихотворный комплимент даме.

...*сыны Альбиона*... — англичане.

С. 61. «*Северная пчела*» — реакционная газета, издававшаяся Ф. В. Булгариным и Н. И. Гречем.

С. 63. *Фешёнбль* — человек, отвечающий требованиям хорошего вкуса и моды, изысканный человек.

С. 64. *Парламентский билль* — законопроект, внесенный на рассмотрение парламента.

...из «*Роберта*». — Речь идет об опере Ж. Мейербергера (1791—1834) «Роберт-Дьявол» (1830).

С. 67. *Сильфы* (сульфиды) — духи воздуха. Здесь: воздушные создания.

С. 68. *Тальони* — см. примеч. на с. 373.

Паста Джудитта (1797 или 1798—1865 или 1867) — итальянская певица (сопрано).

Лядов Александр Николаевич (1818—1871) — капельмейстер, руководитель балльных оркестров.

Стор и Моргимер — фирма, торговавшая драгоценностями.

С. 69. *Брильянтовый фермуар* — ожерелье.

С. 70. *Гумённый* — место, огороженное около гумна.

С. 71. *Маршанд-де-мод...* — здесь: модное ателье.

Капуцинка — маскарадный костюм в виде плаща с капюшоном.

АПТЕКАРША

Впервые опубликовано в сборнике «Русская беседа. Собрание сочинений русских литераторов, издаваемое в пользу А. Ф. Смирдина». Т. II.—СПб., 1841.

С. 78. ...*м-ше* Allan — Луиза Аллан (1809—1856) — французская актриса, гастролировавшая в Петербурге.

С. 82. ...*вы были ландсманом, а я был буршеншафтером...* — Речь идет о студенческих корпорациях. *Ландсманы* — члены земляческого (по территориальному признаку) объединения. *Буршеншафтеры* — члены студенческой организации, возникшей в период освободительных войн против Наполеона. *Бурш* — на жаргоне немецких студентов — студент старших курсов.

С. 85. *Вассерштифели* — высокие болотные сапоги.

С. 87. *Каммоговый мешок* — мешок из грубой бумажной ткани.

Супер-интендант — лицо, которое осуществляло в Германии церковную власть в округе.

С. 88. *Камералист* — здесь: студент юридического факультета.

С. 91. ...*заниматься, по выражению Языкова, головоломным искусством.* — Как и Соллогуб, поэт Николай Михайлович Языков (1803—1846) учился в Дерптском университете (1822—1829) и многие свои стихи посвятил воспеванию студенческой вольницы. Здесь приводятся слова из его послания «К А. Н. Вульфу» (1826), где о фехтовании сказано: «Учи ж меня, товарищ мой, головоломному искусству!»

Штулваген — открытая коляска, предназначенная для прогулок.

С. 92. *Филистер* — здесь: студент, не принадлежащий ни к какой студенческой организации.

...*прогуляться в круглых шляпах...* — то есть вызвать на поединок.

Шлегер — шпага, сабля для дуэлей.

С. 94. *Майорат* — неделимое земельное владение.

С. 113. ...*около Динабурга* — ныне Даугавпилс.

С. 114. *Желая быть Фоблазом, он едва ли не сделался Вертером.* — Фоблаз — герой романа Ж.-Б. Луве де Кувре (1760—1797) «Любовные похождения кавалера де Фобласа» (1787—1790), блестящий соблазнитель; *Вертер* — герой романа И.-В. Гете «Страдания молодого Вертера» (1774), несчастный в любви, сентиментальный юноша. Героиню рассказа «Аптекарьша» зовут Шарлоттой, как и возлюбленную Вертера.

С. 116. *Конвенансы* — приличия (фр.).

...я видела в «Ревизоре». — Премьера комедии Н. В. Гоголя состоялась в Александринском театре 19 апреля 1836 года. Мнение, высказанное о «Ревизоре» героиней повести, совпадает с оценкой комедии, данной ей дворянским обществом (см. «Тарантас», гл. III).

НЕОКОНЧЕННЫЕ ПОВЕСТИ

Впервые опубликовано в сборнике «На сон грядущий. Отрывки из всенедельной жизни. Сочинение графа В. А. Соллогуба». Ч. II. СПб., 1843.

С. 125. *Быть так! спасибо и за то...* — заключительная строка из стихотворения Е. А. Баратынского (1800—1844) «К Амуру» (1827):

Подобно мне любил ли кто?
И что ж я вспомню, не тоскуя?
Два, три, четыре поцелуя!
Быть так! спасибо и за то.

С. 127. *Гейдельберг* — университетский город в Германии.

С. 128. *Майзедер* Й. (1789—1863) — австрийский скрипач и композитор.

С. 131. *Вебер* К. М. (1786—1826) — немецкий композитор-романтик.

С. 142. *Рубини* Д. (1794—1854) — итальянский певец, тенор.

ТАРАНТАС

Семь глав из «Тарантаса»: «Встреча», «Отъезд», «Начало путевых впечатлений», «Чиновники», «Гостиница», «Цыгане» и «Перстень» были впервые напечатаны в октябрьской книжке журнала «Отечественные записки» за 1840 год. К этой публикации редакция дала следующее подстрочное примечание: «Тарантас» — так называется новое произведение графа В. А. Соллогуба, с талантом которого уже знакомы наши читатели. Все сочинение состоит из рассказа о путешествии из Москвы в Мордасы двух лиц: Василия Ивановича, пятидесятилетнего русского помещика, и Ивана Васильевича, молодого человека, только что возвратившегося из чужих краев, жаждущего открыть в России какой-то новый идеальный мир и решившегося писать свои путевые впечатления на той дороге, которую совершает он вместе с прозаическим Василием Ивановичем. Рассказ полон наблюдательности, остроумия и оригинального юмора. Он будет состоять из 20 глав и издается особою книгою, с множеством

политипажей, рисованных нарочно для него князем Гагариным. Разумеется, издание может состояться не прежде, как все картинки и виньетки будут вырезаны на дереве в Париже. Издание будет великолепное. *Ред.*». Однако прошло почти пять лет, прежде чем это издание осуществилось: Тарантас. Путевые впечатления. Сочинения графа В. А. Соллогуба. — СПб., 1845. При подготовке повести для собрания своих сочинений, которое вышло из печати в 1855—1856 годах, В. А. Соллогуб внес в текст «Тарантаса» некоторые уточнения.

С. 143. ...*медвежья травля меделянскими мордашками*... — Речь идет о собаках меделянской породы, крупных и большеголовых.

С. 144. «*Il Pirata*» — «Пират» (1827) — опера Беллини.

С. 145. *Мюзар* Франсуа (1793—1859) — французский композитор и капельмейстер большого парижского бального оркестра; *Лаблаш* Луиджи (1794—1858) — итальянский певец (бас); *Гризи* Джулия (1811—1869) — итальянская певица (сопрано) или ее сестра Джудита (1805—1840), сопрано, с большим успехом выступавшие на оперных сценах Парижа и Лопчона; *Эльслер* Фанни (1810—1884) — австрийская балерина, во второй половине 1830-х годов танцевала в Париже.

Губернский секретарь — гражданский чин XII класса, соответствующий военному — поручик.

С. 148. *Собачья площадка* — площадь в Москве, находившаяся вблизи Арбата.

Кеньги — теплая обувь без голенищ.

Ергак — тулуп.

Книжник — карманная записная книжка или бумажник.

С. 150. ...*возвышаются луксорским обелиском*... — Речь идет об обелиске, привезенном в Париж из древнеегипетского храма Амона в Фивах. В 1861 году обелиск был установлен на площади Согласия.

С. 155. ...*губернские чиновники избираются... дворянством*. — Согласно «Учреждению для управления губерний всероссийской империи» (1775, 1780) судебная и полицейская власть в уезде и частично в губернии была сосредоточена в руках дворянства. Во главе уезда стоял избираемый на три года исправник. Ему подчинялись заседатели.

С. 159. *Малек-Адель* — герой романа французской писательницы Мари Коттен (1770—1807) «Матильда, или Записки, взятые из истории крестовых походов» (1805).

Блудный сын — персонаж евангельской притчи (Лука, 15, 11—24).

Граф Платов — Платов Матвей Иванович (1751—1818) — герой Отечественной войны 1812 года, атаман Донского казачьего войска.

...*лик Женеьевы Брабантской*... — Согласно преданию герцогиня Брабантская была несправедливо осуждена на казнь за измену мужу, но ей удалось скрыться от преследования в пещере. Сюжет картинки, по всей вероятности, был навеян романом Р. де Серизье (1603—1662) «Признанная невинность, или Жизнь святой Женеьевы Брабантской» (1634).

С. 160. *Тайный советник* — гражданский чин III класса, соответствующий военному — генерал-лейтенант.

С. 167. ...новый перевод *«Монфермельской молочницы»*... — Речь идет о переводе романа Поль де Кока (1794—1871), сделанном Н. П. Шигаевым в 1832 году.

«Ключ к таинствам природы» — книга немецкого мистика К. фон Экартсгаузена (1752—1803). Соседство ее с изданиями легкого жанра производило комический эффект.

С. 171. ...варламовские романсы... — романсы композитора Александра Егоровича Варламова (1801—1848), автора многочисленных произведений, исполнявшихся в любительских кругах.

С. 173. ...люди зеленого цвета... — чиновники.

С. 175. *Портрет, писанный Соколовым*... — Петр Федорович Соколов (1791—1848) — русский живописец и акварелист.

С. 178. ...о таких удивительных московских тайнах, которых и сам Сю не решился бы напечатать. — Обыгрывается название романа французского писателя Эжена Сю (1804—1857) *«Парижские тайны»* (1842).

С. 183. *Цыгане — народ дикий, необузданный, кочующий, которому душно в городе, который в лес хочет, в табор свой, в поле, в степь, на простор. Ему свобода первое благо*... — В этом монологе Ивана Васильевича слышны реминисценции поэм А. С. Пушкина *«Цыганы»* (*«Неволя душных городов...»*) и *«Братья-разбойники»* (*«Мне душно здесь, / Я в лес хочу...»*).

С. 184. ...Хитаны, Эсмальды, Прециозы... — Эти имена поставлены в один ряд, так как все они — цыганки. *Хитана* — героиня балета Ф. Тальони; *Эсмальда* — героиня романа В. Гюго (1802—1885) *«Собор Парижской богоматери»* (1831); *Прециоза* — героиня новеллы М. Сервантеса (1547—1616) *«Цыганочка»*.

С. 192. ...крикливых сидельцев Апраксина двора... — Апраксин двор — рыночная площадь в Петербурге, где велась мелочная торговля.

С. 196. *Рабочий (работный) дом* — исправительное заведение.

С. 210. ...ланкастерскую школу взаимного обучения... — Речь идет о системе обучения, названной по имени английского педагога Дж. Ланкастера (1771—1838), сущность которой заключалась в том, что более успевающие ученики занимаются с отстающими.

С. 224. ...по указу о губернских учреждениях... — Согласно *«Учреждению для управления губерний всероссийской империи»* (1775, 1780) губернии делились на округа и уезды. В первое десятилетие XIX века, в связи с образованием министерств, губернии переходили в подчинение министерства внутренних дел.

...прохаживался в матрадуре, монимаске, куранте или Даниле Купере... — названия распространенных в XVIII веке танцев, которые к описываемому времени уже давно вышли из моды.

Секунд-майор — военный чин VIII класса, упраздненный в 1797 году.

С. 231. *Иванов день* — 24 июня (по старому стилю).

С. 232. ...*читала Грандисона*. — Речь идет о романе английского писателя Самюэла Ричардсона (1689—1761) «Английские письма, или История кавалера Грандисона» (1754).

...*аббата Прево*, *madame Riccoboni*, *madame Radcliff*, *madame Cottin*, *madame Souza*, *madame Staël*, *madame Genlis*. — Антуан-Франсуа *Прево* (1697—1763) — французский писатель, автор романа «История кавалера Де Грие и Манон Леско» (1733); Мари *Риккобони* (1714—1792), Мари *Коттен* (1770—1807). Аделаида *Суза* (1761—1836), Стефания-Фелисите *Жанлис* (1746—1830) — второстепенные французские писательницы, чьи произведения составляли круг провинциального чтения; Анна *Радклифф* (1764—1823) — английская писательница; Анна-Луиза *Жермена де Сталь* (1766—1817) — выдающаяся французская писательница.

С. 233. *Малек-Адель* — см. примеч. к стр. 159.

Евгений Рогген — герой одноименного романа А. Суза (1808).

С. 235. ...*по ломондовской грамматике*... — речь идет о книге ректора парижского университета Ш.-Ф. Ломонда (1727—1794) «Начала латинской грамматики» (1780), неоднократно переиздававшейся.

...из «*Всеобщей истории*» *аббата Милола*... — Речь идет о многотомном труде французского историка Клода-Франсуа-Ксавье Мило (1726—1785) «Всеобщая древняя и новая история от начала мира до настоящего времени», переведенном и изданном в Москве (1819—1820).

...*пел беранжеровские песни*... — Имеются в виду песни французского поэта П.-Ж. Беранже (1780—1857).

Корнелий Непот — римский историк (I в. до н. э.); Квинт *Гораций Флакк* (65 до н. э. — 8 н. э.) — римский поэт.

Амплификация (от лат. *amplificatio* — расширение) — нагнетание в тексте однородных слов.

С. 236. ...*не заседать в камере депутатов... республиканцем или роялистом*. — Речь идет о палате французского парламента.

...*не гулять век на Итальянском бульваре*. — Имеется в виду Итальянский бульвар в Париже.

С. 239. ...*влезет на Monte Pincio, так и будет Рафаэлем*... — *Монте Пинчио* — северный холм в Риме, где находятся многие памятники искусства.

С. 240. ...*излеровский маркер*... — маркер в бильярдной при кондитерском магазине И. И. Излера в Петербурге.

...*толковал о Гегеле и Шеллинге*... — Г.-В.-Ф. *Гегель* (1770—1831) — немецкий философ-идеалист, основоположник диалектического метода в философии; Ф.-В. *Шеллинг* (1775—1854) — немецкий философ-идеалист.

С. 241. ...*хладнокровно глядеть на Аполлона, на Колизей или на площадь св. Петра*... — *Аполлон Бельведерский* — статуя древнегреческого скульптора Леохара (IV в. до н. э.), хранящаяся в Ватикане;

Колизей — огромный амфитеатр, построенный римлянами в I в. н. э.; площадь *св. Петра* — площадь в Риме, сооруженная архитектором Л. Бернини (1598—1680) в 1656—1667 гг.

С. 242. *Табльдот* (от фр. Table d'hôte) — общий стол в гостиницах.

С. 243. *...много у нас молодых людей, которые страдают одинаковой с ним болезнью.* — С этих слов и до конца абзаца представлено рассуждение, являющееся вариацией дермонтовской оценки поколения 1830-х годов (стихотворение «Дума»).

С. 245. *...побрякивали тяжелой свайкой в железное кольцо...* — Имеется в виду игра в свайку, цель которой заключалась в том, чтобы свайку (толстый гвоздь или пил с большой головкой) метнуть в железное кольцо, лежащее на земле.

С. 249. *В двадцать восьмом году ходил.* — Имеется в виду русско-турецкая война 1828—1829 годов.

С. 254. — *Вы давно служите по выборам?* — В то время во главе уезда стоял капитан-исправник, избираемый один раз в три года уездным дворянским собранием.

С. 257. *Казань... Иоанн Грозный...* — В период царствования Ивана IV Грозного Казанское ханство было присоединено к России.

С. 258. *...под предводительством вождя своего Пургаса.* — Пургас — мордовский (эрзя) князь, правивший в начале XIII века.

...Было болгарское царство. — Речь идет о Волжско-Камской Болгарии, феодальном государстве X—XIII веков.

С. 259. *Всего бы проще было взять описание Казани господина Рыбушкина...* — М. С. Рыбушкин (1792—1849) — казанский историк и краевед, автор книги «Краткая история города Казани» (1834), откуда приводитсяронический пересказ некоторых сведений.

С. 266. *...в какой-то душной пещере.* — В описании пещеры П. А. Плетнев заметил влияние «Сна Татьяны» из V главы романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (Современник, 1845, № 5, С. 240).

С. 268. *Гипогриф* — фантастическая лошадь с птичьей головой.

С. 273. *...полушубком на собольем меху.* — После этих слов в первом издании «Тарантаса» (1845) следовали слова: «...а на ногах сафьяновые сапоги доказывали, по славянскому обычаю, его дворянское достоинство». Эти строки В. А. Соллогуб исключил, по всей вероятности, в связи с тем, что они подвергались резким насмешкам со стороны ряда критиков, и в первую очередь В. Г. Белинского.

С. 277. *Арзамасская школа.* — Имеется в виду школа иконописи и живописи, основанная А. В. Ступпным (1776—1861) в Арзамасе в 1802 году. С арзамасской школой связывались надежды на развитие русской национальной живописи. Одним из ее учеников был В. Г. Перов.

...листка «Северной пчелы» или книги «Отечественных записок». — Газета «Северная пчела», издававшаяся Ф. В. Булгаричным и Н. И. Гречем, в 1820—1840-х годах отстаивала крайне реакционные позиции.

Журнал «Отечественные записки», ведущую роль в котором занимал В. Г. Белинский, являлся органом передовой общественной и литературной мысли. Их соседство в крестьянских избах должно было символизировать примирение всех партий в той утопической России, которая привиделась Ивану Васильевичу в фантастическом сне.

СОБАЧКА

Впервые опубликовано в сборнике «Вчера и сегодня. Литературный сборник, составленный гр. В. А. Соллогубом, изданный А. Смирдиным». Кн. 1.— Спб., 1845.

В своих воспоминаниях М. С. Щепкин писал: «Собачка»... писана из моего рассказа, и все было в действительности так, как описано, и автором даже еще много было смягчено» (Записки актера Щепкина.— М., 1938. С. 133). События, описанные в рассказе, произошли в августе 1815 года в Харькове.

С. 282. *Ремонтер* — офицер, занимающийся покупкой лошадей для армии.

...*землетрясение Лиссабона и долину Шамуни.*— Имеется в виду катастрофическое землетрясение, почти полностью разрушившее столицу Португалии город Лиссабон, которое произошло 1 ноября 1755 года; долина Шамуни (Шамони) — одна из самых живописных долин в Альпах (Франция).

С. 285. ...*находился тогда человек.*— Речь идет о М. С. Щепкине.

С. 295. *Красенькая* — 10 рублей ассигнациями; *беленькая* — 25 рублей.

С. 301. *Синяя ассигнация* — 5 рублей.

МЕТЕЛЬ

Впервые опубликовано в газ. «Ведомости московской городской полиции», 1849, № 31—32.

С. 303. *Я не посмел изменить принятого им правописания.*— В. А. Соллогуб не совсем точен. Слово «метель» писалось через «е» и через «я». Однако нормированной формой считалась — «метель». Что же касается А. С. Пушкина, то он употреблял обе формы. Но в «Повестях Белкина» поэт писал «мятель», хотя в печатном издании это слово написано через «е». Так что в написании — «метель» — не было ничего специфически пушкинского.

ИЗ «ВОСПОМИНАНИЙ»

<Первая встреча с Н. В. Гоголем>

Впервые опубликовано в журн. «Русский архив», 1865, № 5—6.
С. 318. ...жила моя бабушка...— Екатерина Александровна Архарова (1755—1836).

Александра Ивановна Васильчикова (урожд. Архарова; 1795—1855).

С. 319. ...я часто видал Жуковского, который сказал мне, что уже познакомился с Гоголем.— Жуковский познакомился с Гоголем в конце 1830 года.

...желает с ним познакомиться.— Пушкин познакомился с Гоголем 20 мая 1831 года на вечере у П. А. Плетнева.

С. 320. *Гусева* Елена Ивановна (1792—1853) — драматическая актриса.

С. 321. *Перовский* Василий Алексеевич (1795—1857) — граф, оренбургский губернатор (1833—1842). Пушкин во время сборов материалов для «Истории Пугачева» жил у него 18—20 сентября 1833 года.

<О А. С. Пушкине>

Впервые опубликовано в журн. «Русский архив», 1865, № 5—6.

С. 322. X. — личность не установлена. По одним предположениям — это Осип Иванович Сенковский (1800—1858), писатель-журналист, критик, редактор журнала «Библиотека для чтения»; по другим — Николай Иванович Греч (1787—1867), писатель, журналист, редактор журнала «Сын отечества» и газеты «Северная пчела» (вместе с Ф. В. Булгариным).

С. 323. ...он жил в довольно скромной квартире... — С октября 1831 по май 1832 года Пушкин жил в доме Брискорпа на Галерной улице (ныне Красная ул., д. 53).

...бал у Бутурлиных...— Бутурлин Дмитрий Петрович (1790—1849) — военный историк.

Павел <Сергеевич> Строганов (1823—1911) — дипломат. ...имел... сына *Петра*.— Петр Дмитриевич Бутурлин (1826—1877) — выпускник пажеского корпуса.

С. 324. *Легитимист* — приверженец свергнутого монарха.

Герих V...— Так называли графа Шамбора (1820—1883), который был кандидатом легитимистов на французский престол.

С. 325. *Пушкин пожалован был в камер-юнкеры*.— Звание камер-юнкера поэт получил в самом конце 1833 года, после чего он записал в своем дневнике: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове», то есть на придворных балах, которые устраивались в Аничковом дворце царской семьей.

С. 325. *«Современник» шел плохо.* — Журнал «Современник», который Пушкин начал издавать в 1836 году, не имел успеха. Одна из причин невнимания к нему читающей публики заключалась в том, что цензура не разрешала печатать в «Современнике» ничего, что выходило бы за рамки чисто литературного издания.

С. 326. *...у тетки моей <А. И.> Васильчиковой.* — См. примеч. на с. 318.

...от Елисаветы Михайловны Хитровой. — Е. М. Хитрово (1783—1839) — дочь фельдмаршала М. И. Кутузова, близкая знакомая А. С. Пушкина.

...одну даму, которую мне и назвал. — Речь идет, по всей вероятности, о жене министра иностранных дел К. В. Нессельроде (1780—1862) Марии Дмитриевне Нессельроде (1786—1849), злейшем враге поэта.

С. 327. *...письма были получены всеми членами тесного карамзинского кружка.* — Помимо А. И. Васильчиковой и Е. М. Хитрово, аналогичные письма были получены В. Ф. Вяземской (1790—1886), М. Ю. Внелгорским (1788—1856), К. О. Россетом (1811—1866) и Карамзиными. Один экземпляр получил сам А. С. Пушкин.

Смирдин Александр Филиппович (1795—1857) — книгоиздатель и книгопродавец.

Кукольник Нестор Васильевич (1809—1868) — поэт, писатель, драматург.

Коль ты к Смирдину войдешь... — Эта эпиграмма считается принадлежащей А. С. Пушкину.

Сенковский — см. примеч. на с. 322.

С. 328. *д'Аршиак Огюст (1811—1851)* — атташе французского посольства, секундант Дантеса.

Фикельмон Карл Людвиг (1777—1857) — австрийский посланник.

Одна Катерина Николаевна Гончарова... отличалась от прочих белым платьем. — Е. Н. Гончаровой (1809—1843), сестре Н. Н. Пушкиной, как невесте позволялось быть на рауте в белом платье, хотя ее официальная помолвка с Дантесом была объявлена только на следующий день, 17 ноября.

С. 329. *Соболевский Сергей Александрович (1803—1870)* — библиофил и библиограф, близкий друг А. С. Пушкина.

С. 331. *Салтыков Сергей Васильевич (1777—1846)* — петербургский барин, славившийся своими вечерами.

С. 332. *Строганов Александр Григорьевич (1795—1891)* — с 1836 года исполнял обязанности черниговского, полтавского и харьковского губернатора.

Воронцов-Дашков Иван Илларионович (1790—1854) — обер-церемониймейстер двора.

С. 333. *Это имя вертится у меня на языке...* — Кого имел в виду В. А. Соллогуб, сказать трудно. Предполагаемыми авторами пасквиля

долгое время считали И. С. Гагарина (1814—1882) и П. В. Долгорукова (1816—1868), но многие исследователи оспаривают это. А. С. Пушкин считал, что пасквиль написал Геккеры, приемный отец Дантеса.

<О М. Ю. Лермонтове>

Впервые опубликовано: Воспоминания графа В. А. Соллогуба...

Читано в «Обществе любителей российской словесности». — М., 1866. С. 333. *Смирдин* — см. примеч. на с. 327.

С. 334. *Иван Воронцов-Дашков* — см. примеч. на с. 332.

...*графиня Мусина-Пушкина* Эмилия Карловна (1810—1846).

...*великий князь Михаил Павлович* (1798—1848) — брат Николая I.


С. 335. ...*застану тебя женатым*. — В данном случае мемуаристу изменила память, и он сместил события. Соллогуб женился на Софье Михайловне Впельгорской (1820—1878) 13 ноября 1840 года. Разговор о женитьбе мог состояться раньше, во всяком случае не накануне последней ссылки Лермонтова весной 1841 г.

Софья <Николаевна> *Карамзина* (1802—1856) — дочь Н. М. Карамзина, хорошая знакомая М. Ю. Лермонтова.

На воздушном океане... — отрывок из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон».

С. 336. *Елисавета Михайловна Хитрово* — см. примеч. на с. 326.

...*перевел на французский язык Лермонтов*. — Французский перевод стихотворения, о котором говорит В. А. Соллогуб, неизвестен. Русский текст этого стихотворения за подписью одного В. А. Соллогуба напечатан в журнале «Отечественные записки» (1841, № 1).



СОДЕРЖАНИЕ

«Писатель с замечательным дарованием». <i>Н. Якушин</i>	3
Два студента	21
Сережа	39
Лев	58
Аптекарьша	77
Неоконченные повести	125
Тарантас	143
Собачка	280
Метель	303
Из «Воспоминаний»	
<Первая встреча с Н. В. Гоголем>	318
<О А. С. Пушкине>	321
<О М. Ю. Лермонтове>	333
Примечания	337

С60 **Соллогуб В. А.**
Повести и рассказы/Сост., вступ. ст. и примеч.
Н. И. Якушина.— М.: Сов. Россия, 1988.— 352 с.

Владимир Александрович Соллогуб (1813—1882) пробовал свои силы в поэзии, писал комедии, но наибольшую известность у читателейнискал как прозаик, автор повестей и рассказов. Именно эта сторона его литературной деятельности получила поддержку В. Г. Белинского и заслужила его высокую оценку. В книгу вошли произведения 30—40-х годов — наиболее плодотворного периода творчества Соллогуба: «Лев», «Тарантас», «Аптекарьша», «Собачка» и др. Сборник дополняют отрывки из воспоминаний писателя, посвященные его великим современникам — Пушкину, Лермонтову, Гоголю, с которыми Соллогуб поддерживал дружеские отношения.

С 4702010100—226 96—88
М-105(03)88

P1

ISBN 5—268—00537—5

Пушкинский кабинет ИРЛИ

Владимир Александрович Соллогуб

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Редактор Т. М. Мугуев
Художественный редактор Г. В. Шотина
Технический редактор Г. О. Нефедова
Корректоры П. М. Арсенина, Е. С. Куштаева, Т. В. Носенко, М. Б. Апарцева

ИБ № 7100

Сдано в набор 16.11.87. Подп. в печать 07.05.88. Формат 84×108/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура обыкновенная полая. Печать высокая. Усл. печ. л. 18,48. Усл. кр.-отг. 18,90. Уч.-изд. л. 20,17. Тираж 450 000 экз. (2-й завод 150 001—250 000 экз.) Заказ № 1187. Цена 2 р. Изд. инд. ЛХ-207.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, пр. Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглаволиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

Пушкинский кабинет ИРЛИ